Николай Михайловичъ

КАРАМЗИНЪ.

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

Изданіе третье, дополненное.

Цѣна 40 коп.



МОСКВА.

Складъ въ книжномъ магазинѣ В. СПИРИДОНОВА и А. МИХАЙЛОВА.

Моховая, уг. Тверской, д. Варварин. Акц. О-ва. Тел. 120—95.

1912.



Типографія Г. Лисснера и Д. Собко
Москва, Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. 9.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ третьемъ изданіи помѣщены слѣдующія новыя статьи: Основоположенія сентиментальнаго міропониманія и настроенія, *Котляревскаго*. — Новые элементы, введенные Карамзинымъ въ повѣсти, *Булича*. — Повѣсти Карамзина, характерныя по ихъ вліянію на публику и по опредѣленію духовной организаціи писателя, *Лавровскаго*. — Стихотворенія Карамзина, какъ показатель поэтическаго настроенія его души и отраженія чертъ его жизни, *его же*.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Общественная атмосфера, въ которой выросъ и опредѣлился Карамзинъ.

Основательное знакомство съ жизнью русскаго общества XVIII вѣка, съ его стремленіями и идеалами, представляетъ для историка культуры немалое значеніе. Причина этого ясна: вѣдь еще въ прошломъ вѣкѣ, особенно во второй половинѣ его, надо искать объясненія многихъ явленій, давшихъ содержаніе русской жизни XIX вѣка, — явленій, даже въ наши дни, полныхъ жизни и смысла. Вотъ почему русское общество той эпохи не разъ подвергалось суду нашей исторической литературы; вотъ почему въ качествѣ судій выступали и историки, и историки литературы, и юристы; вотъ почему и въ наши дни та далекая жизнь полна еще не умирающаго интереса, тѣмъ болѣе очевиднаго, что, при оцѣнкѣ этой важной эпохи, наши историки значительно разошлись между собой.

Правда, эта разноголосица, смущающая на первыхъ порахъ всякаго начинающаго изслѣдователя, нѣсколько смягчается тѣмъ, что почти каждый изъ этихъ историковъ нѣсколько ограничиваетъ свое мнѣніе оговорками и поправками, — но эти оговорки и поправки иногда такъ незначительны и такъ скоро, повидимому, забываются самими авторами, что, въ концѣ концовъ, читателю все-таки приходится выпутываться изъ цѣлаго ряда противорѣчивыхъ мнѣній, взаимно исключаемыхъ одно другимъ. Почему же одна и та же жизнь оцѣнена у насъ до такой степени различно?

Историческая жизнь никогда не захватываетъ цѣликомъ всего общества; ни въ одной странѣ въ одно время не увидимъ мы единства интересовъ и стремленій, — всегда намъ придется имѣть дѣло съ цѣлымъ рядомъ общественныхъ слоевъ, съ разнообразіемъ общественныхъ группъ, которыхъ интересы и стремленія чаще всего даже сталкиваются между собой. Понятно, что историкъ, характеризующій жизнь одной группы, изучающій ея характерныя черты, рискуетъ впасть въ ошибку, если свою характеристику распространить на все общество, не обративъ должнаго вниманія на то разнообразіе, которое въ немъ царитъ. Чтобы объяснить возникновеніе какого-нибудь культурнаго явленія (напримѣръ сатиры XVIII вѣка), историкъ, конечно, обязанъ сгруппировать основанія, объясняющія это явленіе, но нельзя результатамъ подобной, нѣсколько искусственной, группировки придавать слишкомъ общее значеніе.

Цѣль нашего очерка — обрисовать жизнь Н. М. Карамзина до его путешествія. Для этого намъ надо бросить взглядъ на то малоизвѣстное время его жизни, когда складывались его духовные интересы, когда создавались его нравственные идеалы. Понятно, что для объясненія условій, создавшихъ ту атмосферу, въ которой выросъ Карамзинъ, нѣтъ намъ нужды рисовать жизнь *всего* русскаго общества XVIII вѣка, ни, тѣмъ болѣе, останавливаться на темныхъ сторонахъ этой жизни, — напротивъ, намъ надо найти въ ней только то, что способствовало появленію такихъ личностей, какой былъ Карамзинъ; намъ надо объяснить, на какой почвѣ расцвѣлъ въ Россіи и чѣмъ питался тотъ идеализмъ, которому Карамзинъ остался вѣренъ до конца дней и который былъ имъ переданъ въ наслѣдство молодому поколѣнію (Жуковскому и другимъ)...

Въ общихъ чертахъ возстановить жизнь той далекой эпохи не трудно благодаря обилію документовъ, дошедшихъ до насъ отъ XVIII вѣка. Особенно драгоцѣнны для насъ въ этомъ отношеніи записки Болотова, эта талантливая эпопея русскаго общества за полстолѣтіе его жизни. Чуткій зритель всего происходящаго, человѣкъ отзывчивый на всякое общественное содроганіе, Болотовъ въ своихъ миніатюрахъ вырисовалъ такую массу людей прошлаго вѣка, что многое въ жизни той эпохи дѣлается для насъ понятнымъ. Цѣлый рядъ другихъ мемуаровъ и записокъ, въ общемъ, только подтверждаютъ Болотова. Кромѣ того, блестящія картины того вѣка, попадающіяся въ произведеніяхъ нашихъ лучшихъ писателей, даютъ намъ представленіе объ этой жизни въ яркихъ типическихъ чертахъ: со всею полнотою исторической и психологической правды рисуется передъ нами эта жизнь, и нѣтъ въ этихъ картинахъ никакой исторической фальши.

Какова же была та часть русскаго общества, которая оказалась воспріимчивой къ культурнымъ воздѣйствіямъ, пришедшимъ извнѣ, которая отозвалась на идеалистическія стремленія западной Европы XVIII вѣка и выдвинула изъ своей среды молодежь, чуткую, отзывчивую, въ концѣ вѣка оказавшуюся во главѣ русскаго передового общества?

Конечно, для рѣшенія этого вопроса Простаковы, Скотинины, Салтычихи и другія подобныя имъ личности не могутъ интересовать насъ, тѣмъ болѣе, что и на страницахъ мемуаровъ XVIII вѣка они лишь изрѣдка мелькаютъ и быстро исчезаютъ, осужденные и осмѣянные. Эти безобразные наросты на русской жизни той эпохи силою вещей были обречены на гибель: они задерживали стремленія лучшихъ людей, единогласно были ими осуждены и должны были вымереть. Это были, по признанію людей XVIII вѣка, возмутительныя исключенія на томъ ровномъ, правда, довольно безразличномъ фонѣ, какимъ была остальная масса русскаго общества. Вотъ это — именно масса, изъ

которой выдѣляются, время отъ времени, безобразные выродки и люди талантливые, полные энергіи и хорошихъ желаній, — особенно интересуетъ насъ, такъ какъ именно она оказалась средой, податливой на хорошія вліянія и къ концу вѣка сдѣлала большіе шаги впередъ...

Сытная, довольная, безстрастно жила она, съ непоколебимой вѣрой въ Бога, нетронутая душевнымъ разладомъ. Въ ней царилъ еще патріархальный складъ съ домостроевскими идеалами, правда, уже нѣсколько затуманенными вліяніемъ чужеземныхъ наслоеній. Много было въ этой добродушной жизни наивности и грубости, но жестокость была, повидимому, исключительнымъ явленіемъ. Не мало хорошихъ людей проходитъ передъ нами при чтеніи записокъ XVIII вѣка, и съ какою любовью относятся къ нимъ не только авторы записокъ, но и другіе современные имъ люди!

Для насъ очень цѣнно авторитетное свидѣтельство графа Л. Толстого, изучавшаго эту жизнь для своего романа «Война и миръ». Защищаясь отъ обвиненія критиковъ въ томъ, что «характеръ времени недостаточно опредѣленъ» въ его романѣ, онъ говоритъ: «я знаю, въ чемъ состоитъ тотъ характеръ времени, котораго не находятъ въ моемъ романѣ, — это ужасы крѣпостного права, закладываніе женъ въ стѣны, сѣченье взрослыхъ сыновей, Салтычиха и т. п.; и этотъ характеръ того времени, который живетъ въ нашемъ представленіи — я не считаю вѣрнымъ и не желалъ выразить. Изучая письма, дневники, преданія, я не находилъ всѣхъ ужасовъ этого буйства въ большей степени, чѣмъ нахожу ихъ теперь, или когда-либо и т. д.»

Семилѣтняя война потревожила это мирное теченіе русской жизни. Почти шесть лѣтъ прожили за границей русскіе дворяне, служившіе въ полкахъ Елизаветы; они увидѣли совершенно новую жизнь, въ которой чувствовалось тогда культурное движеніе; они присматривались къ этой жизни и многое принесли на родину изъ чужихъ краевъ. Съ какими чувствами оставляли русскіе юноши чужбину, — объ этомъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ Болотовъ, разсказывающій о своемъ прощаніи съ Кёнигсбергомъ: «какъ скоро отъѣхалъ я версты двѣ отъ города и взъѣхалъ на знакомый мнѣ холмъ, съ котораго можно было городъ сей мнѣ впослѣднія видѣть, то предчувствуя, что мнѣ его никогда уже болѣе не видать, восхотѣлось мнѣ еще разъ на него хорошенько насмотрѣться... съ цѣлую четверть часа смотрѣлъ на него съ чувствіями нѣжности, любви и благодарности... и, бесѣдуя съ нимъ душевно, молча говорилъ: «Прости, милый и любезный градъ, и прости навѣки!... Ты былъ мнѣ полезенъ въ моей жизни; ты подарилъ меня сокровищами безцѣнными; въ стѣнахъ твоихъ *сдѣлался я человѣкомъ* и *спознаъ* самого себя», — и, конечно, не одинъ Болотовъ переживалъ такія чувства!

Манифестъ о вольности дворянства по всѣмъ угламъ Россіи разбросалъ массу служилыхъ дворянъ, изъ которыхъ многіе находились еще подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ заграничной жизни. Раньше дворяне только заѣздомъ посѣщали свои родныя гнѣзда, — чаще всего

старики, женщины да дѣти были постоянными жителями русской деревни, — теперь туда полились широкіе потоки новыхъ людей, нерѣдко молодыхъ, со свѣжими запасами знаній и силъ. Возвращаясь на родину уже не съ тѣмъ, чтобы умирать на покоѣ, а для того, чтобы жить въ свое удовольствіе, они легко увлекались всѣмъ, что могло хотя до нѣкоторой степени поддержать ту культурную атмосферу, къ которой они были пріучены жизнью въ умственныхъ центрахъ. И вотъ, приблизительно съ этого времени, начинаютъ составляться тѣ библіотеки, которыя къ концу вѣка у нѣкоторыхъ помѣщиковъ достигаютъ внушительныхъ размѣровъ; въ деревню выписываются журналы и газеты, даже заграничныя; начинаетъ прививаться любовь къ домашнему театру, обратившаяся подъ конецъ въ какую-то манію; являются любители домашнихъ оркестровъ, собиратели картинъ и рѣдкостей. Въ русскомъ обществѣ замѣтно пробуждается эстетическое чувство: не только произведенія искусства, но и сама природа, во всей ея нетронутой простотѣ, находитъ поклонниковъ, возбуждая у нихъ «изящнѣйшія чувствованія», «кроткія наслажденія»... Подъ вліяніемъ западной культуры люди XVIII вѣка начали на многое смотрѣть «совсѣмъ иными глазами и находить тамъ тысячи пріятностей, гдѣ до того ни малѣйшихъ не примѣчали», — и, конечно, «блаженное искусство любоваться красотами и пріятностями натуры» доставляло «восхитительныя минуты» не одному Болотову, если «англійскіе» сады дѣлаются модой даже въ глухой провинціи... Красоты природы сдѣлались понятны многимъ русскимъ, опять-таки подъ вліяніемъ Запада — этому «искусству наслаждаться природой» Болотовъ научился, по его словамъ, «въ бытность свою еще въ Пруссіи...

Пробужденіе эстетическаго чутья въ русскомъ обществѣ зародило у многихъ любовь къ поэзіи: едва почуялъ Болотовъ прелесть эстетическихъ эмоцій, какъ «нечувствительно получилъ вкусъ и къ піитическимъ сочиненіямъ». Вотъ почему Сумароковъ, Херасковъ и другіе современные имъ писатели, выступившіе на литературное поприще на зарѣ русской новой литературы, сдѣлались любимцами передового русскаго общества: они на первыхъ порахъ вполнѣ удовлетворяли скромнымъ требованіямъ русскихъ эстетиковъ, и за это стихотворенія ихъ выучивались наизусть, надъ ихъ произведеніями проливались «сладкія слезы»...

Кромѣ «эстетическаго» движенія въ русскомъ обществѣ XVIII вѣка нетрудно также замѣтить и пробужденіе «нравственныхъ» стремленій. Источникомъ этихъ стремленій была литература переводная и оригинальная, возникшая подъ вліяніемъ западной. Особенное значеніе въ этомъ отношеніи имѣли театральныя пьесы и романы: эти произведенія были особенно популярны въ русскомъ обществѣ и многое сдѣлали для расширенія его духовнаго кругозора. Отъ людей XVIII вѣка мы знаемъ, какое сильное впечатлѣніе производила на многихъ драма того времени съ ея опредѣленными идеалами: торжество добродѣтели, патріотизмъ, возвышенная чистая любовь — все это сильно волновало

русскую молодежь, будило въ ея душѣ идеальные порывы... Романы, благодаря своей завлекательности, еще сильнѣе дѣйствовали въ этомъ направленіи на подрастающее поколѣніе: они были настоящей культурной силой въ жизни русскихъ людей XVIII вѣка. Почти всѣ авторы записокъ того времени, говоря о своемъ дѣтствѣ, признаютъ огромное значеніе для нихъ этихъ произведеній.

Романы увлекали читателей своимъ «интереснымъ» содержаніемъ, а потому болѣе были доступны массѣ, чѣмъ, напримѣръ, лирическія произведенія; на цѣлые дни и ночи приковывали романы къ себѣ вниманіе любителей этого чтенія, нерѣдко послѣднія деньги выманивали у нихъ... Но за то они заставили полюбить книгу; начавъ съ романа, многіе переходили къ историческимъ, нравоучительнымъ, научнымъ сочиненіямъ, а тѣ, которые остались навсегда при романахъ, все-таки были благодарны имъ за то расширеніе нравственнаго кругозора, которое было принесено этимъ чтеніемъ. «Кто плѣняется Никаноромъ, злощастнымъ дворяниномъ», говоритъ Карамзинъ, «тотъ на лѣстницѣ умственнаго образованія стоитъ еще ниже его автора, и хорошо дѣлаетъ, что читаетъ сей романъ: ибо, безъ всякаго сомнѣнія, чему-нибудь научается въ мысляхъ или въ ихъ выраженіи».

Въ большинствѣ переводныхъ и оригинальныхъ романовъ XVIII вѣка мы встрѣчаемъ опять-таки рѣшительное восхваленіе добродѣтели, неизбѣжное наказаніе порока: мы знакомимся съ героями, страдающими, но вѣрными своимъ нехитрымъ идеаламъ: чистая любовь, благородство души, чувствительность сердца—вотъ черты любимыхъ героевъ въ этихъ произведеніяхъ. Ихъ страданія вызывали слезы и будили отзывчивость въ юныхъ сердцахъ, ихъ завидныя добродѣтели восхищали молодежь и безъ труда увлекали ее на дорогу къ идеализму... Многіе, кромѣ того, отъ чтенія и переписыванія романовъ переходили къ переводамъ, подражаніямъ, распространяли свои симпатіи на всю область литературы и понемногу втягивались въ литературныя занятія.

Особенное значеніе имѣла эта нахлынувшая романическая литература на русскую женщину. Если юноша, выйдя на широкій житейскій просторъ, часто отвлекался отъ нѣкогда любимыхъ романовъ или переходилъ отъ нихъ къ чтенію другого рода, болѣе серіозному и содержательному, то русская дѣвушка, особенно провинціальная, нерѣдко навсегда оставалась около романовъ. И вотъ, уже со второй половины XVIII вѣка намѣчается въ русской жизни типъ дѣвушки-мечтательницы, воспитанной на романахъ, — типъ, который у Пушкина облекся въ художественный образъ поэтической Татьяны. Несомнѣнно также, что, между прочимъ, эта же романическая литература вызвала русскую женщину на литературное поприще, и потому-то съ середины XVIII вѣка до конца его мы видимъ большое число русскихъ писательницъ и переводчицъ...

Конечно, многіе изъ романовъ XVIII вѣка только волновали фантазію, даже дѣйствовали раздражающимъ образомъ на чувственность читателей, но, несомнѣнно, такихъ романовъ было меньшинство:

стоитъ взглянуть хотя бы на одни перечни романовъ XVIII вѣка, чтобы убѣдиться въ томъ, что разныя подозрительныя «похожденія» гораздо рѣже встрѣчаются, чѣмъ произведенія съ «добродѣтельными» и «несчастными» героями. «Какіе романы болѣе всѣхъ нравятся?» спрашиваетъ Карамзинъ — и самъ даетъ отвѣтъ: «обыкновенно, чувствительные: слезы, проливаемыя читателями, текутъ всегда отъ любви къ добру и питаютъ ее. Нѣтъ, нѣтъ! дурные люди и романовъ не читаютъ!» Конечно, были любители и скабрезныхъ романовъ, но для насъ важно, что въ русской провинціи XVIII вѣка оказываются библіотеки, составленныя съ очень строгимъ выборомъ: «во *всѣхъ* романахъ», составлявшихъ библіотеку матери Карамзина, «герои и героини, несмотря на многочисленныя искушенія рока, остаются добродѣтельными; всѣ злодѣи описываются самыми черными красками»... Этотъ подборъ только нравственныхъ романовъ — фактъ, въ нашихъ глазахъ, очень краснорѣчивый... Вотъ почему мы не разъ слышимъ отъ людей XVIII вѣка признанія, что они много обязаны романамъ за то нравственное воспитаніе, которое было получено ими отъ этого чтенія.

Съ перваго взгляда трудно понять, почему это резонерство à la Стародумъ увлекло людей XVIII в. болѣе, чѣмъ типичныя лица въ родѣ Простаковой; мы со скукой читаемъ модныя въ томъ вѣкѣ произведенія, проникнутыя, съ нашей точки зрѣнія, «пошлой», «прописной» моралью, но въ доброе старое время, для молодого общества, которое еще только приступало къ самопознанію, которое искало путей къ свѣту, которое впервые ощутило въ себѣ идеалистическія стремленія, эта мораль была откровеніемъ, и потому цѣнилась высоко: людямъ того времени дорого было все положительное. Оттого то для «вольтерьянства», съ его скепсисомъ, не было почвы на Руси, оттого и сатирическая литература, искуственно пересаженная, не могла пустить глубокихъ корней въ русское общество; не сомнѣніе и не обличеніе были нужны людямъ прошлаго столѣтія, а указанія, куда итти, гдѣ свѣтъ... Вотъ почему Новиковъ безъ труда бросилъ свои сатирическіе журналы и пошелъ навстрѣчу къ тѣмъ смутнымъ идеальнымъ порывамъ, которые онъ усмотрѣлъ въ русской жизни: онъ, по словамъ Карамзина отказался отъ сатиры, «потому, что нашелъ другой болѣе вѣрный способъ быть полезнымъ своему отечеству». Московскій университетъ, съ его нѣмецкими профессорами, расчистилъ дорогу идеальнымъ стремленіямъ на Русь, а масонство и богатая идеалистическая литература, занесенная съ запада, были первыми потоками идеализма, который влился въ русскую жизнь, уже подготовленную къ принятію его, — влился, оживилъ и создалъ цѣлое движеніе.

Къ этому времени русское общество очень замѣтно раскололось на двѣ половины, враждующія одна съ другою: Петербургъ и Москва были центрами враждующихъ лагерей; французское вліяніе, съ одной стороны, и нѣмецко-англійское, съ другой, — вотъ двѣ столкнувшіяся силы. Императрица, съ ея вѣрой въ просвѣщенный абсолютизмъ, и молодое русское общество, выходящее на самостоятельный путь, безъ

всякихъ помочей, своими силами, — вотъ враги, культурная борьба которыхъ заполонила конецъ XVIII в. на Руси.

Столичное общество, съ его преклоненіемъ предъ императрицей, съ подражаніями французской литературѣ, съ сатирами «въ улыбательномъ родѣ», не интересуетъ насъ, — все вниманіе наше устремляется на провинцію, гдѣ съ середины вѣка до конца его замѣтили мы самостоятельное, не умирающее стремленіе къ свѣту.

Это было счастливое время, когда каждая печатная строчка цѣнилась очень высоко, передовые люди встрѣчали поддержку даже у современниковъ, стоящихъ ниже ихъ по развитію; молодежь охотно собиралась около интересныхъ людей, преклонялась передъ ними, и со стороны ихъ встрѣчала всегда искреннее желаніе помочь по мѣрѣ силъ; независимо отъ новиковскаго кружка, и раньше и позже его, встрѣчаемъ мы уже въ русской провинціи небольшіе кружки самообразованія и самоулучшенія. Въ нихъ складывался новый типъ юноши, не удовлетворяющагося дешевымъ россійскимъ «вольтерьянствомъ», предпочитающаго созерцательную жизнь — суетливой свѣтской. Это юноша отзывчивый, чувствительный, развитой эстетически и морально. Онъ жаждетъ свѣта, воодушевленъ «богатырскими» помыслами, хочетъ «не безполезно жить для людей». Это молодой человѣкъ, у котораго въ груди бьется горячее сердце, который ищетъ чего-то, къ чему онъ могъ бы привязаться всей душой и о чемъ онъ самъ не имѣетъ опредѣленнаго понятія, но что должно наполнить пустоту его души и оживить его жизнь!...

Зародыши этого идеализма усмотрѣли мы въ жизни провинціальнаго русскаго общества уже съ начала второй половины XVIII вѣка, а блестящій расцвѣтъ его относится, по нашему мнѣнію, къ тому движенію, которое началось въ 80—90-хъ годахъ около московскаго университета. Новиковъ и Шварцъ были вожаками этого движенія, а студенты университета и молодые «любословы» — той толпой, въ которой это движеніе назрѣло до сознательныхъ стремленій. Творцомъ этой новой жизни Новиковъ не былъ: онъ — только талантливый выразитель тѣхъ желаній, которыя съ половины XVIII вѣка пробуждаются въ русскомъ провинціальномъ обществѣ. Онъ одинъ изъ первыхъ далъ себѣ отчетъ въ этихъ желаніяхъ и помогъ разобраться въ нихъ русскому обществу. Благодарная провинція послала къ нему въ Москву своихъ сыновъ; онъ соединилъ ихъ около себя и, главнымъ образомъ, благодаря Шварцу, повелъ эту молодежь туда, гдѣ, какъ ему казалось, мерцалъ свѣтъ истины...

Мы говорили уже, что культурное движеніе русской провинціи началось подъ вліяніемъ нѣмецкимъ. Въ самомъ дѣлѣ, Германія середины вѣка переживала, правда, въ болѣе значительныхъ и серіозныхъ размѣрахъ, то же, что мы видѣли въ Россіи. Французское вліяніе столкнулось тамъ съ англійскимъ, а потомъ и съ мѣстнымъ, нѣмецкимъ; французская скептическая литература встрѣтилась съ идеалистической. Фридрихъ Великій и Екатерина имѣютъ между собою много

общаго; борьба, которая завязалась съ этими «просвѣщенными» владыками у молодого нѣмецкаго и русскаго общества, тоже въ очень многомъ сходна между собою. Въ Германіи эта борьба съ «просвѣщеннымъ абсолютизмомъ» приняла довольно рѣзкія формы: дореволюціонная европейская литература договорилась до смѣлыхъ откровенностей — намъ кажется, что политическая окраска не чужда и той борьбы, въ которую вступила русская провинція, въ лицѣ Новикова, — со столицей, въ лицѣ императрицы. Конечно, одного просвѣтительнаго движенія, выразившагося въ «эстетическихъ» и «идеалистическихъ» стремленіяхъ, было недостаточно для возникновенія въ обществѣ «политическаго» движенія, — для этого нуженъ прежде всего расцвѣтъ общественнаго самосознанія, нужно пониманіе общественныхъ нуждъ, развитіе государственныхъ и правовыхъ понятій. Все это, правда, въ скромныхъ размѣрахъ, найдемъ мы въ молодомъ русскомъ обществѣ второй половины вѣка, и все это было дано ему Екатериной.

Императрица своимъ «Наказомъ», а потомъ внутренними реформами дала могучій толчокъ пробуждающемуся русскому обществу. Если до реформъ Екатерины мы видѣли людей и развитыхъ и съ извѣстными убѣжденіями, то это были лишь отдѣльныя личности: общественнаго сознанія почти незамѣтно въ русскомъ обществѣ до екатерининской эпохи. Екатерина внезапно обратилась съ вопросомъ ко всему обществу, и если отвѣтъ былъ данъ на первыхъ порахъ довольно безтолковый, то историческое значеніе этого отвѣта все-таки громадно; съ этого времени общественное сознаніе быстро развивается, нарождаются общественные интересы; начался обмѣнъ мыслей, многое прояснилось, опредѣлилось, на историческую сцену являются уже не отдѣльныя личности, но группы людей съ болѣе или менѣе опредѣленнымъ знаменемъ...

Намъ думается, что императрица скоро раскаялась въ своей юношеской поспѣшности. Увлеченная модною въ XVIII вѣкѣ болѣзнью «sensiblerie déclamatoire», т.-е. страстью говорить пышныя фразы, Екатерина, возвѣщая міру о своихъ просвѣтительныхъ планахъ, болѣе смотрѣла, кажется, на то, какое впечатлѣніе производили они на западную Европу, — между тѣмъ, и на Россію они произвели впечатлѣніе очень сильное, хотя на первыхъ порахъ почти незамѣтное: лишь къ концу царствованія Екатерина увидала плоды своихъ первыхъ неосторожныхъ шаговъ, когда выросло у насъ общественное самосознаніе, и русское общество откликнулось на политическія движенія западной Европы. Только радикальными мѣрами удалось тогда императрицѣ удержать русское общество въ желательныхъ для нея границахъ.

Эти проявившіяся подъ вліяніемъ Запада идеалистическія и политическія стремленія, въ соединеніи съ ясно сознанными общественными интересами, и создали ту силу, которая не поколебалась вступить въ борьбу съ самой императрицей. Два борца выдвигаются

въ это время изъ рядовъ русскаго общества: одинъ — Новиковъ, осторожно начавшій опасную борьбу, создавшій цѣлую армію бойцовъ-помощниковъ, захватившій съ собою всѣ углы Россіи на эту борьбу, другой — Радищевъ, самонадѣянный и дерзкій мечтатель, одинокій боецъ, отважившійся итти въ бой съ открытымъ забраломъ.

Вотъ, въ общихъ чертахъ, исторія передового русскаго общества со второй половины до конца XVIII вѣка. На глазахъ Карамзина развернулась эта жизнь; ея стремленія и интересы были той атмосферой, въ которой онъ выросъ и опредѣлился. Волею судебъ онъ попалъ въ самую середину этого потока, увлекавшаго русское общество впередъ къ той жизни, въ которой все яснѣе и сознательнѣе сказывались «эстетическія», «идеалистическія» и «политическія» стремленія. Мы попытаемся доказать, что эта новая жизнь положила свои неизгладимыя, несмываемыя печати на духовный обликъ Карамзина и на всю его литературную дѣятельность...

Сиповскій.

Родители Карамзина.

Николай Михайловичъ Карамзинъ происходитъ изъ дворянъ и со стороны отца и со стороны матери, урожденной Пазухиной. Карамзины и Пазухины не принадлежали къ фамиліямъ, чѣмъ-нибудь прославившимъ себя въ русской исторіи: это были дворяне мелкіе, рядовые слуги русской земли.

Родился Николай Михайловичъ 1 декабря 1766 года, въ имѣніи отца, селѣ Михайловкѣ (Преображенское тожъ), Самарской губерніи, Бузулуцкаго уѣзда; дѣтство же его протекло въ главномъ имѣніи отца, селѣ Карамзинѣ (Знаменское тожъ), въ нѣсколькихъ верстахъ отъ гор. Симбирска.

По словамъ Карамзина, отецъ его, Михаилъ Егоровичъ, былъ «самый добрый человѣкъ», на «русскую стать», одинъ изъ тѣхъ простыхъ, хорошихъ русскихъ людей, которыхъ было не мало въ провинціи того времени. Послужа честно и усердно родной землѣ на ратномъ полѣ, пріѣхалъ онъ послѣ смерти отца (1763 г.) въ родное гнѣздо и, выйдя въ отставку съ чиномъ «капитана», навсегда остался въ родной провинціи. Несмотря на всѣ старанія Н. М. Карамзина въ своемъ романѣ-автобіографіи: «Рыцарь нашего времени», набросить на отца «романическое одѣяніе», оно какъ-то не держится у того на плечахъ, и передъ глазами читателя постоянно стоитъ фигура деревенскаго барина, «съ веселымъ лицомъ», про котораго только и можно сказать, что онъ — «самый добрый человѣкъ»...

Повидимому, гораздо болѣе сложной и оригинальной натурой была одарена мать Карамзина, Екатерина Петровна. Н. М. Карамзинъ былъ ребенкомъ, когда она умерла; онъ не помнилъ ея:

Ахъ! я не зналъ тебя!
Ты, давъ мнѣ жизнь, сокрылась!

восклицаетъ онъ, обращаясь къ матери въ одномъ стихотвореніи. Но это обстоятельство не помѣшало тому, чтобы вліяніе матери сказалось на ребенкѣ; конечно, разсказы лицъ, знавшихъ ее, должны были очень интересовать Карамзина: онъ жадно прислушивался къ этимъ разсказамъ, и черты покойной матери обрисовались передъ нимъ довольно опредѣленно. Намъ не трудно сквозь поэтическія тѣни, которыя наброшены Карамзинымъ на этотъ милый ему образъ, разсмотрѣть уже знакомыя намъ черты дѣвушки-мечтательницы, начитавшейся романовъ, воспитанной на нихъ. Изъ этихъ романовъ у матери Карамзина даже составилась, по его словамъ, цѣлая библіотека. Много времени отдавала этой библіотекѣ молодая женщина, по цѣлымъ днямъ не выпускавшая изъ рукъ книгъ, питавшая свой духъ романической литературой... Рано умерла она, и вся жизнь ея рисовалась впослѣдствіи Карамзину какой-то сплошной элегіей, полной поэтической грусти... По его словамъ, «несмотря на молодыя лѣта свои», эта молодая женщина «имѣла удивительную склонность къ меланхоліи и цѣлые дни могла просиживать въ глубокой задумчивости»; еще до брака съ отцомъ Карамзина имѣла она какую-то таинственную любовь, о которой упомянуто въ романѣ вскользь, «въ изъясненіе ея душевной любезности», т.-е. ея чувствительности, склонности къ меланхоліи. Эта молодая женщина «съ привѣтливыми и милыми глазами», то грустившая по цѣлымъ днямъ, то вдругъ въ восторженной рѣчи проявлявшая «умъ и разительное краснорѣчіе», представлялась Карамзину какимъ-то неземнымъ эѳирнымъ созданіемъ, которое точно нечаянно залетѣло на землю и скрылось, давъ ему жизнь. «Аркадія жизни» или, попросту, младенчество протекло именно подъ непосредственнымъ вліяніемъ молодой матери, нѣжно любившей своего маленькаго сына, «съ розовыми губками, съ греческимъ носикомъ, съ черными глазками»... «Душа Леонова образовалась любовью и для любви... Любовь питала, согрѣвала, тѣшила, веселила его; была первымъ впечатлѣніемъ его души». «Сколько разъ въ день, въ минуту, нѣжная родительница цѣловала его, плакала и благодарила Небо; сколько разъ и онъ маленькими своими ручонками обнималъ ее, прижимаясь къ ея груди; голосъ его тверже и тверже произносилъ: «люблю тебя, маменька!»

Немудрено, что образъ рано утраченной матери сдѣлался на всю жизнь дорогъ Карамзину:

...образъ твой священный, милый
Въ груди моей напечатлѣнъ
И съ чувствомъ въ ней соединенъ!

восклицаетъ онъ. Мало-по-малу этотъ образъ отождествился съ представленіемъ ангела-хранителя:

Твой духъ всегда со мной:
Невидимой рукой
Хранила ты мое безопытное дѣтство;

Ты въ лѣтахъ юности меня къ добру влекла
И совѣстью моей въ часъ слабостей была!

Съ кровью и молокомъ получила воспріимчивая природа мальчика много хорошихъ качествъ отъ своей юной матери: ея «тихій нравъ остался мнѣ въ наслѣдство!» сказалъ онъ, вспоминая о матери. Вліяніе ея, по мнѣнію самого Карамзина, было «основаніемъ его характера».

Можно думать, что только три года было Карамзину, когда умерла его мать. Отецъ его довольно скоро утѣшился, такъ какъ приблизительно черезъ годъ послѣ смерти первой жены мы видимъ его женатымъ уже во второй разъ. Мачеха, очевидно, не походила на родную мать, и хотя мы и не имѣемъ права называть ее жестокой по отношенію къ пасынку, но что она часто оскорбляла своею холодностью чуткаго мальчика, привыкшаго къ ласкѣ, — это несомнѣнно: ребенокъ замѣтилъ, какъ

Другіе на колѣняхъ
Любезныхъ матерей въ веселіи цвѣли,

а его не ласкалъ никто: одинокій, онъ «въ печальныхъ тѣняхъ», т.-е. на кладбищѣ,

Рѣкою слезы лилъ на мохъ сырой земли,
На мохъ твоей (т.-е. матери) могилы!
...Что былъ я? — восклицаетъ онъ, — сиротою!
Въ пространномъ мірѣ семъ скучалъ самимъ собою,
Печальнымъ бытіемъ...
Никто участія въ судьбѣ моей не бралъ.
Чувствительность въ груди моей питая,
Въ сердцахъ у *всѣхъ* людей я камень находилъ».

Но, не встрѣчая той ласки, къ которой его пріучила нѣжная мать, маленькій Карамзинъ, тѣмъ не менѣе, не ожесточился: видно, слишкомъ прочно было наслѣдственное вліяніе его матери: «душа Леонова образовалась любовью и для любви. Теперь обманывайте, терзайте его, жестокіе люди! Онъ будетъ воздыхать и плакать»... Такимъ образомъ, уже съ дѣтскихъ лѣтъ научился онъ «воздыхать и плакать», съ младенчества сдѣлалась ему знакома меланхолія. Здѣсь, въ этихъ раннихъ дѣтскихъ впечатлѣніяхъ, и кроется, по нашему мнѣнію, источникъ тѣхъ особенностей его сердца, на которыхъ въ юношескомъ возрастѣ богато расцвѣли вліянія западной сентиментальной литературы.

Изъ жалобъ Карамзина на то, что послѣ смерти матери въ дѣтствѣ «никто» не бралъ участія въ его судьбѣ, что «всѣ» люди относились къ нему равнодушно, видно, что отецъ не былъ особенно нѣжнымъ и внимательнымъ къ сыну; мачехѣ тѣмъ менѣе было охоты заниматься имъ, такъ какъ у нея были свои дѣти. Потому онъ рано былъ отданъ на полное попеченіе прислуги: слушалъ онъ сказки «мамушекъ», а потомъ изъ женскихъ рукъ попалъ къ дядькѣ. Мы не

знаемъ, что за человѣкъ былъ этотъ дядька, которому поручено было воспитаніе ребенка, походилъ ли этотъ воспитатель на пушкинскаго Савельича (изъ «Капитанской дочки»), образъ, часто мелькающій при чтеніи мемуаровъ XVIII вѣка, — Карамзинъ ничего не говорилъ объ этомъ первомъ педагогѣ, къ которому онъ попалъ: одно ясно для насъ изъ чтенія автобіографическаго романа, — это, что свободы ребенка дядька не стѣснялъ. Ребенокъ былъ очень рано предоставленъ самому себѣ, и его чуткая натура развивалась совершенно самобытно. Въ то время такъ выростали многіе.

Впрочемъ, уже съ первыхъ минутъ этой самостоятельной жизни внѣшнія обстоятельства дали развитію Карамзина извѣстное направленіе: смерть матери, холодность мачехи, равнодушіе отца — все это заставило ребенка замкнуться въ тѣсный кругъ своего дѣтскаго внутренняго міра. Немудрено, что уже съ дѣтства безотчетная грусть или тихая меланхолическая мечтательность было обычнымъ настроеніемъ ребенка. Съ настроеніемъ этимъ удивительно гармонировала возвышающая душу спокойная картина волжской природы; она воспитала эстетическое чувство многихъ людей XVIII вѣка, — она манила къ себѣ и Карамзина-ребенка: маленькій меланхоликъ по цѣлымъ часамъ пропадалъ изъ дому, сидя «на высокомъ берегу Волги въ орѣховыхъ кусточкахъ», мечтательно любуясь «на синее пространство Волги, на бѣлыя паруса судовъ и лодокъ, на стаи рыболововъ, которые изъ-подъ облаковъ дерзко опускаются въ пѣну волнъ и снова парятъ въ воздухѣ». «Сія картина», продолжаетъ Карамзинъ, «такъ сильно впечатлѣлась» въ его дѣтской душѣ, что «онъ черезъ двадцать лѣтъ послѣ того» плакалъ, вспоминая о Волгѣ, родинѣ и безпечной юности. Всегда съ чувствомъ умиленія и признательности относился Карамзинъ къ роднымъ мѣстамъ, гдѣ впервые онъ «чувствомъ жизни насладился», «природу полюбилъ». «Какъ мила природа въ деревенской одеждѣ своей!» восклицаетъ онъ однажды. «Ахъ! она воспоминаетъ мнѣ лѣта моего младенчества — лѣта, проведенныя мною въ тишинѣ сельской, на краю Европы, среди народовъ варварскихъ. Тамъ воспитывался духъ мой въ простотѣ естественной; великіе феномены натуры были первымъ предметомъ его вниманія»...

Сиповскій.

Обстановка и условія первоначальнаго образованія Карамзина, способствовавшія развитію въ немъ чувствительности.

Внимательное изученіе всѣхъ произведеній и собственныя многократныя признанія его указываютъ на господствующую черту его природы — чувствительность, которою такъ дорожилъ Карамзинъ и которую считалъ едва ли не единственнымъ источникомъ всего великаго и прекраснаго въ мірѣ и, прежде всего, въ поэзіи. Подъ чувствительностію, по собственнымъ словамъ Карамзина, должно разумѣть *воспріимчивость ко всему изящному въ природѣ, искусствѣ и жизни,*

простоту сердца, искреннее, живое и горячее чувство (III, 360). Эта чувствительность въ житейскихъ столкновеніяхъ, естественно, служила для Карамзина постояннымъ источникомъ быстро смѣнявшихся радостей и горя, нерѣдко доводившихъ его до увлеченій, за которыми слѣдовало уныніе, раскаяніе. Прекрасная характеристика и очеркъ жизни Эраста, представляющіе непрерывную смѣну радостей и горя, увлеченія и раскаянія, безъ сомнѣнія, заключаютъ въ себѣ много чертъ, лично принадлежащихъ Карамзину. Слѣдовавшія за увлеченіями уныніе и раскаяніе, естественно, располагали къ тихому размышленію, къ той пріятной мечтательности, которой невольно поддается человѣкъ, освободившійся отъ остраго чувства горя и отдыхающій для новыхъ наслажденій, и которую Карамзинъ называетъ *меланхоліей*.

О меланхолія, нѣжнѣйшій переливъ
Отъ скорби и тоски къ утѣхамъ наслажденья!
Веселья нѣтъ еще, и нѣтъ уже мученья;
Отчаянье прошло... Но, слезы осушивъ,
Ты радостно на свѣтъ взглянуть еще не смѣешь,
И матери своей, печали, видъ имѣешь,
Бѣжишь, скрываешься отъ блеска и людей,
И сумерки тебѣ милѣе ясныхъ дней.
Безмолвіе любя, ты слушаешь унылый
Шумъ листьевъ, горныхъ водъ, шумъ вѣтровъ и морей.
Тебѣ пріятенъ лѣсъ, тебѣ пустыни милы;
Въ уединеніи ты болѣе съ собой (1, 211).

Меланхолія, по Карамзину, даже должна быть свободна отъ всякаго чувства горя и означаетъ состояніе спокойнаго и тихаго размышленія, при участіи столь же спокойной фантазіи, о предметахъ науки и искусства, объ общихъ вопросахъ и явленіяхъ жизни, размышленія, располагающаго къ мечтательности. Въ этомъ особенномъ смыслѣ меланхолія можетъ быть дѣйствительно названа источникомъ великихъ идей и начинаній. Опровергая извѣстный парадоксъ Руссо о вредѣ знанія и книгъ для нравственности, Карамзинъ восклицаетъ: «тогда не будетъ уже книгъ, благословенныхъ книгъ, сихъ вѣрныхъ, милыхъ друзей, которые доселѣ услаждали для насъ печальную осень и скучную зиму, то обогащая душу великими истинами философіи, то извлекая слезы чувствительности изъ глазъ нашихъ трогательными повѣствованіями. Священная, небесная меланхолія, мать всѣхъ безсмертныхъ произведеній ума человѣческаго! Ты будешь чужда хладному нашему сердцу; оно забудетъ тогда всѣ благороднѣйшія свои движенія, и сіе племя всемірной любви, которое развиваетъ въ немъ творенія истинныхъ мудрецовъ и друзей человѣчества, подобно угасающей лампадѣ, блеснетъ — и померкнетъ!...» (III, 396.)

Такое расположеніе души Карамзина, по собственному его признанію, было врожденное. Обстановка и условія его воспитанія и образованія усилили это расположеніе.

Еще въ младенчествѣ Карамзинъ лишился матери, наслѣдовавши отъ нея ея *удивительную склонность къ меланхоліи* (III, 242). Въ посланіи къ женщинамъ (1793) онъ, между прочимъ, говоритъ о матери: *твой тихій нравъ остался мнѣ въ наслѣдство.* «Любовь питала, согрѣвала, тѣшила, веселила Леона[1]); была первымъ впечатлѣніемъ его души, первою краскою, первою чертою на бѣломъ листѣ ея чувствительности». Извѣстный желтый шкапъ со старинными романами едва ли не больше всего помогъ сильному развитію въ Карамзинѣ чувствительности и меланхолической мечтательности. Заключая въ себѣ искусственное и, большею частію, безпорядочное сплетеніе разнообразныхъ и необычайныхъ приключеній, совершающихся гдѣ-нибудь на отдаленномъ востокѣ, разумѣется, наименѣе извѣстномъ авторамъ, изображая любовь и неизбѣжныя коллизіи въ тѣхъ же необычайныхъ размѣрахъ, эти романы дѣйствительно должны были производить сильное вліяніе на чувство и воображеніе впечатлительнаго и воспріимчиваго мальчика. По самымъ простымъ психологическимъ соображеніямъ, мы не можемъ отказать этимъ романамъ въ извѣстной долѣ вреднаго вліянія на Карамзина, и послѣдующая его жизнь представляетъ нѣкоторыя черты, происхожденіе которыхъ можно отнести къ этому дѣтскому увлеченію. Хотя Карамзинъ и говоритъ, что семилѣтній Леонъ «занимался болѣе происшествіями, связью вещей и случаевъ, нежели чувствомъ любви романической», однако неумѣренно страстныя и неестественныя изліянія, наполнявшія собою романы, не могли не оставить слѣдовъ въ дѣтской душѣ (III, 274). Такое же дѣйствіе должны были производить на Карамзина необычайность и неестественные размѣры приключеній. Оттого, безъ сомнѣнія, Леонъ «на 10-мъ году отъ рожденія могъ уже часа по два играть воображеніемъ и строить замки на воздухѣ. *Опасности* и *героическая дружба* были» любимою мечтою... Сверхъ того, онъ любилъ грустить, не зная о чемъ (III, 265). Въ письмѣ изъ Женевы, описывая одну изъ своихъ загородныхъ прогулокъ, онъ говоритъ: «обративъ глаза на долину, увидѣлъ я множество огней, которые въ темнотѣ представляли романическое зрѣлище. Мнѣ казалось, что я вижу тамъ замки благодѣтельныхъ фей — и всѣ сказки, которыя воспаляли младенческое мое воображеніе и дѣлали меня въ ребячествѣ маленькимъ Донъ-Кихотомъ, оживились въ моей памяти. Между прочими тогдашними подвигами моими вспомнилъ я одинъ вечеръ, сумрачный и бурный, въ который, ощутивъ вдохновеніе божественныхъ фей, укрылся я отъ своего, впрочемъ, весьма бдительнаго, дядьки, забрался въ ту горницу, гдѣ хранились разныя оружія, покрытыя почтенною ржавчиною, схватилъ саблю, которая пришлась мнѣ по рукѣ, и, заткнувъ ее за кушакъ тулупа своего, отправился на гумно искать приключеній и противиться силѣ злыхъ волшебниковъ: но, чувствуя въ себѣ

[1]) Леонъ — дѣйствующее лицо изъ неоконченной повѣсти Карамзина «Рыцарь нашего времени», которую считаютъ за поэтическую автобіографію.

на каждомъ шагу умноженіе страха, махнулъ саблею нѣсколько разъ по черному воздуху и благополучно возвратился въ свою комнату, думая, что подвигъ мой довольно важенъ» (II, 317). Такое преждевременное и неумѣренное развитіе чувства и воображенія было, безъ сомнѣнія, причиною того, часто находившаго на Карамзина, въ собственномъ смыслѣ, меланхолическаго состоянія, той тоски, которую онъ самъ не могъ объяснить себѣ. «Отчего сердце мое страдаетъ иногда безъ всякой извѣстной мнѣ причины? Отчего свѣтъ помрачается въ глазахъ моихъ тогда, какъ лучезарное солнце сіяетъ на небѣ? Какъ изъяснить сіи жестокіе меланхолическіе припадки, въ которыхъ вся душа моя сжимается и хладѣетъ?» (II, 690). Съ другой стороны, нравоучительное направленіе, господствовавшее въ романахъ этого времени, несмотря на свою искусственность, незамѣтную для 10-лѣтняго мальчика, могло имѣть доброе вліяніе. Добродѣтельные, всегда торжествующіе герои романовъ желтаго шкапа и страшные злодѣи, всегда погибающіе, дѣйствительно могли въ нѣжной душѣ Карамзина начертать неизгладимыми буквами слѣдствіе: «итакъ, любезность и добродѣтель одно! итакъ, зло безобразно и гнусно! итакъ, добродѣтельный всегда побѣждаетъ, а злой гибнетъ» (III, 256). Что такое направленіе, спасительное въ жизни, твердою опорою служило для доброй нравственности, нѣтъ нужды доказывать. Эта безсознательная и неглубокая нравственность, почерпаемая изъ чтенія романовъ, имѣла однако свой историческій смыслъ: она способствовала смягченію грубыхъ нравовъ. «Дурные люди и романовъ не читаютъ», говоритъ Карамзинъ. «Жестокая душа ихъ не принимаетъ простыхъ впечатлѣній любви и не можетъ заниматься судьбою нѣжности... Неоспоримо то, что романы дѣлаютъ и сердце и воображеніе... *романическими:* какая бѣда? тѣмъ лучше въ нѣкоторомъ смыслѣ для насъ, жителей холоднаго и желѣзнаго сѣвера!... Однимъ словомъ, хорошо, что наша публика и романы читаетъ!» (III, 255—256). Только возможностію читать въ собранной матерью библіотекѣ романы, въ которыхъ открывался впечатлительному мальчику новый міръ, разнообразные люди, приключенія, игра судьбы и страстей, обязанъ былъ Карамзинъ своей матери. Вмѣстѣ съ этою чувствительностью, возбужденнымъ воображеніемъ и укрѣплявшимся, конечно, не одними нравственными романами нравственнымъ чувствомъ, въ Карамзинѣ рано началъ развиваться тотъ гуманный, нѣжный, полный любви взглядъ на людей, который онъ сохранилъ неизмѣнно до послѣднихъ дней своей жизни. *Лавровскій.*

Дѣтскіе годы Карамзина по личнымъ воспоминаніямъ и запискамъ современниковъ.

Невозмутимый покой деревенской жизни со всею, теперь исчезнувшею, ея обстановкою, со всѣми ея прежними, дурными и хорошими, условіями, окружалъ ребенка-Карамзина. Первыя дѣтскія воспомина-

нія его относятся къ жизни въ деревнѣ, къ тѣмъ людямъ, которые окружали его дѣтство. Въ «Рыцарѣ нашего времени» поднимается передъ нами цѣлый рядъ старинныхъ типовъ, далекихъ, исчезнувшихъ представителей первыхъ годовъ Екатерининскаго времени, отставныхъ военныхъ-помѣщиковъ, которые рѣдко ѣздили въ городъ, рѣдко разлучались, «съ мирными пенатами» и проводили всю жизнь или въ занятіяхъ патріархальнымъ хозяйствомъ, или въ веселомъ гостепріимствѣ. Карамзинъ приводитъ содержаніе ихъ разговоровъ: «Деревенское хозяйство, охота, извѣстныя тяжбы въ губерніи, анекдоты старины служили богатою матеріею для разсказовъ и примѣчаній». Дѣтскія воспоминанія эти свѣтлымъ призракомъ носились въ памяти Карамзина, и фигуры деревенскихъ сосѣдей, друзей отца его — очевидно написаны съ натуры. «Зеркало памяти моей ясно», говоритъ Карамзинъ, и въ словахъ его такъ много искренности, что нельзя не вѣрить въ дѣйствительность его живыхъ портретовъ: «Ахъ! давно уже смертъ и время бросили на васъ темный покровъ забвенья, витязи Симбирскаго уѣзда, вѣрные друзья капитана Радушина!» грустно говоритъ онъ, но зеркало памяти его ясно, и фигуры дѣтства съ отчетливостью ложатся на бумагу. «Какъ теперь смотрю на тебя, заслуженный майоръ, Ѳаддей Громиловъ, въ черномъ большомъ парикѣ, зимою и лѣтомъ въ малиновомъ бархатномъ камзолѣ, съ кортикомъ на бедрѣ и въ желтыхъ татарскихъ сапогахъ; слышу, слышу, какъ ты, не привыкнувъ ходить на цыпкахъ въ комнатахъ знатныхъ господъ, стучишь ногами за двѣ горницы и подаешь о себѣ вѣсть издали громкимъ своимъ голосомъ, которому нѣкогда рота ландмилиціи повиновалась, и который въ яркихъ звукахъ своихъ нерѣдко ужасалъ дурныхъ воеводъ провинціи! Вижу я тебя, сѣдовласый ротмистръ Буриловъ, прострѣленный насквозь башкирскою стрѣлою въ степяхъ уфимскихъ; слабый ногами, но твердый душою; ходившій на клюкахъ, но сильно махавшій ими, когда надлежало тебѣ представить живо или ударъ твоего эскадрона, или омерзѣніе свое къ безчестному дѣлу какого-нибудь недостойнаго дворянина въ нашемъ уѣздѣ! Гляжу и важную осанку твою, бывшій воеводскій товарищъ Прямодушинъ, и на орлиный носъ твой, за который не могъ водить тебя секретарь провинціи, ибо совѣсть умнѣе крючкотворства; вижу, какъ ты, разсказывая о Биронѣ и тайной канцеляріи, опираешься на длинную трость съ серебрянымъ набалдачникомъ, которую подарилъ тебѣ фельдмаршалъ Минихъ».

Бесѣда этихъ людей, воспоминанія прожитой ими жизни, по сознанію Карамзина, имѣли вліяніе на развитіе характера его. Они были для него представителями исчезнувшаго, стариннаго дворянства русскаго, которое въ своемъ идеальномъ и нравственномъ значеніи всегда было дорого Карамзину. Онъ глубоко гордился своимъ дворянскимъ достоинствомъ, высоко цѣнилъ его, и опредѣленію его значенія посвящено не мало страницъ его сочиненій. По словамъ Карамзина, «Рыцарь нашего времени» отъ этихъ представителей старинной

помѣщичьей жизни, деревенскихъ сосѣдей отца «заимствовалъ русское дружелюбіе, набрался духу русскаго и благородной дворянской гордости, которой онъ послѣ не находилъ даже и въ знатныхъ боярахъ: ибо спесь и высокомѣріе не замѣняютъ ея, ибо гордость дворянская есть чувство своего достоинства, которое удаляетъ человѣка отъ подлости и дѣлъ презрительныхъ».

Чтобы стать на эту сословную точку зрѣнія Карамзина и понять ее, надобно нѣсколько оглянуться назадъ и припомнить историческій ходъ развитія общественнаго положенія нашего дворянства, имѣвшаго свои судьбы. Въ ту пору, когда мальчикъ Карамзинъ выросталъ посреди этихъ провинціальныхъ типовъ, которымъ онъ отдаетъ невольную дань уваженія, — въ полной силѣ существовала знаменитая грамота Петра III «о дворянской вольности»; ея параграфы были въ цѣлости; они давали дѣйствительныя права, хотя и не могли создать того, что создается исторіей. Если и тогда значеніе дворянина въ губерніи измѣрялось количествомъ крѣпостныхъ душъ, то эти крѣпостныя души гораздо чаще переходили изъ рукъ въ руки по родовому праву, чѣмъ *благопріобрѣтались*. Этотъ родъ владѣнія давалъ, кажется, нѣсколько лучшій характеръ и самому крѣпостному праву. И полновластные бары и безправные рабы въ своихъ отношеніяхъ другъ къ другу связывались воспоминаніемъ. Родовое дворянство и давность рода налагали нравственныя обязанности и уважались. Наслѣдники въ своихъ помѣщичьихъ отношеніяхъ не всегда рѣшались на ломку прежняго и хранили отцовское преданіе. Заведенный обычай получалъ значеніе отъ давности. Старинная, родовая связь ставила нравственныя преграды, налагала узду на дикій произволъ.

Дворянское сословіе въ обществѣ шестидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, посреди всеобщаго невѣжества, было единственнымъ образованнымъ классомъ. Слѣдовательно, только оно одно могло служить съ пользою государству. Эта служба, въ соединеніи съ земскимъ значеніемъ, отдавала всякую провинцію во власть дворянства. Дворяне были тогда единственными администраторами, и эта власть давала имъ гордость и сознаніе своего достоинства. Они презрительно смотрѣли на то, что называлось приказнымъ крючкотворствомъ, подъячествомъ. Они старались быть чуждыми этой глубокой, старинной язвы.

Но прошли годы, и представители сословія мельчали постепенно. Силы внутренняго развитія недоставало въ старинномъ дворянствѣ провинцій. Его мысль не возбуждалась; оно не могло отступить даже отъ прадѣдовскаго порядка въ хозяйствѣ; оно разорялось на ту безплодную роскошь, которая занесена была къ намъ моднымъ подражаніемъ Европѣ. И вотъ тѣ самые презираемые прежде подьячіе и приказные, учась и образовываясь, получали значеніе на службѣ, вѣсъ въ обществѣ, пріобрѣтали деньги, которыя естественно могли быть употреблены только на то, что пользовалось уваженіемъ и почетомъ и что условливалось дѣвственными, нетронутыми плугомъ

пространствами Россіи, при жалкомъ развитіи другихъ экономическихъ условій жизни — на пріобрѣтеніе крѣпостныхъ пахарей. Въ рядахъ дворянскаго сословія, какъ въ рядахъ наполеоновскаго войска, явилась старая и молодая гвардія, враждебно смотрѣвшія другъ на друга, и характеръ крѣпостного права въ благопріобрѣтенныхъ имѣніяхъ долженъ былъ сложиться иначе. Здѣсь не было старыхъ воспоминаній и родового преданія. Деньги, добытыя трудомъ и употребленныя на покупку имѣнія, должны были давать доходы, и, конечно, на увеличеніе доходовъ стали обращать главное вниманіе покупателя. Владѣніе душами постепенно переходило въ тяжелую эксплуатацію, и власть въ государствѣ стала невольно думать объ ограниченіи помѣщичьихъ правъ. Такой характеръ владѣнія въ имѣніяхъ благопріобрѣтенныхъ сообщился очень скоро и старымъ, родовымъ, хотя и вслѣдствіе другихъ причинъ. Екатерининская роскошь, поведшая къ учрежденію сохранной казны воспитательныхъ домовъ, дававшей легкую возможность закладывать имѣнія, пожары и грабежъ Пугачовщины, стремленіе молодыхъ сержантовъ гвардіи, дѣтей деревенскихъ помѣщиковъ, добиваться блестящей карьеры въ Петербургѣ, и, наконецъ, постепенное истощеніе почвы разорили и старую гвардію нашего дворянства. И ему пришлось думать объ увеличеніи доходовъ и для нихъ порвать прежнюю связь съ мужикомъ. Значеніе административной власти въ губерніи росло годъ отъ году, и она уже не была въ рукахъ дворянства. Постепенно должна была пропадать родовая гордость дворянства, и, безъ всякаго сомнѣнія, дѣти майора Громилова, друга карамзинскаго дѣтства, голосъ котораго ужасалъ дурныхъ воеводъ провинціи, ѣздили низкопоклонничать къ дурному воеводѣ и выбирали такихъ капитанъ-исправниковъ, которые въ виду ихъ нагрѣвали руки свои около казенныхъ крестьянъ, оставляя ихъ на полной свободѣ хозяйничать со своими...

Вмѣстѣ съ этими понятіями стараго дворянина, — понятіямъ о чести и достоинствѣ, которымъ оставался вѣренъ всю жизнь Карамзинъ, вмѣстѣ съ первоначальнымъ чтеніемъ, которое необходимо должно было оказать на него вліяніе и породить въ немъ мечтательность, на молодой душѣ ребенка-Карамзина сказалось и вліяніе природы. Сочиненія Карамзина изобилуютъ если не живыми и своеобразными описаніями картинъ природы, то словами о любви къ ней и о вліяніи ея на душу и сердце. Современный міръ былъ полонъ лоскою о природѣ. Утомленныхъ умственною борьбою людей XVIII столѣтія она манила въ свои свѣжія объятія. Послѣ вѣка симметріи и классическихъ формъ, этикета и придворныхъ условій, тягостно ложившихся на жизнь, наступило желаніе естественности и свободы. Пророческій голосъ Ж. Ж. Руссо, скептика по отношенію ко всей прежней цивилизаціи, раздался призывомъ къ Европѣ. Онъ говорилъ о новой жизни, не похожей на старую; онъ говорилъ о правахъ человѣческихъ, забытыхъ въ одностороннемъ развитіи; онъ звалъ

людей въ пустыню, на лоно свободной и естественной жизни. Голосъ его звучалъ не даромъ, и цѣлая школа французскихъ и нѣмецкихъ писателей повторяла слова его, развивала ихъ далѣе. Въ Швейцаріи, родинѣ Руссо, явилось нѣсколько писателей, писавшихъ о природѣ, систематизировавшихъ ее. Въ сочиненіяхъ ихъ не было строгой науки, но зато было много чувства и любви къ природѣ. Карамзинъ, выросшій въ умственномъ движеніи послѣднихъ годовъ XVIII столѣтія, первый заговорилъ у насъ о природѣ, или, какъ говорили тогда, *о натурѣ*, и въ его сочиненіяхъ мы найдемъ много мыслей, высказанныхъ по поводу вліянія природы на человѣка. Это былъ новый элементъ, внесенный имъ въ нашу литературу, невозможный прежде.

Природа, которая окружала его съ дѣтства, знакома намъ. Ея скудные, но полные широкой жизни образы должны были оказать вліяніе на молодую и впечатлительную душу Карамзина, и мы найдемъ въ его сочиненіяхъ указаніе на образы природы, знакомые ему съ дѣтства. Далекое, родное село Михайловка, которое, какъ говорятъ очевидцы, славится своимъ прекраснымъ мѣстоположеніемъ, почти совсѣмъ не удержалось въ его памяти. «Хотя темно, однакоже помню тамошнія мѣста», пишетъ онъ къ брату Василью Михайловичу: «помню, какъ мы съ вами возвращались оттуда, въ началѣ зимы», и изъ этой поѣздки вспоминаются Карамзину *заволжскія* вьюги и метели. Въ «Рыцарѣ нашего времени» можно найти нѣсколько очерковъ природы, посреди которой прошло дѣтство Карамзина, и, кажется, Симбирскъ, съ своею Волгою, гдѣ онъ часто бывалъ въ дѣтствѣ, гдѣ сначала учился, гдѣ потомъ въ началѣ 80-хъ годовъ явился свѣтскимъ человѣкомъ, дольше всего сохранился въ его памяти. Проводя жизнь въ Москвѣ и Петербургѣ, онъ нѣсколько разъ собирался посѣтить свой родной городъ, но съ тѣхъ поръ, какъ его увезъ оттуда землякъ И. П. Тургеневъ, Карамзинъ едва ли бывалъ въ Симбирскѣ. Но вспоминать ему этотъ городъ случалось не разъ, въ болѣе молодые годы, то въ письмахъ къ другу юности И. И. Дмитріеву, то въ письмахъ къ брату. Даже въ ту пору, когда вся жизнь его была посвящена русской исторіи, онъ пишетъ брату, сообщавшему ему, что выстроилъ домъ въ Симбирскѣ, на Вѣнцѣ: «Воображаю живо моего любезнѣйшаго брата, сидящаго подъ окномъ прекраснаго домика и смотрящаго на величественную Волгу, столь знакомую мнѣ издѣтства. Симбирскіе виды уступаютъ въ красотѣ немногимъ въ Европѣ. Вы живете, любезный братъ, въ древнемъ отечествѣ болгаръ, народа довольно образованнаго и торговаго, порабощеннаго татарами. Близъ Симбирска въ лѣтніе мѣсяцы кочевалъ иногда славный Батый, завоеватель Россіи». Занятый великимъ трудомъ своимъ, Карамзинъ смотрѣлъ на родныя мѣста съ точки зрѣнія исторіи. Но зато Волга, Волга Симбирска *священнѣйшая* рѣка въ мірѣ, *царица и мать кристальныхъ* водъ, по выраженію Карамзина, гдѣ разъ «во цвѣтѣ радостной весны» онъ едва не потонулъ, осталась, кажется,

какъ самое дорогое воспоминаніе юности въ его памяти. На ея берегахъ, говоритъ онъ:

Въ первый разъ открылъ я взоръ,
Небеснымъ свѣтомъ озарился
И чувствомъ жизни насладился...

Здѣсь онъ полюбилъ природу:

Сей первенецъ души и сердца,
Слезу, улыбку посвятилъ,
И росъ въ весельи невинномъ,
Какъ юный миртъ въ лѣсу пустынномъ.

И Карамзинъ вспоминаетъ красоту береговъ родной рѣки и безконечный рядъ судовъ на ея *серебряномъ хребтѣ,* несущихъ *благословенье земли.*

Волга и ея образы окружали дѣтство Карамзина; онъ выросъ на ея берегахъ, онъ читалъ первыя книги на ея горахъ и засыпалъ подъ шумъ ея волнъ. Эти образы дѣтства на Волгѣ остались навсегда въ его сердцѣ. «Иногда оставляя книгу», говоритъ онъ о Леонѣ, «смотрѣлъ онъ на синее пространство Волги, на бѣлые паруса судовъ и лодокъ, на станицы рыболововъ, которые изъ-подъ облаковъ дерзко опускаются въ пѣну волнъ, и въ то же мгновеніе снова парятъ въ воздухѣ. Сія картина такъ сильно впечатлѣлась въ его юной душѣ, что онъ черезъ двадцать лѣтъ послѣ того, въ кипѣніи страстей, въ пламенной дѣятельности сердца, не могъ безъ особливаго радостнаго движенія видѣть большой рѣки, плывущихъ судовъ, летающихъ рыболововъ: Волга, родина и безпечная юность тотчасъ представлялись его воображенію, трогали душу, извлекали слезы».

Дѣйствительно, Волга съ своею жизнію была самымъ сильнымъ воспоминаніемъ Карамзина о его дѣтствѣ, проходившемъ то въ Симбирскѣ, то въ деревнѣ. Но собственныя воспоминанія его чрезвычайно скудны; современныхъ записокъ, за исключеніемъ одного Дмитріева, представившаго небольшой отрывокъ о ребенкѣ-Карамзинѣ, при глубокомъ невѣжествѣ тогдашней жизни, не было. Ребенокъ выросталъ подъ тѣми знакомыми намъ впечатлѣніями, подъ которыми выросло столько русскихъ поколѣній. Только они одни, составляя нѣчто цѣлое, могутъ служить образованію общаго склада характеровъ. Они и Карамзина, по своему образованію примкнувшаго къ общему духовному движенію Европы, сохранили для Россіи. Они спасли въ немъ русское чувство и сдѣлали его русскимъ писателемъ.

Чувствительность, наслѣдственное ли свойство его матери, или своеобычная черта его характера, развитая потомъ чтеніемъ и образованіемъ, и мечтательность, какъ слѣдствіе ранняго чтенія современныхъ романовъ — отличали его отъ сверстниковъ и придавали ему оригинальность. «Я былъ еще ребенкомъ и умѣлъ уже чувствовать, какъ большой человѣкъ, и страдалъ, видя страданіе ближнихъ»

Это страданіе ближнихъ, въ образѣ голоднаго года, незадолго до Пугачовскаго бунта, составляетъ одно изъ грустныхъ дѣтскихъ воспоминаній Карамзина, хотя на мрачномъ фонѣ народнаго бѣдствія рисуется свѣтлая фигура Флора Силина, благодѣтельнаго крестьянина, лица дѣйствительнаго, несмотря на сентиментальный покровъ, которымъ одѣлъ его Карамзинъ. Въ «Рыцарѣ нашего времени» разсказывается приключеніе съ медвѣдемъ, бросившимся на Леона и убитымъ громомъ. Карамзинъ говоритъ, что *этотъ случай не выдумка* и что онъ возбудилъ и укрѣпилъ навсегда его религіозное чувство и увѣренность въ Творцѣ. Чтеніе романовъ сильнѣе и глубже дѣйствовало на воображеніе Карамзина всего прочаго. Они, какъ вспоминаетъ онъ самъ, довели его разъ даже до донкихотства, и, выбравъ ржавую саблю изъ стараго отцовскаго оружія, «заткнувъ ее за кушакъ тулупа своего, отправился онъ на гумна искать приключеній и противиться силѣ злыхъ волшебниковъ».

Вотъ тѣ скудныя свѣдѣнія, которыя сохранились для насъ о дѣтствѣ Карамзина, еще не тронутомъ воспоминаніемъ. Здѣсь уже сказывается его характеръ, смутно зрѣютъ убѣжденія и привязанности. Свободно росъ ребенокъ посреди родныхъ, сосѣдей, полей и лѣсовъ дворянскаго гнѣзда своего, прислушиваясь къ шуму волжскихъ волнъ и слѣдя съ сердечнымъ трепетомъ за фантастическимъ содержаніемъ русской сказки или романа. Годы ранняго Карамзинскаго дѣтства были мирными годами восточной Россіи, но гроза собиралась въ ней, и тотъ черный годъ, когда шайки Емели вспугнули дворянъ-помѣщиковъ съ ихъ теплыхъ и давно насиженныхъ гнѣздъ, вѣроятно, былъ рѣшительнымъ и въ жизни Карамзина. Безпечная жизнь деревенская должна была смѣниться ученіемъ.

Дѣло жизни и царствованія Петра Великаго — преобразованіе Россіи, т.-е. соединеніе съ Европою въ духѣ и идеѣ, участіе въ общей жизни человѣчества, могло достигнуть только тогда своей цѣли, когда работа перешла изъ области внѣшней жизни въ область мысли. Въ эпоху рожденія Карамзина въ русскомъ обществѣ и литературѣ подражаніе внѣшней сторонѣ европейскаго образованія было въ полномъ развитіи. Но, несмотря на то, что при дворѣ и въ высшемъ обществѣ, что въ зарождающемся искусствѣ и съ Ломоносовымъ родившейся литературѣ мы встрѣчаемъ вездѣ наружныя блестящія формы, созрѣвшія въ условіяхъ чужой жизни, духовное содержаніе европейской жизни, и ея душа и мысль — были совершенно чужды намъ. Общество обезьянничало, но не жило сознательно.

Для сознательно-историческаго пути намъ необходимо было, чтобъ главное содержаніе европейской мысли, ея духъ, ея наука были усвоены нами и переработаны. Когда Карамзину настало время учиться, въ ту пору, за исключеніемъ чуждой русской жизни Академіи Наукъ въ Петербургѣ, науки не было въ Россіи и одинъ только Московскій университетъ, основанный за десять лѣтъ до рожденія Карамзина, этотъ единственный въ Россіи университетъ, ко-

торый можетъ гордиться своими преданіями, знакомилъ нашихъ предковъ съ наукою и удовлетворялъ неизбѣжной потребности знанія, проводя ихъ въ молодую русскую жизнь, и воспитывая людей для дѣятельности общественной. «Если мы видимъ», говоритъ Карамзинъ, «нынѣ столь многихъ достойныхъ судей въ столицахъ и сихъ отдаленныхъ губерніяхъ; если слогъ приказный не всегда устрашаетъ насъ своимъ варварствомъ; если необходимыя правила логики и языка соблюдаются не рѣдко — въ опредѣленіяхъ судилищъ; если министерство находитъ всегда довольно юношей, способныхъ быть его орудіями и служить отечеству во всѣхъ частяхъ своими знаніями — то государство обязано сею пользою Московскому университету». Знаній недоставало нашему подражательному существованію; въ нихъ нуждалась и начинающаяся литература, богатая внѣшними формами, но бѣдная содержаніемъ и мыслію. Если значеніе Карамзина въ исторіи нашего духовнаго развитія заключается въ томъ, что онъ первый изъ нашихъ писателей, не довольствуясь внѣшнимъ подражаніемъ европейскимъ литературнымъ формамъ, по образованію своему, могъ усвоить духъ и мысль Европы, то этимъ образованіемъ своимъ онъ обязанъ былъ Московскому университету, хотя и не непосредственно ему, а существовавшему при немъ пансіону профессора Шадена, нѣмца, въ числѣ многихъ другихъ его соотечественниковъ, переселившагося въ Москву изъ своей ученой родины для образованія молодыхъ русскихъ поколѣній. *Буличъ.*

Карамзинъ въ пансіонѣ Шадена.

Въ ту пору, когда началось въ пансіонѣ Шадена ученіе Карамзина, жизнь Европы была полна страстной и ожесточенной умственной борьбы. Почти всѣ народы Европы выставили представителей въ этой многолѣтней борьбѣ съ прошедшимъ, которую начала Англія, воспитанная смѣлыми и свободными своими мыслителями. Но главною страною, гдѣ жарче была эта борьба и ожесточеннѣе нападенія на прошлое и его авторитеты, — была Франція. Имена ея литературныхъ борцовъ, вліяніе ихъ произведеній распространилось далеко, дошло до насъ. Извѣстности ихъ у насъ много способствовало самое направленіе первыхъ годовъ царствованія императрицы Екатерины, которая была воспитана на вліятельныхъ сочиненіяхъ вѣка. Долго смотрѣла она съ уваженіемъ на энциклопедистовъ и находилась съ ними въ непосредственныхъ сношеніяхъ. Ея державному примѣру слѣдовалъ дворъ, высшее общество и, наконецъ, сама литература, настроенная, хотя и чрезвычайно слабо, на общій тонъ. Карамзину удалось избѣжать этого господствовавшаго вліянія. Онъ не пошелъ по обычной дорогѣ, неизбѣжной тогда для русскаго дворянина: онъ не попалъ въ руки къ гувернеру-французу и не увлекся исключительно вліяніемъ французской литературы. Съ нею познакомился онъ болѣе

разумнымъ и сознательнымъ образомъ. Этотъ новый путь его развитія и былъ причиною, почему Карамзинъ своею литературною дѣятельностію начинаетъ новую эпоху нашего образованія и нашей литературы.

Изъ европейскихъ странъ меньше всѣхъ участвовала въ общей умственной борьбѣ Германія. Ожесточенный характеръ борьбы смягчался въ ней наукою, составлявшею главное содержаніе ея жизни, и борьба происходила въ ней болѣе въ области теоріи. При раздѣленіи Германіи на мелкія владѣнія, ожесточеніе противъ феодальнаго государства не могло въ ней произвести такія явленія, какія произвело оно во Франціи съ ея сильною централизаціей и соединеніемъ государственныхъ силъ въ одну громадную массу, а протестантизмъ Германіи, дававшій свободу ея мысли, отнималъ у религіозной борьбы злость и горечь, возможныя въ католическомъ государствѣ. Съ такимъ направленіемъ были и ученые профессора Германіи, которыхъ вызывали въ молодой Московскій университетъ. Несмотря на то, что языкъ отдѣлялъ ихъ отъ слушателей, они принесли однакожъ пользу Россіи тѣмъ, что хлопотали о наукѣ и передачѣ ея въ странѣ, которая сильно въ ней нуждалась. Къ числу самыхъ замѣчательныхъ первыхъ профессоровъ Московскаго университета принадлежалъ и Шаденъ, въ пансіонѣ котораго Карамзинъ получилъ первоначальное образованіе и первыя свѣдѣнія.

Шаденъ былъ родомъ изъ Пресбурга въ Венгріи и образованіемъ своимъ обязанъ былъ Тюбингенскому университету, гдѣ подчинялся вполнѣ вліянію Лейбнице-Вольфіанской философіи, которая сказалась и въ его педагогической теоріи. Получивъ въ Тюбингенскомъ университетѣ степень доктора философіи, Шаденъ прибылъ въ Москву въ 1756 г. въ качествѣ ректора надъ двумя университетскими гимназіями. Какъ ученый авторъ, Шаденъ неизвѣстенъ, и вся жизнь его была посвящена преподаванію. Московскому университету онъ служилъ 41 годъ. Существенная польза, принесенная Шаденомъ русскому обществу, заключается въ воспитаніи нѣсколькихъ поколѣній, вынесшихъ изъ-подъ его руководства полезныя свѣдѣнія для жизни и благодарную память о своемъ воспитателѣ. Его собственное преподаваніе, основавшееся на древнихъ языкахъ, было очень разнообразно. Въ гимназіяхъ (дворянскихъ и разночинцевъ), имъ образованныхъ первоначально, Шаденъ преподавалъ реторику, піитику, миѳологію, курсъ философіи, училъ языку латинскому и греческому и вызывался также преподавать охотникамъ языкъ еврейскій и халдейскій. Преподаваніе въ университетѣ происходило на языкѣ латинскомъ и нѣмецкомъ.

Къ сожалѣнію, о пребываніи Карамзина въ пансіонѣ Шадена, помѣщавшемся въ его собственной квартирѣ, мы не имѣемъ положительныхъ свѣдѣній. Соучениковъ у Карамзина было только 8 человѣкъ; между ними Погодинъ называетъ двухъ братьевъ Бекетовыхъ: Платона и Ивана Петровичей, сдѣлавшихся потомъ извѣстными

по любви къ наукѣ и къ просвѣщенію. Можно предполагать, что въ пансіонѣ же Шадена была первая встрѣча Карамзина съ другомъ его Петровымъ, имѣвшимъ такое сильное вліяніе на его умственное и нравственное развитіе. Въ пансіонѣ преподавалъ самъ Шаденъ и приходившіе учителя, но что и въ какомъ видѣ преподавалось въ этомъ пансіонѣ — намъ неизвѣстно. Карамзинъ въ составленной имъ для митрополита Евгенія автобіографической запискѣ говоритъ, что онъ посѣщалъ изъ пансіона также и нѣкоторые классы Московскаго университета. По всей вѣроятности, это должно относиться къ одной изъ гимназій, находившихся въ вѣдѣніи Шадена.

Фонвизинъ, одинъ изъ первыхъ воспитанниковъ Московскаго университета, мало вынесшій вообще изъ тогдашняго университетскаго преподаванія, сохранилъ однакожъ благодарную память о Шаденѣ. «Сей ученый мужъ», говоритъ онъ, «имѣетъ отмѣнное дарованіе преподавать лекціи и изъяснять такъ внятно, что успѣхи наши были очевидны». Муравьевъ, впослѣдствіи попечитель Московскаго университета, въ своемъ посланіи къ И. П. Тургеневу, товарищу дѣтства и соученику своему, вспоминая прежнихъ профессоровъ, говоритъ, что «Шаденъ истину являетъ безъ покрова». Ученики Шадена любили его; они чувствовали, какъ многимъ были ему обязаны, и когда достойный профессоръ умеръ въ 1797 г., въ память ему было написано нѣсколько благодарныхъ, полныхъ чувства рѣчей и стиховъ. И Карамзинъ съ особенно нѣжнымъ чувствомъ вспоминалъ своего учителя. Во время путешествія своего по Европѣ, въ Лейпцигѣ, гуляя въ Вендлеровомъ саду, онъ увидѣлъ мраморный памятникъ Геллерту, и вспомнилъ «то счастливое время моего ребячества, когда Геллертовы басни составляли почти всю мою библіотеку, когда профессоръ Шаденъ, преподавая намъ, *маленькимъ* ученикамъ своимъ, мораль по Геллертовымъ лекціямъ (Moralische Vorlesungen), съ жаромъ говаривалъ: «Друзья мои! будьте таковы, какими учитъ васъ быть Геллертъ, и вы будете счастливы!» Воспоминанія растрогали мое сердце».

Это указаніе Карамзина о Геллертѣ (1715—1769), какъ о томъ нѣмецкомъ писателѣ, которому подражалъ учитель его Шаденъ, позволяетъ намъ нѣсколько остановиться на содержаніи его ученія. Кромѣ басенъ, которыя пользовались чрезвычайной популярностію въ Германіи и сдѣлали народнымъ имя его, Геллертъ былъ еще профессоромъ въ Лейпцигскомъ университетѣ, гдѣ его популярныя лекціи о нравственности находили весьма много слушателей и хотя набожнымъ характеромъ своимъ нѣсколько напоминали піэтистовъ, но чрезвычайно ясно, съ точки зрѣнія здраваго смысла, говорили о справедливости, добродѣтели и религіи. Нравственное ученіе Геллерта, враждебное древнимъ и деистамъ, отличалось нѣсколько ипохондрическою слабостью, мораль его и въ басняхъ была слаба, притомъ она была болтлива, но въ умственной жизни Германіи прошлаго вѣка его вліяніе было ощутительно, особенно въ среднемъ сословіи

общества, такъ что Гёте имѣлъ полное право назвать его сочиненія «основаніемъ нравственной культуры Германіи». Геллерту надо приписать самое сильное распространеніе въ литературѣ, черезъ нея и въ обществѣ, той *чувствительности* или сентиментальности, которая долго господствовала въ нѣмецкой литературѣ и посредствомъ воспитанія у Шадена отразилась въ произведеніяхъ Карамзина. Современники были въ полномъ восторгѣ отъ него, а Карамзинъ отзывался о немъ съ глубокимъ уваженіемъ. Сколько можно судить по воспоминаніямъ учениковъ, лекціи Шадена о нравственности многимъ обязаны были идеямъ Геллерта, хотя потомъ онъ и слѣдилъ за развитіемъ мысли въ Германіи и за ея представителями, далеко ушедшими отъ того времени, когда Геллертъ читалъ въ Лейпцигѣ свои популярныя лекціи о нравственности. Нравственное ученіе Геллерта было приводимо Шаденомъ въ систему. Собственные мысли, нравственные, жизненные и политическіе идеалы Шадена видны въ нѣкоторыхъ латинскихъ рѣчахъ, произнесенныхъ имъ по разнымъ случаямъ. Онѣ отличаются глубиною мысли и основательностію, и изъ нихъ становится намъ ясно, что Шаденъ принадлежалъ къ числу тѣхъ нѣмецкихъ ученыхъ, которые выбрали задачею своей дѣятельности, съ помощью науки и убѣжденія, бороться съ волнующими современный міръ ученіями экциклопедистовъ. Въ рѣчахъ своихъ Шаденъ говоритъ о Богѣ, о любви къ Нему, о могуществѣ вѣры, которой долженъ подчиниться разумъ, о непреложныхъ законахъ, правящихъ міромъ и не допускающихъ слѣпого случая, о монархіи, какъ лучшемъ образѣ правленія, единственно возможномъ въ Россіи, гдѣ идеи государя и отечества должны быть нераздѣльны, и въ особенности о воспитаніи, которое должно быть непременно согласовано съ государственными потребностями. Говоря о наукѣ, Шаденъ нападаетъ на одностороннее развитіе ума; онъ желаетъ участія въ пріобрѣтеніи знанія сердца и чувства, желаетъ болѣе воспитанія нравственнаго, чѣмъ холодныхъ свѣдѣній, и эту живую сторону требуетъ отъ воспитательныхъ учрежденій. О русскомъ народѣ, какъ народѣ сѣверномъ, Шаденъ говоритъ, что чувства его должны быть грубы, и что на нихъ, для развитія *чувствительности*, необходимо дѣйствовать воспитаніемъ. Замѣтить надобно, что Шаденъ желалъ воспитанія такого, которое бы имѣло близкую связь съ обществомъ, не чуждалось его, а служило ему.

Соображая педагогическія и нравственныя убѣжденія Шадена съ тѣми свидѣтельствами, которыя дошли до насъ о его честномъ личномъ характерѣ, какъ человѣка и профессора, о твердости его убѣжденій, которымъ онъ оставался вѣренъ въ теченіе всей своей жизни, сопоставляя съ этимъ общій характеръ всѣхъ произведеній Карамзина и тонъ ихъ, и политическіе идеалы, вынесенные имъ изъ глубокаго изученія отечественной исторіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно согласные съ ученіемъ Шадена, и нравственныя свойства его произведеній, мы убѣждаемся, что гораздо сильнѣе дѣтскихъ вліяній

и общества, окружавшаго ребенка въ симбирской деревнѣ, было влияніе на него воспитательнаго заведенія Шадена. Изъ него онъ вышелъ прямо въ жизнь и принесъ съ собою въ нее, вмѣстѣ съ сложившимися убѣжденіями, которыя навсегда опредѣлили его литературную дѣятельность, и положительныя свѣдѣнія, необходимыя для нея. Мы позволяемъ себѣ думать даже, что вліяніе Шадена и воспитаніе, имъ данное Карамзину, было сильнѣе и значительнѣе послѣдующаго, именно Новикова и того мистико-масонскаго кружка людей, который образовался около этого замѣчательнѣйшаго представителя умственной жизни нашего отечества въ концѣ прошлаго столѣтія. Если вліяніе Новиковскаго кружка и спасло Карамзина отъ пустоты и бездѣятельности свѣтской жизни въ провинціи, давъ ему толчокъ и сблизивъ его съ умственными интересами, то, съ другой стороны, этотъ кружокъ не привилъ къ нему своихъ убѣжденій; прежнія вліянія оказались сильнѣе; въ Европѣ, въ бесѣдѣ съ представителями ея литературы, эти прежнія вліянія опять получили силу; свѣжій воздухъ заграничной жизни развѣялъ то, что могло запасть въ душу Карамзина изъ масонства, а преслѣдованія послѣдняго со стороны правительства уже не позволили ему раздѣлять далѣе убѣжденій разсѣяннаго кружка.

Гораздо труднѣе сказать, въ чемъ состояли положительныя свѣдѣнія, которыя Карамзинъ вынесъ изъ пансіона Шадена, гдѣ, по всей вѣроятности, пробылъ около четырехъ лѣтъ, хотя опредѣлить положительно годы его пребыванія въ пансіонѣ невозможно при спутанности и неопредѣленности всѣхъ біографическихъ данныхъ о Карамзинѣ. Въ воспоминаніи объ урокахъ Шадена по Геллерту Карамзинъ называетъ себя *маленькимъ* ученикомъ. Въ другомъ мѣстѣ онъ вспоминалъ о чтеніи донесеній англійскихъ торжествующихъ генераловъ изъ временъ войны съ возникающими Сѣверо-Американскими Штатами. Для того, чтобъ интересоваться современными политическими событіями, нужно было уже имѣть достаточное развитіе.

Положительно можно сказать, что Карамзинъ въ пансіонѣ Шадена познакомился хорошо съ иностранными языками: французскимъ и нѣмецкимъ, можетъ-быть, и англійскимъ, хотя онъ не могъ говорить на этомъ послѣднемъ языкѣ. Древніе языки не были ему знакомы. Знакомство же съ новыми, подъ вліяніемъ и при совѣтахъ воспитателя, доставило ему средства для обширнаго образовательнаго чтенія, особенно въ нѣмецкихъ авторахъ, и дало ему возможность очень скоро явиться печатнымъ переводчикомъ съ нѣмецкаго. Выборъ этихъ переводовъ совпадаетъ съ направленіемъ Шадена. Воспитатель полюбилъ Карамзина и доставилъ ему знакомства въ близкихъ ему иностранныхъ домахъ, слѣдилъ за его чтеніемъ и направлялъ его. Карамзинъ думалъ кончить свое воспитаніе въ Лейпцигскомъ университетѣ и искренно, глубоко сожалѣлъ, что обстоятельства не позволили ему исполнить этого намѣренія, сожалѣлъ о потерянныхъ годахъ. По всей вѣроятности, Карамзинъ оставилъ, для вступленія въ службу, пансіонъ Шадена въ 1782 году. *Буличъ*.

Отношеніе Карамзина къ Дружескому Обществу и къ идеямъ масонства и мистицизма.

Съ рекомендаціею Ивана Петровича Тургенева, директора Московскаго университета, человѣка образованнаго, переводчика нѣкоторыхъ мистическихъ и масонскихъ книгъ, Карамзинъ вступилъ въ 1785 году въ совершенно уже сформированный кругъ Новикова, — кругъ полный широкихъ плановъ и начинаній, дѣятельности разнообразной, направленной къ благу человѣчества и русскаго просвѣщенія.

Но еще прежде пріѣзда въ Москву въ концѣ лѣта 1785 года Карамзинъ былъ уже близокъ съ однимъ изъ дѣятельныхъ литературныхъ сотрудниковъ Новикова — Александромъ Андреевичемъ Петровымъ (ум. въ 1793 г.). Дружба съ этимъ человѣкомъ, являющимся въ сочиненіяхъ Карамзина подъ поэтическимъ именемъ «Агатона», имѣла на него глубокое вліяніе. Петровъ былъ развѣ двумя годами старше своего друга, но его сдержанный характеръ, строгое развитіе мысли, чуждое сентиментальности и разслабленности, замѣтныхъ въ Карамзинѣ, большее образованіе (Петровъ зналъ классическіе языки и превосходно былъ знакомъ съ англійскою литературою) благотворно дѣйствовали на воспріимчивую натуру Карамзина, который смотрѣлъ на своего друга какъ на существо высшее. Петровъ направлялъ и чтеніе Карамзина и дѣлалъ выборъ для его литературныхъ трудовъ; нѣсколько лѣтъ, до самаго отъѣзда Карамзина за границу, они были неразлучны и жили на одной квартирѣ. Когда началась эта дружба, опредѣлительно сказать нельзя, но изъ писемъ Петрова къ Карамзину, писанныхъ изъ Москвы лѣтомъ 1785 года, передъ самымъ пріѣздомъ туда Карамзина, видно, что дружба эта была въ полномъ развитіи. Изъ этой переписки видно, что Петровъ стоялъ гораздо выше въ духовномъ отношеніи Карамзина. Онъ шутилъ надъ его меланхоліей и скукой, навѣянными пустотою провинціальной жизни, и даетъ ему здравые, практическіе совѣты для дѣятельности, хотя, какъ видно изъ той же переписки, Карамзинъ не всегда скучалъ; онъ смѣется надъ какою-то пьесою Карамзина о «Соломонѣ», написанною по-нѣмецки, гдѣ онъ въ трехъ строкахъ нашелъ пять ошибокъ противъ языка. Карамзинъ, несмотря на разсѣянность свѣтской жизни въ Симбирскѣ, читалъ въ немъ Шекспира, любимаго писателя Петрова, и, вѣроятно, готовилъ свой переводъ «Юлія Цезаря». Петровъ, повидимому, близкій съ масонами, звалъ Карамзина къ *Іоаннову дню*, празднику масонскихъ ложъ.

Если мистицизмъ и масонство въ концѣ XVIII вѣка у насъ, въ Россіи, были явленіями, занесенными, подобно многимъ другимъ, изъ европейской умственной жизни, если они не имѣли въ русскомъ обществѣ ни историческихъ причинъ ни исторической почвы, какъ на Западѣ, то все-таки мы имѣемъ право утверждать, что состояніе русской жизни и ея условія были благопріятны для нихъ и во мно-

гомъ ихъ оправдывали. Какъ въ Европѣ, такъ и у насъ, масонство могло появиться совершенно естественно и найти благопріятную почву для своего развитія, сдѣлаться даже явленіемъ, принесшимъ извѣстную долю пользы русскому обществу.

Во второй половинѣ XVIII вѣка въ западной Европѣ и преимущественно въ Германіи, съ которою наши петербургскіе и московскіе масоны имѣли непосредственныя сношенія, мы видимъ быстрое усиленіе и развитіе разныхъ тайныхъ обществъ, извѣстныхъ подъ названіемъ масоновъ, иллюминатовъ, розенкрейцеровъ и др. Различныя историческія причины способствовали этому тайному, но съ широкими границами, движенію. Съ одной стороны, іезуитскій орденъ, послѣ реформаціонныхъ войнъ, снова и въ полномъ блескѣ возстановилъ католичество, грозившее свободѣ мысли. Съ другой стороны, тогдашнее политическое устройство государствъ въ западной Европѣ было такого рода, что форма ихъ не допускала возможности личнаго участія, личной дѣятельности развитого гражданина въ дѣлахъ общественныхъ, а между тѣмъ эти развитыя личности страстно желали общественной дѣятельности. За невозможностію ея, весь пылъ подобныхъ стремленій уходилъ въ дѣятельность тайныхъ обществъ, гдѣ раскрывался полный просторъ личнымъ начинаніямъ. Стремленія эти были сильны и могущественны, потому что они вызывались всѣмъ развитіемъ литературы и мысли въ XVIII вѣкѣ, которое, освобождая сердце и умъ, требовало вмѣстѣ съ тѣмъ и свободы политической дѣятельности, а она не допускалась гнетомъ феодальнаго государства, господствовавшаго во всей силѣ до французской революціи. Чего хотѣли тайныя общества масоновъ, иллюминатовъ и др.? Исключенные изъ государственной дѣятельности, братья орденовъ не могли имѣть въ виду близкой, практической цѣли въ государствѣ; они были чужды политическимъ стремленіямъ, не думали о государственномъ переворотѣ, и одною изъ первыхъ обязанностей брата считали повиновеніе государю, во владѣніяхъ котораго жили, и существующимъ въ нихъ законамъ. Цѣль тайныхъ обществъ была гораздо дальше, была чище и идеальнѣе, вызывалась современными общественными явленіями: этимъ неестественнымъ развитіемъ ума и грубымъ невѣжествомъ массъ въ XVIII вѣкѣ. Тайныя общества хотѣли всеобщаго просвѣщенія и идеальнаго христіанства, очищеннаго отъ фанатизма и суевѣрія. Это нравственное дѣло должно быть достигнуто братскими усиліями общества, а потому необходимо было увеличивать число братій, такъ какъ каждый изъ нихъ являлся работникомъ будущаго зданія для просвѣтленнаго и счастливаго человѣчества. Понятно, что въ такомъ обществѣ первую и главную роль должны были играть писатели, такъ какъ только нравственными, литературными средствами можно было проводить въ жизнь цивилизующія начала. Сочиненія должны были издаваться въ одномъ духѣ, для чего необходимъ союзъ писателей, дѣйствующихъ въ одномъ направленіи, необходимы матеріальныя средства для подобной литератур-

ной дѣятельности: типографіи, книжныя лавки, читальни, необходимо воспитаніе въ извѣстномъ направленіи, а потому ордена заводили свои школы, воспитательныя заведенія и прочее. Въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи, вербуя во всѣхъ сословіяхъ и народахъ своихъ членовъ, тайное общество, въ концѣ концовъ, должно было потерять этотъ характеръ свой: предѣлы человѣчества были его предѣлами. Такимъ образомъ въ усиліяхъ тайныхъ обществъ мы видимъ благую, честную цѣль, хотя сами они были порожденіемъ больного и неестественнаго устройства общественной жизни.

Если въ Россіи XVIII столѣтія и не было тѣхъ историческихъ причинъ, которыя въ Европѣ породили тогда движеніе тайныхъ обществъ, то нѣтъ сомнѣнія, что они нашли у насъ весьма благопріятную почву и обширное поле для дѣятельности. Кто не знаетъ нашего эфемернаго умственнаго развитія въ XVIII вѣкѣ, вызваннаго горячечнымъ подражаніемъ Европѣ послѣ реформы Петра Великаго, это неестественное, почти больное развитіе головъ вверху и спящую неподвижность массы внизу? Кто не знаетъ недостатка нравственныхъ убѣжденій въ нашихъ людяхъ XVIII вѣка, ихъ грубыхъ, чисто матеріальныхъ побужденій для дѣятельности, ихъ жизни точно въ лагерѣ страны завоеванной, презрѣнія ко всякой умственной дѣятельности и жадную погоню въ высшихъ классахъ, гдѣ сосредоточивалась вся жизнь государства за золотомъ и наслажденіями? Что-то черствое, жесткое видно въ этихъ натурахъ, и бѣдность ихъ внутренняго содержанія не скрывается отъ насъ ни блескомъ царствованія Екатерины, ни ея гуманными фразами, ни звонкими стихами Державина. Людямъ, нравственно развитымъ, съ болью кидались въ глаза всѣ эти печальныя противорѣчія общества, сердце ихъ должно было скорбѣть. Надобно прибавить ко всему этому, что, съ легкой руки императрицы, многимъ обязанной сочиненіямъ французкихъ энциклопедистовъ и лично знакомой съ нѣкоторыми изъ нихъ, въ обществѣ, даже теоретически, господствовалъ матеріализмъ, развиваемый передовыми мыслителями Франціи и искушающій сердце. Естественно, необходимо явилось противодѣйствіе этому направленію, и, если оно вдалось въ крайности, то онѣ были вызваны крайностями противоположнаго явленія; но заслуга русскаго масонства передъ русскимъ обществомъ, разумѣется, въ той ограниченной сферѣ дѣйствія, какая была предоставлена ему, и между многими личностями, литературнымъ путемъ, была очень велика. Русское масонство боролось съ матеріализмомъ и грубою чувственностью, оно возставало противъ индиферентизма и фанатизма въ религіи, противъ односторонняго развитія ума при совершенномъ забвеніи сердца; оно желало просвѣщенія массы, желало лучшаго матеріальнаго устройства ея быта и съ этой цѣлью помогало бѣднымъ. Вотъ почему просвѣщенный митрополитъ московскій, знаменитый Платонъ, послѣ испытательной бесѣды по указу императрицы Екатерины съ Новиковымъ, доносилъ ей въ 1786 году, между прочимъ, слѣдующее: «Какъ

предъ престоломъ Божьимъ, такъ и предъ престоломъ твоимъ, всемилостивѣйшая государыня императрица, я одолжаюсь по совѣсти и сану моему донести тебѣ, что молю всещедраго Бога, чтобы не только въ словесной паствѣ, Богомъ и тобою, всемилостивѣйшая государыня, мнѣ ввѣренной, но и во всемъ мірѣ были христіане такіе, какъ Новиковъ».

Въ самомъ дѣлѣ, чего хотѣли русскіе масоны? Ихъ главная, ихъ существенная цѣль заключалась въ воспитаніи *внутренняго человѣка*, не въ томъ только освобожденіи его отъ историческихъ опредѣленій, о которомъ хлопотали деистическія ученія вѣка, но и въ развитіи его внутренней стороны, задавленной господствомъ животныхъ инстинктовъ. Вѣра въ Бога, религія страны, повиновеніе государю и исполненіе законовъ оставались нетронутыми, ихъ желали только чище и сознательнѣе. Конечно, въ этомъ свободномъ соединеніи людей для далекой и неопредѣленной цѣли воспитанія человѣчества и не могло быть ясно очерченной системы и программы дѣйствія (строго систематизированы были только внѣшніе обряды ложъ, которыми масоны думали увлечь толпу и людей, несмотря на свое развитіе легко поддающихся внѣшнимъ приманкамъ); притомъ цѣль общества и не могла быть формулирована, такъ какъ она мерцала въ далекомъ будущемъ и къ ней вели разнообразные пути, но нравственный характеръ главныхъ представителей русскаго масонства прошлаго вѣка ручается намъ за чистоту ихъ убѣжденій и за истину ихъ словъ. Несчастіе этого общества, условливаемое временемъ и обстоятельствами, составляло тайны и таинственные, исполненные символизма, внѣшніе обряды. Подъ покровъ тайны легко могли прокрасться и прокрадывались ложь и обманъ. Наше время знаетъ, что благо человѣчества достигается не таинственными обрядами, а дѣйствіями явными, но въ XVIII вѣкѣ были другія отношенія. Загораживаясь отъ общества заборомъ тайны, собираясь въ недоступныя для другихъ собранія, употребляя обряды и вычурный символическій языкъ, масоны невольно возбуждали къ себѣ недовѣріе не только правительства, которое естественно не могло терпѣть рядомъ съ собою другой власти, но и простыхъ, благомыслящихъ людей.

Изучая заявленія русскихъ масоновъ о себѣ и о цѣли ихъ общества, соображая образъ ихъ дѣйствій, мы видимъ, что цѣли и намѣренія ихъ были высоко-нравственныя. Мистическая работа надъ «дикимъ камнемъ», надъ грубымъ и непросвѣщеннымъ обществомъ — вотъ сущность того кружка, который возникъ въ обществѣ Новикова и друзей его. Желаніе расширить общество и средства распространенія были тѣ же, что и въ Германіи. Вотъ что, между прочимъ, писали берлинскіе масоны въ 1784 году, въ самую сильную пору движенія Новиковскаго кружка, къ одному изъ главныхъ масонскихъ дѣятелей въ Москвѣ, Петру Алексѣевичу Татищеву: «Цѣль общества... соединить ради общей пользы въ одинъ союзъ людей,

обыкновенно раздѣленныхъ возрастомъ, образомъ жизни, различными занятіями и самыми средствами для жизни, не давать заглохнуть природнымъ дарованіямъ, но поощрять ихъ къ дѣятельности; содѣйствовать распространенію знаній въ латинскомъ языкѣ, также знакомству съ древностями, съ природою, которая въ нѣдрахъ своихъ бережетъ такъ много сокровищъ для всякаго благоразумнаго изслѣдователя, который приступаетъ къ ней съ чистою мыслью; для безпріютныхъ молодыхъ людей завести особыя филологическія семинаріи, гдѣ бы они, сверхъ образованія, могли получить и самое содержаніе, и имѣя цѣлію приготовить изъ нихъ будущихъ воспитателей народа, заранѣе направить ихъ умы къ общеполезной дѣятельности и воспитывать въ сердцахъ ихъ любовь къ Богу и ближнему; наконецъ, вообще способствовать, посредствомъ хорошаго выбора книгъ для чтенія, просвѣщенію народнаго духа въ своемъ отечествѣ». Новиковъ и друзья его, сформировавшіе въ Москвѣ общество, бывшее въ непосредственныхъ связяхъ съ нѣмецкими масонами, почти буквально исполнили эту программу.

Извѣстна дѣятельность Новикова и друзей его, составляющая самый замѣчательный эпизодъ изъ исторіи нашего просвѣщенія XVIII вѣка. Несмотря на то, что Новиковъ (1744—1818) и числился между воспитанниками Московскаго университета, изъ котораго онъ былъ однако исключенъ въ одно время съ товарищемъ своимъ, знаменитымъ Потемкинымъ, за лѣность и нехожденіе въ классы, онъ принадлежалъ къ числу самородныхъ русскихъ умовъ, съ постоянною, неумолкаемою жаждою дѣятельности. Его здравый умъ, его замѣчательныя дарованія, любовь къ чтенію и знакомство съ людьми дѣятельными въ литературѣ въ то время, когда въ началѣ царствованія Екатерины II литература, поощряемая самою императрицею, получила особенное оживленіе, невольно влекли Новикова къ работѣ умственной. Служа въ гвардейскомъ Измайловскомъ полку, Новиковъ началъ свое литературное поприще сатирическими журналами, умныя и мѣткія нападенія которыхъ обратили на него общее вниманіе. Но видя безплодность своей сатиры, понимая, что недостатки общества зависятъ отъ историческихъ условій его развитія, Новиковъ перешелъ къ изученію историческихъ памятниковъ Россіи, изданіемъ которыхъ принесъ существенную пользу наукѣ. Затѣмъ, вѣроятно, увлеченный движеніемъ масонства, онъ сталъ издавать журналы, посвященные нравственности вообще и нравственной религіи. Уже въ 1777 г. онъ издаетъ журналъ «Утренній Свѣтъ», наполненный статьями исключительно нравственнаго и религіознаго содержанія, и всю выручку съ этого изданія отдаетъ на воспитаніе дѣтей въ двухъ петербургскихъ училищахъ, Тогда уже опредѣлилась его дѣятельность и издательская и филантропическая. Съ выходомъ въ отставку, съ переѣздомъ въ родную ему Москву въ началѣ 1779 года, и съ переходомъ къ нему по контракту тогда же Университетской типографіи, эта дѣятельность Новикова получила ши-

рокіе размѣры. Переходъ Университетской типографіи и изданія «Московскихъ Вѣдомостей» въ руки Новикова составляетъ эпоху въ исторіи нашего просвѣщенія. Предпринимая разныя изданія періодическія, задумывая переводы замѣчательныхъ иностранныхъ произведеній, возбуждая, однимъ словомъ, въ высшей степени литературную дѣятельность, которая естественно являлась помощницею его коммерческаго предпріятія, Новиковъ нуждался въ совѣтникахъ и пособникахъ и, такимъ образомъ, онъ невольно сдѣлался центромъ, вокругъ котораго группировались всѣ литературные представители Москвы, все то, что питало сочувствіе къ дѣятельности слова, уму и просвѣщенію. Въ этотъ кругъ людей, молодыхъ и образованныхъ, соединенныхъ одною идеею и общей дѣятельностью, увлеченныхъ примѣромъ Новикова и его вліяніемъ, въ этотъ кругъ *любословововъ*, какъ называетъ ихъ И. И. Дмитріевъ, вступилъ въ 1784 году молодой Карамзинъ, и четыре года, проведенные имъ въ этомъ обществѣ, на глазахъ лучшихъ людей времени, въ общихъ сознательныхъ трудахъ, въ переводахъ замѣчательнѣйшихъ тогда произведеній западныхъ литературъ, подъ вліяніемъ пылкой молодой дружбы, были прекрасною школою для Карамзина. Здѣсь разнообразнымъ трудомъ и упражненіемъ не только развился его авторскій талантъ, но воспиталось его сердце, раскрылось его чувство къ воспріятію самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній. Когда Дмитріевъ увидалъ его въ этомъ московскомъ кружкѣ, онъ не узналъ Карамзина: «Это былъ уже не тотъ юноша, который читалъ все безъ разбора, плѣнялся славою воина, мечталъ быть завоевателемъ чернобровой, пылкой черкешенки, но благочестивый ученикъ мудрости, съ пламеннымъ рвеніемъ къ *усовершенствованію въ себѣ человѣка*».

Высшій и вмѣстѣ съ тѣмъ таинственный смыслъ этому литературному кругу и его дѣятельности придавало *масонство*, которому Новиковъ отдался со всѣмъ пыломъ своей страстной натуры и которое своими широкими, какъ человѣчество, цѣлями, своею благородною любовью къ человѣческому роду, было для этихъ людей восполненіемъ дѣйствительности, замѣненіемъ невозможности дѣйствовать на нее. Масонство, появившееся въ Россіи въ 1741 году, вскорѣ послѣ своего развитія въ Германіи, получило сильное распространеніе у насъ съ начала царствованія Екатерины, вслѣдствіе ея покровительства, и особенно въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ, вслѣдствіе движенія тайныхъ обществъ Европы, вслѣдствіе стремленія ихъ къ прозелитизму. Не только въ обѣихъ столицахъ, но и въ провинціальныхъ городахъ были основаны дѣятельно работающія ложи. Даже цѣлая ложа или система въ Петербургѣ получила названіе Елагинской, по имени извѣстнаго Ивана Перфильевича Елагина, писателя, историка и гофмаршала Екатерины II. Весьма вѣроятно, что между всѣми этими ложами не было тѣсныхъ связей, хотя связи и сношенія съ западными ложами давали главную пищу нашимъ. Очень можетъ-быть, что, еще живя въ Петербургѣ, Новиковъ уже

посѣщалъ находившіяся тамъ ложи, но, всего вѣроятнѣе, онъ сдѣлался жаркимъ и дѣятельнымъ масономъ уже въ Москвѣ, и тогда, когда началась и опредѣлилась его издательская дѣятельность. Появленіе масонства въ кружкѣ Новикова начинается съ того утра, когда, по словамъ его, пришелъ къ нему «нѣмчикъ», сдѣлавшійся его искреннимъ и неразлучнымъ другомъ до самой смерти своей. Этотъ «нѣмчикъ» былъ главною фигурою московскихъ масоновъ; это былъ типъ учителя, которому поклонялись съ благоговѣніемъ молодые литераторы Новиковскаго кружка, самый дѣятельный организаторъ въ московскомъ масонствѣ — профессоръ Московскаго университета — Иванъ Егоровичъ Шварцъ, оставившій въ душѣ всѣхъ своихъ единомышленниковъ самую глубокую и сердечную привязанность, перешедшую по смерти его на его сиротъ и семейство. Въ біографіи Карамзина эта личность по своему, хотя и не прямому вліянію на него, заслуживаетъ воспоминанія.

Шварцъ пріѣхалъ профессоромъ философіи въ Москву, вѣроятно, изъ Іены, въ 1776 году и, не слѣдуя примѣру многихъ своихъ соотечественниковъ, тотчасъ же и дѣятельно занялся изученіемъ русскаго языка и литературы. Обширныя издательскія предпріятія Новикова очень скоро обратили на себя его вниманіе, и Шварцъ познакомился съ нимъ. Это было вскорѣ послѣ пріѣзда Новикова въ Москву. Увлеченный Новиковымъ, Шварцъ сталъ набирать для него сотрудниковъ и переводчиковъ между своими молодыми слушателями, которые страстно полюбили его, какъ за его дружеское обращеніе съ ними, такъ и за постоянную готовность дѣлиться съ ними и свѣдѣніями и книгами. Московское общество съ полнымъ сочувствіемъ отозвалось на любовь Шварца и къ Россіи и къ ея молодому поколѣнію. Связь съ этимъ московскимъ обществомъ, уваженіе, которымъ Шварцъ пользовался въ немъ, невольно влекли его къ организаціи обширнаго плана для распространенія просвѣщенія въ Россіи, но у Шварца не было денегъ для такой организаціи. Его намѣреніе дѣйствовать литературою на просвѣщеніе народныхъ массъ, его желаніе практической дѣятельности не могло осуществиться до встрѣчи съ Новиковымъ. Тѣмъ не менѣе ему удалось основать при университетѣ педагогическую семинарію для приготовленія достойныхъ преподавателей и профессоровъ, и ей онъ посвятилъ исключительно свою дѣятельность. По всей вѣроятности, Шварцъ, котораго научныя убѣжденія сформировались въ германскихъ университетахъ недовольствомъ и враждою къ господствующей наукѣ энциклопедистовъ, не удовлетворявшей его по своей заносчивой бездоказательности и наклонностью къ мистицизму, который какъ противоположность получалъ тогда значеніе, по всей вѣроятности, Шварцъ еще на родинѣ былъ близокъ съ масонскими ложами, а въ Новиковѣ и друзьяхъ его встрѣтилъ единомышленниковъ. Въ 1781 году, для поправленія здоровья, разстроеннаго усиленными трудами, Шварцъ поѣхалъ за границу, и друзья его воспользовались этимъ случаемъ, чтобъ посредствомъ

его завести прямыя связи съ нѣмецкими масонами и оттуда получить и нравственную помощь и правильную организацію. Можетъ-быть, и денежныя средства путешествія шли отъ этихъ же друзей, такъ какъ Шварцъ везъ съ собою на воспитаніе въ Германію сына одного изъ богатыхъ и вліятельныхъ масоновъ — Татищева. Шварцъ является какъ бы аккредитованнымъ отъ московскихъ масоновъ лицомъ за границею. Въ Брауншвейгѣ онъ представился герцогу, главѣ масоновъ, съ которымъ былъ близокъ и знаменитый Лессингъ, и получилъ отъ него инструкцію и довѣрительную грамоту. Кромѣ брауншвейгскаго герцога, Шварцъ сблизился съ Іерузалемомъ, а въ Берлинѣ съ главными представителями ложъ и, такимъ образомъ, въ нѣсколько мѣсяцевъ своего путешествія по Германіи онъ исполнилъ всѣ порученія своихъ московскихъ друзей, завелъ сношенія и привезъ оттуда правильную организацію ложъ.

Дѣйствительно, по возвращеніи въ 1782 году Шварца изъ-за границы, въ обществѣ друзей Новикова мы впервые видимъ стройную ассоціацію, получающую правильный и практическій характеръ. Оставляя то, что относится собственно до организаціи масонства, мы скажемъ нѣсколько словъ о тѣхъ ассоціаціяхъ, которыя имѣли дѣло съ интересами литературы и просвѣщенія вообще, въ которыхъ Карамзинъ принималъ непосредственное участіе своимъ трудомъ, какъ переводчикъ, хотя эти литературныя ассоціаціи были прямымъ слѣдствіемъ цѣлей масонства.

Тотчасъ по возвращеніи Шварца изъ-за границы, въ 1782 г вполнѣ организовалось извѣстное «Дружеское Ученое Общество» котораго начало было положено нѣсколько прежде его же энергическою дѣятельностью. Это Общество существовало съ вѣдома правительства, и ему явно покровительствовали и московскій главнокомандующій графъ З. Г. Чернышовъ, и московскій митрополитъ Платонъ, и кураторъ университета Херасковъ. Членами этого Общества были правитель канцеляріи главнокомандующій Семенъ Ивановичъ Гамалея (1743 — 1822), отличавшійся своимъ безкорыстіемъ въ этой должности, образецъ для послѣдующаго мистицизма временъ Александра I, извѣстный переводчикъ разныхъ мистическихъ сочиненій и вѣрный другъ послѣднихъ тяжелыхъ годовъ Новикова; адъютантъ главнокомандующаго, симбирскій помѣщикъ, бригадиръ Иванъ Петровичъ Тургеневъ; совѣтникъ уголовной палаты Иванъ Владиміровичъ Лопухинъ (1756 — 1816), извѣстный писатель и переводчикъ масонскихъ и мистическихъ книгъ, записки котораго любопытны и для внутренней исторіи Общества, рисуя его собственный переходъ отъ увлеченій «Systéme de la nature» къ мистицизму, и для внѣшней исторіи, такъ какъ здѣсь подробно разсказано слѣдствіе надъ масонами и преслѣдованіе братьевъ. Къ этимъ вліятельнымъ по уму и убѣжденіямъ членамъ Общества, вмѣстѣ съ Новиковымъ, примыкали другіе члены, извѣстные въ московскомъ обществѣ по своему богатству, связямъ и значенію: князь Александръ Алексѣевичъ Черкасскій, князь Ни-

колай Никитичъ Трубецкой, братъ его Юрій Никитичъ (оба братья писателя Хераскова по матери), лейбъ-гвардіи майоръ Петръ Алексѣевичъ Татищевъ, полковникъ Василій Чулковъ, богатый купецъ Походяшинъ и мн. др. люди, которые, будучи увлечены убѣжденіями Шварца и Новикова, ихъ сердечнымъ краснорѣчіемъ, не жалѣли своихъ капиталовъ для достиженія великой цѣли — просвѣщенія своего отечества. Засѣданія этого Общества происходили публично, и въ программѣ его, тогда же опубликованной, мы видимъ почти буквальное повтореніе того, о чемъ писали нѣмецкіе масоны Татищеву. Въ помощь къ этому Обществу тогда же, лѣтомъ 1782 года, стараніями Шварца была присоединена организованная имъ прежде при Московскомъ университетѣ «Филологическая семинарія», въ которой теперь на счетъ Дружескаго Общества воспитывалось до 50 студентовъ изъ академій и семинарій для приготовленія къ педагогической дѣятельности. Въ ней главное участіе принималъ Шварцъ. Онъ учредилъ здѣсь собраніе, въ которомъ студенты читали свои произведенія и подвергали ихъ взаимной критикѣ, пока они не являлись въ печати въ изданіяхъ Новикова: «Вечерняя Заря» (1782), и «Покоящійся Трудолюбецъ» (1784), изданіяхъ, проникнутыхъ глубоко религіознымъ содержаніемъ. Изъ этой-то семинаріи вышли тѣ молодые люди, которые явились сотрудниками въ изданіяхъ и переводахъ Новикова: Ключаревъ, Страховъ, Петровъ, Лабзинъ, Подшиваловъ, Невзоровъ, Тимковскій и др. молодые люди, проникнутые однимъ духомъ, одними стремленіями. Къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ Карамзинымъ, смотрѣвшимъ потомъ на дѣло Новикова и друзей его здравыми глазами, нельзя не сказать, что во всѣхъ литературныхъ трудахъ, изданныхъ въ свѣтъ подъ покровительствомъ «Дружескаго Ученаго Общества», благая цѣль просвѣщенія народа затемнена мистическими и масонскими тенденціями. Презирая школьную мудрость, Новиковъ и друзья его впали въ другую крайность и вмѣсто здоровой и естественной пищи давали читателямъ произведенія странныя, гдѣ не всякому удавалось различить великую и простую истину христіанства подъ таинственными и загадочными формулами, подъ вычурнымъ страннымъ и символическимъ языкомъ. Этотъ общій недостатокъ изданій «Ученаго Дружескаго Общества» былъ слѣдствіемъ масонства. Братья забывали, что они писали для толпы, не посвященной въ ихъ таинства.

Главнымъ вождемъ духовнаго направленія этой молодежи и этихъ изданій былъ, какъ мы сказали уже, Шварцъ. Его лекціи «о богопознаніи» и «о трехъ познаніяхъ: любопытномъ, пріятномъ и полезномъ» находили внимательныхъ, увлеченныхъ слушателей. Студенты боготворили молодого профессора; Дмитріевъ говоритъ, что Карамзинъ слушалъ Шварца, а для Петрова эти лекціи были чѣмъ-то въ родѣ откровенія истины. Лекціи эти, исполненныя глубокаго религіознаго чувства и страстнаго одушевленія, были всѣ направлены противъ господствующаго французскаго невѣрія, противъ ученій

матеріализма, и такъ глубоко было вліяніе Шварца и его лекцій, что старики, мистики александровскихъ временъ, не могли безъ слезъ вспоминать объ этомъ далекомъ увлеченіи молодости и съ набожнымъ чувствомъ переписывали тетрадки Шварцовыхъ лекцій, въ которыхъ заключался для нихъ весь кодексъ науки. Эти-то лекціи, можетъ-быть, потому что въ нихъ высказывался масонскій образъ мыслей Шварца и презрѣніе къ цеховой учености, а можетъ-быть, и вслѣдствіе блестящаго успѣха ихъ, были заподозрѣны нѣкоторыми профессорами и въ томъ числѣ учителемъ Карамзина— Шаденомъ. Сторону враговъ Шварца принялъ и кураторъ университета Мелиссино, бывшій тоже масономъ, но, вѣроятно, другого толка. Непріятности съ начальствомъ и болѣзни, какъ слѣдствіе сильнаго напряженія умственнаго, заставили Шварца постепенно укорачивать преподаваніе и рано, на тридцать-третьемъ году жизни, свели его въ могилу. Глубокая преданность учениковъ искренно оплакала потерю любимаго учителя, а вдова и дѣти Шварца взяты были на попеченіе «Дружескаго Ученаго Общества».

Духъ любви, одушевляющій это Общество и выразившійся во многихъ филантропическихъ начинаніяхъ, въ благотворительности бѣднымъ, въ устройствѣ больницъ, аптекъ, школъ, въ раздачѣ милліонныхъ пособій московскимъ бѣднякамъ во время страшнаго голода, казалось, отлетѣлъ отъ него вмѣстѣ со смертію Шварца. Само «Дружеское Общество» исчезаетъ въ 1784 году, и вмѣсто него возникаетъ тогда же «Типографическая Компанія», основанная уже на чисто коммерческихъ началахъ, такъ какъ связью этой Компаніи, которая должна была продолжать прежнія издательскія предпріятія Общества, является уже контрактъ, замѣнившій собою дружественное довѣріе. Цѣлью этой Компаніи было изданіе и продажа по возможно дешевой цѣнѣ книгъ для народнаго образованія и мистическихъ, и хотя члены ея остались прежніе, съ прибавленіемъ только нѣкоторыхъ новыхъ, но все дѣло было въ рукахъ у Новикова. Это время отличается усиленной издательской дѣятельностью. Оно же замѣчательно тѣмъ, что тогда начались первыя подозрѣнія и преслѣдованія власти, первыя запрещенія книгъ. Въ 1785 г. умеръ главнокомандующій Чернышовъ. Его адъютантъ Тургеневъ и его правитель канцеляріи Гамалея, близкіе и дѣятельные члены Компаніи, должны были выйти въ отставку.

Карамзинъ былъ, разумѣется, младшимъ членомъ въ этомъ литературномъ кругу Новикова; онъ вошелъ въ него позже другихъ. Здѣсь встрѣтилъ его близкій ему прежде Петровъ. Дружба съ Петровымъ, нѣсколько старшимъ его по лѣтамъ и совершенно различнымъ по характеру и по взгляду на жизнь, была отраднымъ явленіемъ молодости Карамзина, и память друга навсегда осталась ему дорогою. «Карамзинъ полюбилъ Петрова, хотя они были и не во всемъ сходны между собою,» говоритъ Дмитріевъ: «одинъ пылокъ, откровененъ и безъ малѣйшей желчи; другой угрюмъ, молчаливъ и

подчасъ насмѣшливъ. Но оба питали равную страсть къ познаніямъ, къ изящному, имѣли одинакую силу въ умѣ, одинакую доброту въ сердцѣ; и это заставило ихъ прожить долгое время въ тѣсномъ согласіи подъ одною кровлею у Меньшиковой башни, въ старинномъ каменномъ домѣ, принадлежавшемъ «Дружескому Обществу». «Я какъ теперь вижу скромное жилище молодыхъ словесниковъ; оно раздѣлено было тремя перегородками; въ одной стоялъ на столикѣ, покрытомъ зеленымъ сукномъ, гипсовый бюстъ мистика Шварца, умершаго незадолго предъ пріѣздомъ моимъ изъ Петербурга въ Москву; а другая освящена была Іисусомъ на крестѣ подъ покрываломъ чернаго крепа». Въ этомъ жилищѣ, съ его мистическою обстановкою, прошло четыре года Карамзинской жизни, отданные дѣятельному труду и богатые умственными впечатлѣніями.

Петрову Карамзинъ посвятилъ нѣсколько воспоминаній въ своихъ сочиненіяхъ. Онъ глубоко былъ растроганъ раннею смертію своего друга въ Петербургѣ. Въ душу Петрова изливалась душа его, и Карамзинъ повѣрялъ ему свои надежды и сомнѣнія, свои мечты и планы своихъ сочиненій; онъ былъ его учителемъ, и вдали отъ свѣта, они просиживали вдвоемъ половину зимнихъ ночей надъ Оссіаномъ, Шекспиромъ, Боннетомъ, и, вѣроятно, Петрову Карамзинъ былъ обязанъ знакомствомъ съ англійскими писателями, такъ какъ Петровъ любилъ ихъ и вообще все англійское. Первыя метафизическія понятія Карамзина, по его собственному признанію, развились въ тиши ночныхъ бесѣдъ съ другомъ; эстетическимъ тактомъ онъ обязанъ также Петрову. Вмѣстѣ изучили они современнаго эстетическаго теоретика — Батте. Противоположность характеровъ еще тѣснѣе сблизила ихъ: они восполняли другъ друга, и въ минуты сомнѣнія, недовольства собою и міромъ, въ припадкахъ «черной меланхоліи», которая составляла тогда неотъемлемую принадлежность всякаго развитого юноши, Карамзинъ почерпалъ утѣшеніе въ умѣ и твердомъ характерѣ своего «Агатона». Переписка обоихъ друзей, къ сожалѣнію, дошедшая до насъ въ весьма незначительномъ количествѣ писемъ, свидѣтельствуетъ о томъ значеніи, какое имѣлъ Петровъ для Карамзина. Видно, какое участіе Петровъ принималъ въ судьбѣ своего друга, слѣдя за нимъ по картѣ во время его путешествія за границей и интересуясь ходомъ его литературныхъ успѣховъ, когда по возвращеніи изъ-за границы Карамзинъ сталъ издавать «Московскій Журналъ».

Старшій годами и развитіемъ, Петровъ гораздо прежде сталъ писать и дѣятельно участвовать въ изданіяхъ Новикова въ качествѣ переводчика, будучи еще студентомъ университета, начиная съ 1780 г. На него возложенъ былъ главный трудъ изданія «Дѣтскаго Чтенія», которое выходило при «Московскихъ Вѣдомостяхъ» (1785—1789) и наполнялось преимущественно переводными статьями. Петровымъ переведены были и цѣлыя сочиненія по порученію Компаніи. Въ первомъ журналѣ онъ помѣстилъ также нѣсколько переводныхъ статей. Послѣ

процесса Новикова и друзей его, когда распалась «Компанія Типографическая», Петровъ переѣхалъ на службу въ Петербургъ и умеръ тамъ въ 1793 году.

Другою личностію, которая имѣла также сильное вліяніе на молодого Карамзина, потому что связь его съ нею вводила его въ среду стремленій и идеаловъ новаго и чрезвычайно важнаго періода нѣмецкой литературы, называемаго обыкновенно историками ея *періодомъ волненій* (Sturm und Drang-Periode), былъ Ленцъ, нѣмецкій писатель, ровесникъ Гёте и другъ его молодости, несчастный соперникъ его по любви къ Фредерикѣ Бріонъ, извѣстной въ біографіи Гёте. Ленцъ былъ печальною жертвою тѣхъ бурныхъ стремленій, которыя овладѣли тогда молодыми представителями нѣмецкой литературы и изъ которыхъ Гете вышелъ съ олимпійскимъ спокойствіемъ. Соперничество въ любви и соперничество въ талантѣ съ Гёте довело его до сумасшествія. Всѣ сочиненія его молодости доказывали, что онъ кончитъ этимъ печальнымъ исходомъ свою жизнь съ ея *мутнымъ*, по выраженію Петрова, потокомъ. Эти первыя сочиненія Ленца Карамзинъ, однако, высоко цѣнилъ и называлъ его жертвою «глубокой чувствительности». Что занесло Ленца въ Москву «въ кругъ Новикова» (онъ жилъ въ одномъ домѣ съ Карамзинымъ)—мы не знаемъ, но изъ сочиненій Карамзина видно, что онъ былъ въ близкихъ отношеніяхъ къ Ленцу. Путешествуя за границей, онъ собираетъ слѣды Ленца, говоритъ о немъ съ Виландомъ, передаетъ анекдоты, слышанные о Ленцѣ въ Веймарѣ. По возвращеніи изъ-за границы Карамзинъ засталъ его еще въ Москвѣ и, когда Ленцъ умеръ въ 1792 году, онъ сообщилъ о томъ Петрову. Вліянію Ленца надобно, кажется, приписать переводы Карамзина изъ Шекспира и Лессинга.

Почти такая же судьба постигла и третье лицо, съ которымъ былъ друженъ Карамзинъ въ этотъ первый періодъ своей литературной дѣятельности, хотя оно далеко не имѣло поэтическаго таланта и бурной оригинальности Ленца. Къ обществу Новикова принадлежалъ Алексѣй Михайловичъ Кутузовъ (род. 1749 г., умеръ въ 90-хъ гг.); несмотря на значительную разницу въ лѣтахъ, онъ былъ очень друженъ съ Карамзинымъ. Кутузовъ былъ изъ тѣхъ двѣнадцати молодыхъ людей, которыхъ императрица Екатерина II отправила учиться за границу. Вмѣстѣ съ извѣстнымъ Радищевымъ онъ провелъ четыре года въ Лейпцигѣ (1766—1770) и былъ друженъ съ нимъ. Радищевъ посвятилъ ему свое «Житіе Ѳ. В. Ушакова», ихъ товарища, умершаго за границею. Подобно большей части этихъ молодыхъ людей, Кутузовъ не приготовился за границей ни къ чему, что бы могло приносить дѣйствительную пользу его отечеству и, повидимому, кромѣ знанія нѣмецкаго языка, ничего не вывезъ изъ Лейпцига. Живя въ Москвѣ, онъ участвовалъ капиталомъ въ предпріятіяхъ Новикова и занимался переводами; ему принадлежитъ полный прозаическій переводъ Клопштоковой Мессіады. Карамзинъ, какъ извѣстно, сердечно любилъ его. Незадолго до отъѣзда за границу Карамзина,

Кутузовъ былъ посланъ туда Новиковымъ и его друзьями съ цѣлями масонскими, для поддержанія связей съ заграничными, что и послужило однимъ изъ пунктовъ обвиненій членовъ «Типографической Компаніи». Когда Прозоровскій производилъ слѣдствіе и дозналъ связи Кутузова съ обвиненными мартинистами, когда его бумаги были забраны, и между ними нашлись письма «преступника» Радищева, Кутузовъ уже побоялся воротиться на родину. Изъ характеристики Кутузова, сдѣланной Карамзинымъ, изъ отрывка письма его къ послѣднему, видно, что воображеніе играло сильную роль въ жизни Кутузова, и онъ страдалъ меланхоліей, хотя, по словамъ Карамзина, и былъ добродушнымъ и любезнымъ человѣкомъ. Карамзину не удалось, однакожъ, встрѣтиться съ нимъ за границею, о чемъ онъ очень сожалѣлъ. Кутузовъ былъ въ Парижѣ во время взятія Бастиліи (14 іюля 1789 г.) и умеръ «жертвою несчастныхъ обстоятельствъ», какъ говоритъ Карамзинъ.

Въ этомъ обществѣ молодыхъ друзей, работающихъ по идеѣ умершаго Шварца и распоряженію Новикова и друзей его, началась первая литературная дѣятельность Карамзина, представляющаяся намъ только въ переводахъ. Весьма естественно, что нельзя было отъ него ожидать ничего оригинальнаго, кромѣ развѣ стиховъ, навѣянныхъ молодымъ чувствомъ. Карамзинъ былъ слишкомъ молодъ для того, чтобъ сознательно участвовать въ предпріятіяхъ «Компаніи типографической», чтобъ понять ея цѣли и сдѣлать ихъ своими. Но это общество, эти люди, составлявшіе свѣтлый кружокъ въ тогдашнихъ темныхъ московскихъ захолустьяхъ, горячо преданные другъ другу и отдаленной, мечтательной, но отрадной сердцу цѣли, разговоры ихъ, полные любовью къ мудрости, вѣрою въ Бога и человѣчество, чуждые грязи ежедневной и чуждые дѣйствительности, которую они промѣняли на золотые сны, должны были оказать сильное воспитательное вліяніе на Карамзина. Это была превосходная школа для его таланта, сердца, ума. Она воспитала въ немъ ту пламенную любовь къ человѣчеству, которая такъ изобильно разсѣяна въ его сочиненіяхъ, ту чистоту стремленій, которая потомъ дала ему силы посвятить себя самоотверженно и вполнѣ великому труду послѣдняго періода его литературной дѣятельности, ту вѣру въ будущее, съ которою только и можно создать на землѣ что-либо великое, и ту глубокую нѣжность характера, которая такъ привязывала къ нему людей и сдѣлала его средоточіемъ самаго свѣтлаго кружка нашей литературы.

Намъ нѣтъ надобности долго останавливаться на этихъ первыхъ трудахъ Карамзина, изученіе которыхъ имѣетъ развѣ значеніе въ спеціальной исторіи карамзинскаго слога. Переводы эти немного могутъ прибавить къ біографіи Карамзина и къ исторіи его внутренняго духовнаго развитія. Но выборъ этихъ переводовъ очень важенъ для насъ. Онъ показываетъ намъ ясно, что Карамзинъ былъ или слишкомъ молодъ для того, чтобы быть посвященнымъ въ тайны масонства

и мистицизма, или умъ и душа его не поддавались ихъ вліянію. И то и другое обстоятельство сохранили Карамзина отъ вреднаго вліянія Новиковскаго кружка. Онъ спасъ въ себѣ реальное чувство, насколько допускала его современная исторія русскаго общества, не потерялся въ безцѣльномъ мистическомъ стремленіи и не испортилъ свой ясный, образцовый языкъ вычурнымъ символизмомъ. За исключеніемъ «Бесѣдъ съ Богомъ» Штурма, въ переводѣ которыхъ принималъ Карамзинъ участіе, вѣроятно, по заказу, другіе переводы его этого періода свидѣтельствуютъ о свободѣ выбора. «О происхожденіи зла», поэма *великаго* Галлера, трактующая этотъ знаменитый въ исторіи духовнаго развитія XVIII столѣтія вопросъ съ точки зрѣнія оптимизма и развивающая теорію свободной воли, переведена была Карамзинымъ не по заказу. Переводъ этотъ возникъ подъ вліяніемъ тѣхъ философическихъ разговоровъ, которые Карамзинъ велъ съ своими московскими друзьями. Безъ сомнѣнія, въ поэмѣ Галлера онъ нашелъ удовлетворившій его отвѣтъ на задачу современной философіи. Здѣсь, дѣйствительно, были затронуты главные вопросы религіи и нравственности, занимавшіе лучшихъ мыслящихъ людей прошлаго вѣка, начиная съ Бэйля и англійскихъ деистовъ. Здѣсь была изложена сущность «Теодицеи» Лейбница. Съ особеннымъ удовольствіемъ, вспоминая этотъ переводъ впослѣдствіи, Карамзинъ привелъ сужденіе о поэмѣ Галлера, высказанное ему Боннетомъ, назвавшимъ ее «самымъ лучшимъ изъ философскихъ сочиненій». Переводъ этотъ Карамзинъ посвятилъ старшему брату своему Василію Михайловичу, чтобъ «имѣть случай излить предъ нимъ ощущенія своего сердца». Еще свободнѣе долженъ былъ быть выборъ со стороны Карамзина переводовъ изъ Шекспира и Лессинга. Здѣсь, очевидно, было вліяніе Ленца и Петрова, но никакъ не мистиковъ. Карамзинъ рано могъ познакомиться съ Шекспиромъ и думать о переводѣ его на русскій языкъ. Еще въ началѣ 1785 года, когда Карамзинъ велъ разсѣянную жизнь въ Симбирскѣ, Петровъ, говоря ему въ письмѣ своемъ о скукѣ, его мучившей, сообщаетъ, что и «самый Шекспиръ его не прельщаетъ». Труня надъ мнимою бездѣятельностью Карамзина, другъ его продолжаетъ: «хоть ты и секретничаешь, однако я воображаю, какъ по пріѣздѣ твоемъ всѣ московскіе авторы и переводчики будутъ ходить повѣся головы, для того, что бѣдные сіи люди будутъ тогда раза по четыре пріѣзжать и приходить къ директорамъ «Типографской Компаніи» и получать отъ нихъ непріятный отвѣтъ, что книгъ не можно еще начать печатаніемъ «Россійскаго Шекспира». Англійскаго трагика, безъ сомнѣнія, читалъ онъ вмѣстѣ съ Петровымъ и выбралъ изъ его трагедій для перевода «Юлія Цезаря». Удивительно здравый взглядъ на Шекспира, безъ сомнѣнія, пріобрѣтенный чтеніемъ Лессинга, который противопоставилъ его вліянію господствовавшей до тѣхъ поръ въ Германіи классической школы французовъ, развиваетъ Карамзинъ въ своемъ предисловіи къ переводу. Онъ говоритъ

о величіи Шекспира, о глубокомъ знаніи имъ природы человѣческой и жизни, о силѣ его поэтическаго воображенія. Карамзинъ возстаетъ противъ «софизмовъ» Вольтера, направленныхъ на англійскаго трагика съ точки зрѣнія французской трагедіи и оправдываетъ нарушеніе Шекспиромъ условныхъ правилъ господствовавшей теоріи. Съ восторгомъ говоритъ онъ о неподдѣльныхъ красотахъ поэзіи Шекспира, когда, оставляя Англію, дѣлалъ краткій очеркъ ея литературнаго богатства. Это былъ другъ природы для Карамзина, великій геній.

Изъ того же правильно развитого взгляда на поэзію могъ возникнуть переводъ лучшей трагедіи Лессинга: «Эмилія Галлотти». Этого творца національной нѣмецкой литературы Карамзинъ называетъ «философомъ, проникшимъ взоромъ своимъ въ глубины сердца человѣческаго». По переводу этому пьеса Лессинга очень долго игралась на московскомъ театрѣ, и разбору игры актеровъ Карамзинъ посвятилъ потомъ статью въ «Московскомъ Журналѣ».

Всего пріятнѣе, кажется, было участвовать Карамзину вмѣстѣ съ Петровымъ въ редакторствѣ «Дѣтскаго Чтенія», которое издавалось до самаго отъѣзда Карамзина за границу. Періодическое изданіе это безплатно прилагалось къ «Московскимъ Вѣдомостямъ». Новиковъ и здѣсь, какъ и въ другихъ своихъ изданіяхъ, оказалъ дѣйствительную пользу обществу. Русскія дѣти того времени вовсе не имѣли для себя образовательнаго чтенія и изъ рукъ французскихъ гувернеровъ, противъ которыхъ онъ ратовалъ въ «Кошелькѣ», переходили прямо къ произведеніямъ французской литературы, полной отрицанія и матеріализма. Въ эту пору Германія представляла уже нѣсколько раціональныхъ педагоговъ-писателей для дѣтей, и переводы изъ нихъ и лучшихъ французскихъ составили содержаніе «Дѣтскаго Чтенія», которое долго, почти до сороковыхъ годовъ, считалось самою умною и полезною книгою «для образованія сердца и разума», хотя большинство статей не оригинальны. «Дѣтское Чтеніе» въ литературной біографіи Карамзина потому важно, что здѣсь надобно искать его первыхъ оригинальныхъ опытовъ и въ прозѣ и поэзіи, навѣянныхъ молодостью и замѣчательныхъ тѣмъ, что въ нихъ заключены зародыши будущаго его литературнаго направленія. Здѣсь помѣщено поэтическое посланіе Карамзина къ другу его Петрову, жившему въ деревнѣ, въ которомъ высказываетъ онъ желаніе знать и учиться, переводы изъ Попа, изъ Вейссе, переводы Томсона, стихами и прозой, переводъ повѣстей г-жи Жанлисъ и отрывки изъ извѣстнаго сочиненія XVIII вѣка. «Contemplation de la nature», съ авторомъ котораго, Боннетомъ, «чувствительнымъ философомъ», какъ онъ называетъ его, Карамзинъ познакомился въ Швейцаріи и передавалъ ему свое намѣреніе перевести это сочиненіе на русскій языкъ. Наконецъ въ «Дѣтскомъ Чтеніи», по всей вѣроятности, надобно искать и первую «чувствительную» повѣсть Карамзина, слабый прототипъ того, что прославило его впослѣдствіи. Повѣсть эта, названная изда-

телями «старинною русскою», есть «Евгеній и Юлія». Героиня, подобно другимъ героинямъ сентиментальныхъ повѣстей, любитъ природу и прекраснаго юношу, читаетъ поэтовъ, но страдаетъ меланхоліей. Любимый юноша захворалъ и умеръ горячкою, и Юлія осталась жить надъ его могилою въ «меланхолическомъ уединеніи». Юнгъ, Томсонъ, Оссіанъ, вѣрные выразители своего времени съ его неудавшеюся исторіею, создали эту меланхолію. Естественнымъ путемъ развитія она зашла и къ намъ и осѣнила молодую душу Карамзина, готовую принять всякія впечатлѣнія.

Карамзинъ былъ самымъ дѣятельнымъ участникомъ въ изданіи, особенно съ 1788 года и до отъѣзда своего за границу. Петровъ пишетъ ему изъ Москвы, что «Дѣтское Чтеніе» осиротѣло безъ него, и дѣйствительно вмѣстѣ съ отъѣздомъ Карамзина оно прекратилось.

Вотъ тѣ произведенія первой молодости Карамзина, первой эпохи его литературнаго развитія, созрѣвшія подъ вліяніемъ Новиковскаго кружка, въ дружескихъ бесѣдахъ молодости, полныхъ безграничныхъ стремленій. Судя по времени, мы должны утвердительно сказать, что на долю духовнаго развитія Карамзина въ эти четыре года достались самыя богатыя умственныя впечатлѣнія. Самыя знаменитыя произведенія европейскихъ литературъ, по идеямъ, волнующимъ умы вѣка, или по красотѣ выраженія, были доступны ему. Жизнь тогдашняго образованнаго русскаго человѣка, наша бѣдная тогда духовнымъ развитіемъ литература, разорванность нашей исторіи и невозможность общественной дѣятельности невольно отдѣляли юношу отъ національныхъ началъ и погружали его въ широкую волну умственной жизни Европы, которая одна могла дать развитіе на общечеловѣческихъ началахъ. Не мало и масонство дѣйствовало на подобное воспріятіе образовательныхъ началъ изъ чужой жизни, масонство съ своею ненавистью къ національностямъ, съ своею пылкою мечтою о томъ времени,

...когда народы, распри позабывъ,
Въ единую семью соединятся.

Былъ ли Карамзинъ посвященъ въ тайны масонства, въ какую-либо, хотя бы самую низшую степень его? Участвовалъ ли онъ въ собраніяхъ масоновъ и исполнялъ ли ихъ обряды? На эти вопросы, не важные для литературной дѣятельности Карамзина, но любопытные для его біографіи какъ человѣка, мы не можемъ дать отвѣтовъ утвердительныхъ. Совершенно справедливо, что натура Карамзина была чужда масонству и мистицизму, что въ его сочиненіяхъ, ясныхъ по формѣ выраженія, по мысли, чуждой всего неопредѣленнаго, и по содержанію, довольно близкому къ жизни, мы не находимъ слѣдовъ мистицизма, но Карамзинъ все-таки жилъ четыре года въ обществѣ масоновъ, а при извѣстномъ стремленіи братьевъ къ прозелитизму, трудно думать, чтобъ онъ сколько-нибудь не былъ посвященъ въ ихъ таинства. То обстоятельство, что

въ его сочиненіяхъ не встрѣчается ни одного намека (за исключеніемъ случайно вырвавшагося восклицанія) на принадлежность его къ масонскому обществу, казалось, можетъ служить нѣмымъ, но яснымъ отвѣтомъ на предположеніе объ участіи его въ собраніяхъ масоновъ. Но припомнимъ и другія обстоятельства. Съ 1785 года начались преслѣдованія Новиковскаго Общества, этого «скопища извѣстнаго новаго раскола», со стороны власти. Въ 1786 году послѣдовали запрещенія масонскихъ и мистическихъ книгъ. Еще въ концѣ 1788 года, когда Карамзинъ былъ въ Москвѣ, по указу Екатерины II, воспрещено было университету возобновлять снова на десять лѣтъ контрактъ съ содержателемъ типографіи Новиковымъ, какъ человѣкомъ вреднымъ. Эти преслѣдованія увеличивались все болѣе и болѣе по мѣрѣ того, какъ развертывались событія французской революціи. Они достигли высшей степени, когда Карамзинъ, по возвращеніи изъ-за границы, сталъ издавать свой «Московскій Журналъ». «Компанія типографическая» прекратила свои дѣйствія въ 1791 году, а въ началѣ 1792 года Новиковъ и друзья его были забраны и попали или въ крѣпость, или въ ссылку. Самыя названія: масонъ, мартинистъ, сдѣлались опасными, такъ какъ относились къ государственнымъ преступникамъ, и понятно, почему Карамзинъ долженъ былъ избѣгать всякихъ намековъ на прежнія свои отношенія. Когда Новиковъ, освобожденный Павломъ I, но съ подорваннымъ навсегда здоровьемъ отъ слѣдствія Шешковскаго и шлиссельбургскихъ казематовъ, удалился доживать печальные дни свои, посреди немногихъ вѣрныхъ ему друзей стараго времени и больныхъ дѣтей, въ свою подмосковную деревню; когда въ царствованіе Александра мистицизмъ и масонство снова поднялись и новые члены ихъ, соединившись съ разсѣянными членами прежнихъ обществъ, стали организовываться, Карамзинъ смотрѣлъ гораздо прямѣе, съ болѣе здравымъ смысломъ на жизнь, чѣмъ нѣкоторые его мечтательные современники. Преобразованія новаго царствованія, призывъ свѣжихъ русскихъ силъ къ дѣйствію сдѣлали его публицистомъ. Къ тому великому дѣлу, которому Новиковъ посвятилъ столько усилій, къ просвѣщенію народа, къ заведенію сельскихъ училищъ, вызываемыхъ новою реформою просвѣщенія, Карамзинъ призывалъ теперь русскихъ дворянъ. Ихъ сознательныя усилія, ихъ жертвы, должны были смѣнять усилія старыхъ масоновъ. Поэтому онъ былъ весь отданъ великой цѣли, великому труду, и ему было не до мистицизма.

Но Карамзинъ былъ честный человѣкъ и не разрывалъ своихъ связей со старцемъ. Въ годы извѣстности и славы онъ велъ переписку съ Новиковымъ и выслушивалъ отъ него такія истины, которыя ему очень легко могли показаться строгими. Глубокая, радикальная противоположность существовала тогда между этими двумя людьми, изъ которыхъ одинъ стоялъ на краю гроба и былъ озаренъ невечернимъ свѣтомъ своей мистической вѣры, а другой славный уже писатель на родинѣ, приготовлялся завершить свое служеніе ей изда-

ніемъ труда, которое сдѣлало его имя безсмертнымъ, — труда, которому онъ посвятилъ столько лѣтъ самой самоотверженной науки. Въ глазахъ Новикова и эта слава, и этотъ трудъ, и вся философія Карамзина, и вся наука человѣческая были прахъ и ничтожество. Насмѣшливо говоря въ письмѣ даже о меланхоліи Карамзина, какъ *о выраженіи пріятной задумчивости*, презрительно упоминая о философіи Филарета, представляя себя идіотомъ, ничего не знающимъ, ничего не читавшимъ, Новиковъ былъ совершенно чуждъ стремленіямъ Карамзина. Старая связь была порвана навсегда, и время взяло свое. Никакимъ таинствамъ не могъ посвятить Новиковъ Карамзина, для котораго вся жизнь сдѣлалась положительнымъ служеніемъ отечеству, никакими земными успѣхами, никакою «Исторіей государства Россійскаго», съ другой стороны, не могъ удивить Карамзинъ Новикова. Имъ оставалось только пожать другъ другу руки и разойтись навсегда. Когда Новиковъ умеръ въ 1818 году, оставивъ послѣ себя въ высшей степени разстроенное состояніе и неизлѣчимо больныхъ дѣтей, Карамзинъ принялъ самое живое участіе въ судьбѣ ихъ. Онъ поправлялъ просьбу на Высочайшее имя дочери покойнаго Новикова и самъ подавалъ докладную записку императору Александру, въ которой, разсказывая всѣ заслуги Новикова, онъ призывалъ царскую милость на дѣтей «усопшаго страдальца». «Новиковъ, — говорилъ онъ, — какъ гражданинъ, полезный своей дѣятельностію, заслуживалъ общественную признательность; Новиковъ, какъ теософическій мечтатель, *по крайней мѣрѣ, не заслуживалъ темницы*». Дѣятельнымъ участіемъ въ несчастной судьбѣ сиротъ Карамзинъ, кажется, заплатилъ за то духовное и нравственное образованіе, которое онъ получилъ въ обществѣ Новикова и друзей его и которое приготовило его и къ путешествію за границу и къ болѣе полной литературной дѣятельности.

Если ученіе въ пансіонѣ Шадена дало Карамзину средства развитія, средства для знакомства съ разнообразными произведеніями ума человѣческаго, если оно *научило* его читать и мыслить о прочитанномъ, то пребываніе его въ обществѣ московскихъ масоновъ *воспитало* его мысль, дало ей широкую основу, наполнило ее любовью къ общечеловѣческому, съ которою только и можно было приступить къ положительному изученію отечественному, по знаменитому выраженію Карамзина: «Все *народное* ничто предъ человѣческимъ. Главное дѣло быть *людьми*, а не славянами».

Буличъ.

Карамзинъ, какъ писатель и человѣкъ.

Какъ литераторъ, Карамзинъ былъ живымъ и неутомимымъ двигателемъ нашего общества и владѣлъ для того всѣми важнѣйшими качествами: живымъ воображеніемъ, нѣжнымъ и впечатлительнымъ чувствомъ, разностороннимъ образованіемъ и возвышенными убѣжденіями. Все это дѣлало его незамѣнимымъ для нашего обще-

ства, пробавлявшагося, большею частью, избитыми и сильно надоѣдавшими уже продуктами старой литературной школы. И общество понимало цѣну Карамзину, что доказывается сильнымъ его возбужденіемъ и обнаруживавшимися со всѣхъ сторонъ сочувствіемъ отъ всего, что въ немъ было свѣжаго и способнаго къ движенію впередъ. Воззрѣніе и идеалы Карамзина, правда, не отличались особенною глубиною и оригинальностью, и въ этомъ отношеніи онъ долженъ уступить Ломоносову, дарованіе котораго было, безспорно, и глубже и шире; но зато онъ ближе подходилъ къ своему обществу, непосредственнѣе относился къ его интересамъ и нуждамъ, между тѣмъ какъ даже литературное вліяніе послѣдняго было ограниченнѣе, и не по одной, сравнительно меньшей, воспріимчивости самаго общества и способности къ усвоенію этого вліянія; мы не говоримъ уже о вліяніи той стороны дѣятельности Ломоносова, къ которой тяготѣли самыя сильныя и задушевныя его симпатіи. Справедливо, что сентиментальное направленіе, господствующее въ литературныхъ произведеніяхъ Карамзина, въ сущности есть ложное направленіе, но не должно забывать, что оно было для того времени сильнымъ средствомъ, благотворно дѣйствовавшимъ на общество. Имъ впервые съ такою полнотою и ясностью указалъ Карамзинъ на потребность выраженія въ литературѣ внутренняго человѣка, тѣхъ понятныхъ каждому душевныхъ движеній, которыя могъ испытывать и переживать каждый. Самое увлеченіе въ этомъ направленіи, по прямой противоположности съ прежнимъ литературнымъ направленіемъ, дѣйствовало тѣмъ сильнѣе, чѣмъ было неожиданнѣе, и тѣмъ болѣе сближало литературу съ обществомъ. И кто понималъ тогда ложность этого направленія, это увлеченіе? Строго-историческая точка зрѣнія, требующая основательнаго изученія общества даннаго времени и отношеній къ нему писателя, есть единственно вѣрная въ дѣлѣ оцѣнки литературныхъ произведеній каждой эпохи, и безусловное осужденіе ихъ съ современной точки зрѣнія, развѣнчиванье авторитетовъ — дѣло не трудное, особенно, если мы при этомъ зададимся, тоже съ современной точки зрѣнія, вопросами, которыми никакъ не могъ задаваться писатель, жившій лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ.

Будучи литераторомъ и ученымъ, Карамзинъ былъ въ то же время важнымъ и вліятельнымъ общественнымъ дѣятелемъ и внѣ своей спеціальной профессіи: онъ былъ живымъ, неутомимымъ и энергическимъ руководителемъ общества, а равно истолкователемъ правительственныхъ мѣръ, по важнѣйшимъ вопросамъ и явленіямъ жизни.

Онъ былъ первымъ русскимъ публицистомъ. До него мы не имѣли связной журнальной политической хроники и ограничивались сухими и отрывочными газетными извѣстіями, въ которыхъ непосвященному читателю трудно, да и недосугъ было отыскивать причины и слѣдствія. Карамзинъ первый началъ внимательно слѣдить за ходомъ иностранной политики, и притомъ въ примѣненіи къ Рос-

сіи, и результаты своего чтенія и размышленія сообщалъ читателямъ въ небольшихъ связныхъ и общедоступныхъ разсказахъ. Въ этихъ разсказахъ онъ, обыкновенно, старался осмыслить частныя явленія въ тогдашнемъ общеевропейскомъ движеніи, слѣдовавшемъ за французской революціей, и уловить съ своей точки зрѣнія общій смыслъ и общее направленіе этихъ частныхъ явленій. Его убѣжденія, напр., о нашемъ извѣстномъ тогдашнемъ отношеніи къ западному краю и Польшѣ, отличаются такою ясностью и глубиною, что они безъ малѣйшаго измѣненія могутъ быть отнесены къ настоящему времени.

Но еще внимательнѣе слѣдилъ Карамзинъ за всѣми крупными и капитальными вопросами и явленіями нашей собственной внутренней жизни, и прежде всего касавшимися дорогихъ для него, какъ и Ломоносова, успѣховъ народнаго просвѣщенія. «Просвѣщеніе есть палладіумъ благонравія, — говоритъ онъ, — и когда вы, — вы, которымъ Вышняя власть поручила судьбу человѣковъ, желаете распространить на землѣ область добродѣтели, то любите науки, и не думайте, чтобы онѣ могли быть вредны; чтобы какое-нибудь состояніе въ гражданскомъ обществѣ долженствовало пресмыкаться въ грубомъ невѣжествѣ — нѣтъ! Сіе златое солнце сіяетъ для всѣхъ на голубомъ сводѣ, и все живущее согрѣвается его лучами; сей текущій кристаллъ утоляетъ жажду и властелина и невольника; сей столѣтній дубъ обширною своею тѣнью прохлаждаетъ и пастуха и героя. Всѣ люди имѣютъ душу, имѣютъ сердце: слѣдовательно, всѣ могутъ наслаждаться плодами искусства и науки, и кто наслаждается ими, тотъ дѣлается человѣкомъ и спокойнѣйшимъ гражданиномъ... Просвѣщеніе всегда благотворно; просвѣщеніе ведетъ къ добродѣтели, доказывая намъ тѣсный союзъ частнаго блага съ общимъ и открывая неизсякаемый источникъ блаженства въ собственной груди нашей; просвѣщеніе есть лѣкарство для испорченнаго сердца и разума; одно просвѣщеніе живодѣтельною теплотою своею можетъ изсушить сію тину нравственности, которая ядовитыми парами своими мертвитъ все изящное, все доброе въ мірѣ; въ одномъ просвѣщеніи найдемъ мы спасительный антидотъ для всѣхъ бѣдствій человѣчества» (III, 399, 454). Извѣстно, что начало царствованія Александра Павловича было временемъ въ высшей степени знаменательнымъ въ этомъ отношеніи, что въ это время послѣдовалъ рядъ общихъ и основныхъ правительственныхъ мѣръ, имѣвшихъ цѣлью организовать на новыхъ началахъ цѣлую систему народнаго образованія. Карамзинъ внимательно прислушивался къ разнообразнымъ мнѣніямъ, изъ которыхъ вырабатывалась та или другая правительственная мѣра, и относительно каждой изъ нихъ представлялъ свое мнѣніе или объясненіе. По поводу знаменитаго указа 24 января 1803 года объ устройствѣ училищъ, Карамзинъ, въ статьѣ «О новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи», замѣчаетъ, что «государь избралъ вѣрнѣйшее, *единственное* средство для совершеннаго успѣха въ своихъ великодушныхъ намѣреніяхъ, онъ желаетъ просвѣтить россіянъ, чтобы

они могли пользоваться его человѣколюбивыми уставами, безъ всякихъ злоупотребленій и въ полнотѣ ихъ спасительнаго дѣйствія» (III, 349) — и вслѣдъ за тѣмъ дѣлаетъ воззваніе къ дворянству о содѣйствіи къ устройству училищъ: «Учрежденіе сельскихъ школъ, — говоритъ Карамзинъ, — постоянно полезнѣе всѣхъ лицеевъ, будучи истиннымъ народнымъ учрежденіемъ, истиннымъ основаніемъ государственнаго просвѣщенія. Предметъ ихъ ученія есть важнѣйшій въ глазахъ философа. Между людьми, которые умѣютъ только читать и писать, и совершенно безграмотными гораздо болѣе разстоянія, нежели между неучеными и первыми метафизиками въ свѣтѣ... Сочиненіе нравственнаго катихизиса для приходскихъ училищъ достойно перваго генія въ Европѣ: такъ оно важно и благодѣтельно!» (III, 354). Нельзя не замѣтить здѣсь мысли Карамзина въ его статьѣ «О вѣрномъ способѣ имѣть въ Россіи довольно учителей»,— мысли, высказывавшейся потомъ часто, что среднее сословіе есть обильнѣйшій и вѣрнѣйшій источникъ для образованія и наполненія учащаго сословія: «бѣдность есть, съ одной стороны, несчастіе гражданскихъ обществъ, а съ другой — причина добра, — говоритъ онъ: — она заставляетъ людей быть полезными и, такъ сказать, отдаетъ ихъ въ распоряженіе правительства; бѣдные готовы служить во всѣхъ званіяхъ, чтобы только избѣжать жестокой нищеты. Россія на первый случай можетъ единственно отъ нижнихъ классовъ гражданства ожидать ученыхъ, особливо педагоговъ. Дворяне хотятъ чиновъ, купцы богатства черезъ торговлю; они, безъ сомнѣнія, будутъ учиться, но только для выгодъ своего собственнаго состоянія, а не для успѣховъ самой науки, не для того, чтобы хранить и передавать ея сокровища другимъ... Успѣхи просвѣщенія должны болѣе и болѣе удалять государства отъ кровопролитія, а людей отъ раздоровъ и преступленія: какъ же благородно ученое состояніе, котораго дѣло есть возвышать насъ умственно и приближать счастливую эпоху порядка, мира, благоденствія!» (III, 343, 344).

Если Карамзинъ, *какъ писатель*, представляетъ собою рѣдкое явленіе, то едва ли не болѣе рѣдкое явленіе представляетъ онъ, какъ *человѣкъ*. Его чистыя и честныя убѣжденія, его высокая нравственность, его горячая любовь къ человѣку и добру, его глубокій, искренній и дѣятельный патріотизмъ, со свойственною Карамзину ясностью взгляда прозрѣвавшій истинные пути и средства ко благу, чести, достоинству, величію и славѣ Россіи, — все это возвышаетъ Карамзина до такой высоты, на которой мы привыкли представлять идеалы нравственности, недоступные для обыкновенной житейской нравственности. Его жизнь, его дѣятельность, его произведенія — великая школа для воспитанія идеи долга и нравственности, и это не преувеличеніе, не лесть, недостойная великаго имени Карамзина и оскорбительная для него. Такое воспитательное значеніе имѣютъ его произведенія, если иногда не по содержанію, отъ котораго мы ушли впередъ, то по общему направленію, характеру и смыслу. Въ этомъ

отношеніи онъ выше Ломоносова, не чуждаго нѣкоторыхъ слабостей человѣческихъ — и кто изъ насъ не имѣетъ ихъ? — хотя ниже его по глубинѣ и силѣ дарованія. Читая и вновь перечитывая произведенія Карамзина, вы дочитаетесь до какого-то неловкаго чувства: вы желали бы съ возможною точностью воспроизвести его образъ въ живыхъ и рѣзкихъ очертаніяхъ, обрисовать его, какъ человѣка и гражданина, естественно ищете необходимыхъ для того свѣта и тѣней — и находите такія легкія, прозрачныя тѣни, которыя даютъ вамъ только блѣдные очерки; усиливаясь воспроизвести всего человѣка, вы ищете и слабостей человѣческихъ, потому что онѣ нужны для тѣней въ нашей картинѣ — чувствуете невольно какую-то неловкость, встрѣчая постоянно ясный, чистый и свѣтлый образъ.

Такую нравственную чистоту считалъ Карамзинъ необходимою принадлежностью каждаго писателя и необходимымъ условіемъ успѣха его произведеній. «Говорятъ, что автору нужны таланты и знаніе, — такъ начинаетъ онъ небольшую статью. — Что нужно автору острый, проницательный разумъ, живое воображеніе и проч. — справедливо: но сего не довольно. Ему надобно имѣть и доброе, нѣжное сердце, если онъ хочетъ быть другомъ и любимцемъ души нашей; если хочетъ, чтобы дарованіе его сіяло свѣтомъ немерцающимъ; если хочетъ писать для вѣчности и собирать благословеніе народовъ. Творецъ всегда изображается въ твореніи, и часто противъ воли своей. Тщетно думаетъ лицемѣръ обмануть писателей, и подъ златою одеждою пышныхъ словъ сокрыть желѣзное сердце: тщетно говоритъ о милосердіи, состраданіи, добродѣтели! Всѣ восклицанія его холодны, безъ души, безъ жизни; и никогда питательное, ѳирное пламя не польется изъ его твореній въ нѣжную душу читателя... Многіе авторы, несмотря на свою ученость и знаніе, возмущаютъ духъ мой и тогда, когда говорятъ истину; ибо сія истина мертва въ устахъ ихъ; ибо сія истина изливается не изъ добродѣтельнаго сердца; ибо дыханіе любви не согрѣваетъ ея» (III, 370, 372). «Видимъ иногда злоупотребленіе таланта, — говоритъ Карамзинъ въ своей академической рѣчи (1818), — но цвѣты его на ядовитомъ полѣ разврата скоро увядаютъ и тлѣютъ: неувядаемость принадлежитъ единственно благу. Въ самыхъ мнимыхъ красотахъ порочнаго есть безобразіе, оскорбительное не только для чувства нравственнаго, но и для вкуса въ изящномъ, коего единство съ добромъ тайно для разума, но извѣстно сердцу. Низкія страсти унижаютъ, охлаждаютъ дарованіе: пламень его есть пламень добродѣтели» (III, 653). *Лавровскій.*

Литературная дѣятельность Карамзина.

Въ исторіи русскаго образованія Карамзинъ есть лицо не только необыкновенное, но въ своемъ родѣ единственное. Онъ былъ первымъ у насъ писателемъ, который всю свою жизнь нераздѣльно по-

святилъ литературѣ и ею одной создалъ себѣ независимое и блестящее положеніе. Онъ представляетъ разительный примѣръ великаго значенія характера въ дѣятельности писателя. Въ страстномъ Ломоносовѣ намъ понятно необоримое упорство стремленій; но въ кроткомъ Карамзинѣ насъ особенно поражаетъ энергія воли, съ какою онъ неуклонно и неутомимо идетъ къ одной, разъ избранной имъ цѣли. Такая сила характера объясняется только силой внутренняго призванія и таланта. На ихъ сознаніи основывалось то твердое убѣжденіе въ необходимости сохранить свою независимость, которое заставляло Карамзина отвергать неоднократныя предложенія почетныхъ мѣстъ по ученой или государственной службѣ. Но къ идеѣ характера принадлежитъ также твердость правилъ и достоинство въ образѣ дѣйствій: всѣ, лично знавшіе исторіографа, согласны въ томъ, что какъ ни высоко стоялъ Карамзинъ-писатель, но еще выше былъ Карамзинъ-человѣкъ. Русская критика послѣдняго десятилѣтія представила намъ одно очень неотрадное явленіе. Разбирая нашихъ прежнихъ писателей, она съ стоической строгостію выискивала и выставляла ихъ человѣческія слабости, не обращая вниманія на духъ и нравы времени, которые могли служить имъ нѣкоторымъ извиненіемъ. Но та же критика не хотѣла останавливаться на ихъ достоинствахъ и добродѣтеляхъ: она такъ же сурово относилась къ Карамзину, какъ, напримѣръ, къ Державину, хотя въ жизни перваго трудно отыскать тѣни, подобныя тѣмъ, въ которыхъ упрекаютъ послѣдняго. Тѣмъ многозначительнѣе и глубже было дѣйствіе, какое Карамзинъ производилъ на современниковъ: онъ не только усиливалъ въ нихъ любовь къ чтенію, не только распространялъ литературное и историческое образованіе; но также возбуждалъ въ массѣ читателей религіозное и нравственное чувство, утверждалъ въ нихъ благородный и честный образъ мыслей, воспламенялъ патріотизмъ. Поколѣніе, къ которому принадлежалъ Карамзинъ, такъ далеко отъ нашего, что многіе могутъ видѣть въ немъ явленіе, для насъ чуждое. Но если станемъ ближе всматриваться въ него, то найдемъ, что онъ, по своему образованію, по духу своей дѣятельности, даже по многимъ изъ своихъ взглядовъ и стремленій принадлежалъ болѣе нашей эпохѣ, нежели своей. Самый первый шагъ его въ литературѣ, — усовершенствованіе письменной рѣчи, единогласно одобренное и принятое всѣмъ послѣдующимъ поколѣніемъ, — былъ шагомъ человѣка, идущаго впереди своихъ современниковъ. Такъ шелъ онъ и послѣ; чѣмъ глубже будемъ изучать Карамзина, тѣмъ болѣе будемъ убѣждаться въ томъ.

Авторская жизнь Карамзина представляетъ три очень явственно разграниченные періода. Написанное имъ до путешествія по Европѣ (почти исключительно переводы) можетъ быть названо его ученическими опытами. По возвращеніи въ Россію, 25 лѣтъ отъ роду, подъ конецъ царствованія Екатерины II, онъ вдругъ является мастеромъ своего дѣла, журналистомъ и писателемъ съ самостоятельнымъ взглядомъ на языкъ и литературу; начинаетъ писать такъ, какъ еще

никто не писалъ, и увлекаетъ за собою большинство общества. Въ избыткѣ молодыхъ силъ онъ переходитъ отъ одного предпріятія къ другому; сперва издаетъ «Московскій Журналъ», потомъ литературный сборникъ «Аглаю», далѣе первый русскій альманахъ «Аониды», затѣмъ «Пантеонъ иностранной словесности» и, наконецъ, «Вѣстникъ Европы». Но эта разнообразная и нѣсколько суетливая дѣятельность не удовлетворяетъ его созрѣвшаго таланта; онъ чувствуетъ потребность предпринять такой трудъ, который бы наполнялъ всю его жизнь, создать что-нибудь цѣлое, монументальное; онъ берется за русскую исторію и неутомимо работаетъ надъ нею 23 года, до самой смерти своей.

Періодъ полнаго развитія литературной дѣятельности Карамзина — двѣнадцать лѣтъ отъ возвращенія его изъ чужихъ краевъ (1790 г.) до назначенія его исторіографомъ (1803) — представляетъ особенную занимательность не только по разнообразію и достоинству тогдашнихъ произведеній его, но и по дѣйствію, какое они производили на современное общество. Притомъ этотъ періодъ еще далеко не вполнѣ изученъ, и при внимательномъ разсмотрѣніи журнальныхъ трудовъ Карамзина, въ нихъ открываются новыя, еще никѣмъ не тронутыя стороны.

Обращаясь къ этому періоду, необходимо прежде всего остановиться на путешествіи Карамзина по Европѣ 1789 и 1790 гг., такъ какъ оно имѣло великое значеніе для всей послѣдующей его дѣятельности. Пламенное желаніе побывать въ чужихъ краяхъ естественно проистекало изъ его обширной начитанности. Онъ жаждалъ новыхъ впечатлѣній, новыхъ идей и познаній; но особенно хотѣлось ему видѣть писателей, *которые были ему уже извѣстны и дороги по своимъ сочиненіямъ*. Такимъ образомъ, непосредственное, живое знакомство съ иностранными литературами составляло главную задачу его путешествія. Полтора года, проведенные имъ за границей, должны были неизмѣримо подвинуть его во всемъ духовномъ его развитіи. Сколько новыхъ идей долженъ онъ былъ почерпнуть изъ однихъ бесѣдъ съ лучшими умами Европы! Все видѣнное и слышанное онъ усвоивалъ себѣ тѣмъ прочнѣе, что отдавалъ соотечественникамъ подробный отчетъ въ своихъ впечатлѣніяхъ и умственныхъ пріобрѣтеніяхъ. Путевые разсказы его, писанные серебрянымъ перомъ (это не фигура, а фактъ, имъ самимъ отмѣченный), не могли остаться безъ великой пользы для него самого. Обстоятельство, что первымъ значительнымъ трудомъ его были пріятельскія письма, безъ сомнѣнія, много способствовало къ уясненію его взгляда на русскую прозу. Они установили его слогъ, они довершили его отчужденіе отъ тяжелаго книжнаго языка большей части его предшественниковъ. «Письма русскаго путешественника» можно назвать явленіемъ неожиданнымъ въ тогдашней нашей литературѣ. Они, въ началѣ послѣдняго десятилѣтія прошлаго вѣка, вдругъ представили свѣту молодого русскаго съ европейскимъ образованіемъ, съ мыслью зрѣлой,

съ тонкнмъ эстетическимъ чувствомъ, съ такимъ знаніемъ новѣйшихъ языковъ и литературъ, которое даже и въ западной Европѣ было бы необыкновенно. И этотъ молодой человѣкъ писалъ уже языкомъ, какимъ теперь пишемъ всѣ мы, но который тогда съ удивленіемъ услышали въ первый разъ. Всѣ разсказы его о чужихъ краяхъ были такъ разнообразны, увлекательны, дѣльны, что ихъ еще и доселѣ можно читать съ наслажденіемъ. Понятно, какую массу свѣдѣній эти письма вдругъ распространили въ русскомъ обществѣ, сколько они возбудили любознательности, желанія ближе ознакомиться съ выведенными передъ читателемъ литературными знаменитостями и ихъ произведеніями. Наши критики 1840-хъ и 50-хъ годовъ не разъ упрекали Карамзина въ томъ, что онъ, путешествуя по Европѣ, не довольно обращалъ вниманія на ея политическое состояніе, слишкомъ мало интересовался общественными вопросами. Но, чтобы понять всю неосновательность такого упрека, довольно вспомнить его собственное свидѣтельство (въ объявленіи о «Московскомъ Журналѣ»), что онъ въ чужихъ краяхъ «вниманіе свое посвящалъ натурѣ и человѣку преимущественно передъ всѣмъ прочимъ»: ему было тогда не болѣе 24 лѣтъ; а въ этомъ возрастѣ человѣкъ рѣдко бываетъ политикомъ; къ тому же въ тогдашнемъ, и особенно русскомъ обществѣ, политическій интересъ не былъ еще такъ возбужденъ, какъ впослѣдствіи. Неподдѣльный юношескій жаръ, энтузіазмъ къ красотамъ природы и искусства, ко всему чисто-человѣческому проникаютъ «Письма русскаго путешественника» и были, конечно, одною изъ главныхъ причинъ ихъ необыкновеннаго успѣха. Все это, вмѣстѣ съ выдающеюся въ нихъ занимательною личностью самого автора, вдругъ поставило его высоко въ общественномъ мнѣніи, дало ему извѣстность и славу.

Въ первый разъ эти письма читались въ «Московскомъ Журналѣ», гдѣ Карамзинъ печаталъ ихъ постоянно въ теченіе двухъ лѣтъ, т.-е. во все продолженіе этого изданія. «Московскій Журналъ» былъ задуманъ имъ при самомъ возвращеніи его въ Россію. «Журналъ выдавать не шутка, — говорилъ онъ, — однакожъ чего не дѣлаетъ наука и прилежность?» Прежде всего онъ обратился къ извѣстнѣйшимъ русскимъ писателямъ съ просьбою принять участіе въ его изданіи. Въ бумагахъ Державина сохранилось письмо, писанное къ нему съ этой цѣлью Карамзинымъ, который съ нимъ только что познакомился, чрезъ посредство Дмитріева, въ Петербургѣ, возвращаясь изъ Лондона въ Москву. Въ объявленіи о своемъ журналѣ онъ назвалъ Державина, и только его, какъ главнаго своего сотрудника: «Первый нашъ поэтъ (было тутъ сказано) — нужно ли именовать его? — обѣщалъ украшать листы мои плодами вдохновенной своей музы. Кто не узнаетъ пѣвца мудрой Фелицы?»

Дѣйствительно, Державинъ, вмѣстѣ съ Дмитріевымъ, сдѣлался однимъ изъ самыхъ усердныхъ вкладчиковъ въ «Московскій Журналъ» по отдѣлу поэзіи, въ которомъ, сверхъ того, стали являться

стихи Хераскова, Нелединскаго-Мелецкаго, Львовыхъ, Капниста и другихъ. Не такъ легко было найти помощниковъ по другимъ частямъ журнала, и Карамзину пришлось почти одному наполнять всѣ его книжки, что требовало не мало труда, хотя каждая изъ нихъ заключала въ себѣ всего страницъ 100 небольшого формата. Въ выполненіи своей задачи Карамзинъ показалъ много искусства, такта, пониманія потребностей современной публики; главнымъ правиломъ поставилъ онъ себѣ занимательность и разнообразіе содержанія. Значительную долю журнала занимали переводы изъ извѣстнѣйшихъ въ то время писателей французскихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ: изъ Мармонтеля, Флоріана, Граве, Морица, Стерна. Сверхъ того Карамзинъ познакомилъ русскую публику съ Оссіаномъ, пѣсни котораго въ нѣмецкомъ переводѣ пріобрѣлъ онъ въ Лейпцигѣ, также съ индійскою драмою «Саконталой» и съ мнѣніемъ о ней Гёте. Большую цѣну придавалъ онъ біографіи славныхъ новыхъ писателей и напечаталъ, между прочимъ, статьи о любимыхъ имъ поэтахъ: Клопштокѣ, Виландѣ и Геснерѣ. Собственно говоря, въ «Московскомъ Журналѣ» не было такъ называемыхъ нынѣ отдѣловъ: статьи, по большей части, коротенькія, слѣдовали одна за другой безъ всякаго строгаго порядка; однакожъ, согласно съ своей программой, журналъ начинался обыкновенно стихами, потомъ шла изящная проза, далѣе — смѣсь, т.-е. анекдоты, выбранные изъ иностранныхъ журналовъ; въ концѣ же помѣщались разборы театральныхъ представленій въ Москвѣ и въ Парижѣ и рецензіи новыхъ книгъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

Приписываемая Карамзину уклончивость въ критикѣ относится собственно къ позднѣйшему періоду его журнальной дѣятельности. Въ «Московскомъ Журналѣ» онъ, несмотря на свой миролюбивый характеръ, постоянно помѣщалъ критическія статьи, въ которыхъ безъ околичностей высказывалъ правду. Уже въ объявленіи объ этомъ изданіи было сказано: «Хорошее и худое замѣчаемо будетъ безпристрастно. Кто не признается, что до сего времени весьма немногія книги были у насъ надлежащимъ образомъ критикованы?» И дѣйствительно, въ «Московскомъ Журналѣ» Карамзинъ обнаружилъ большую критическую способность. Тутъ, между прочимъ, разобраны: «Кадмъ и Гармонія» Хераскова, «Энеида», вывороченная наизнанку Осиповымъ, также переводы: «Естественной исторіи» Бюффона, трудъ академиковъ Румовскаго и Лепехина, «Утопіи» Томаса Моруса, «Генріады» Вольтера, «Неистоваго Роланда» Аріоста, «Путешествія Анахарсиса» Бартельми и «Клариссы» Ричардсона. Въ отдѣлѣ, посвященномъ обзору театральныхъ представленій, разсмотрѣны, между прочимъ, «Эмилія Галотти» Лессинга, переведенная самимъ Карамзинымъ, и «Ненависть къ людямъ» Коцебу.

Почти всѣ эти рецензіи отличаются не только чрезвычайно мѣткими сужденіями, но и ироніей, впослѣдствіи столь чуждою характеру Карамзина. Такъ, въ разборѣ перевода англійской книги: «Опытъ нынѣшняго состоянія Швейцаріи», упрекая переводчика за то,

что онъ пользовался не послѣднимъ изданіемъ подлинника и не передалъ примѣчаній французскаго переводчика, Карамзинъ замѣчаетъ: «Надлежало бы примолвить, съ какого языка *переведено* сіе сочиненіе. Можно, кажется, безъ ошибки сказать, что оно переведено съ французскаго; но на что заставлять читателей угадывать? — Нѣкоторые изъ нашихъ писцовъ или писателей, или переводчиковъ — или какъ кому угодно будетъ назвать ихъ — поступаютъ еще болѣе непростительнѣйшимъ образомъ. Даря публику разными пьесами, не сказываютъ они, что сіи пьесы переведены съ иностранныхъ языковъ. Добродушный читатель принимаетъ ихъ за русскія сочиненія и часто дивится, какъ авторъ, умѣющій хорошо мыслить, такъ худо и неправильно изъясняется. Самая гражданская честность обязываетъ насъ не присвоивать себѣ ничего чужого: ни дѣлами, ни словами, ни молчаніемъ». Въ другой книжкѣ, разбирая появившуюся на русскомъ языкѣ 1-ю часть «Клариссы» Ричардсона, Карамзинъ говоритъ: «Всего труднѣе переводить романы, въ которыхъ слогъ составляетъ обыкновенно одно изъ главныхъ достоинствъ; но какая трудность устрашитъ русскаго! Онъ берется за чудотворное перо свое, и первая часть «Клариссы» готова! Указавъ потомъ на разныя погрѣшности въ языкѣ перевода, онъ прибавляетъ: «Такія ошибки совсѣмъ не простительны; и кто такъ переводитъ, тотъ портитъ и безобразитъ книги, и недостоинъ никакой пощады со стороны критики. Признаюсь читателю, — продолжаетъ рецензентъ, — что я на семъ мѣстѣ остановился и отослалъ книгу назадъ въ лавку съ желаніемъ, чтобы слѣдующія части совсѣмъ не выходили или гораздо, гораздо лучше переведены были». Рецензіи Карамзина любопытны еще и тѣмъ, что въ нихъ онъ высказалъ теоретически нѣкоторые взгляды свои на языкъ и слогъ. Между прочимъ, тутъ попадаются выходки противъ *славянщизны* или *славяномудрія*.

Въ концѣ перваго года «Московскаго Журнала» (ноябрь 1791) разобрана съ большою строгостью комедія Николева «Баловень», которая, по словамъ Карамзина, состоитъ болѣе изъ разговоровъ, нежели изъ дѣйствія. Приводя изъ нея нѣкоторыя «новости въ мысляхъ и выраженіяхъ», критикъ послѣ каждаго указаннаго мѣста повторяетъ: «но поэтъ пишетъ, какъ ему угодно». Далѣе замѣчено, что въ пьесѣ есть «*удивительныя* шутки насчетъ бѣдной грамматики: и глаголамъ, и падежамъ, и мѣстоименіямъ—однимъ словомъ, всему досталось». Разборъ кончается ироніею: «Пожелаемъ, чтобы сія пьеса была часто играема на московскомъ театрѣ къ радости всѣхъ любителей россійской Таліи». Изъ писемъ Карамзина къ Дмитріеву (стран. 24) мы узнаемъ, что Николевъ оскорбился этой рецензіей и собирался отвѣчать на нее.

Это былъ не единственный случай неудовольствія, возбужденнаго критикой «Московскаго Журнала». Въ январской книжкѣ 1792 года Подшиваловъ разсмотрѣлъ изданный Ѳ. Туманскимъ переводъ греческаго писателя *Палефата* (объясненія разныхъ древнихъ сказаній).

Обиженный переводчикъ прислалъ антикритику, на которую послѣдовало опять возраженіе Подшивалова. Въ этой полемикѣ для насъ особенно любопытны подстрочныя примѣчанія самого издателя, изъ которыхъ ясно виденъ его тогдашній взглядъ на критику. Такъ, слова Туманскаго: «Не судите, да не судимы будете», даютъ Карамзину поводъ замѣтить: «Неужели вы хотите, чтобы совсѣмъ не было критики? Что была нѣмецкая критика за тридцать лѣтъ передъ симъ, и что она теперь? и не строгая ли критика произвела отчасти то, что нѣмцы начали такъ хорошо писать?» Мы увидимъ, что впослѣдствіи Карамзинъ совершенно иначе смотрѣлъ на критику въ отношеніи къ русской литературѣ.

Въ «Московскомъ Журналѣ» онъ явился также поэтомъ и нувеллистомъ. Естественно, что въ молодости все вниманіе его было устремлено на такъ называемую изящную литературу: по своей впечатлительной природѣ, по всѣмъ своимъ стремленіямъ и вкусамъ, наконецъ, по связи съ Дмитріевымъ онъ не могъ не пристраститься къ стихотворству. Нельзя сказать, чтобы у него не было поэтическаго таланта, но ему недоставало воображенія и вымысла. Стихотворенія Карамзина представляютъ намъ въ особенности историческій и біографическій интересъ, какъ лѣтопись сердечной жизни глубоко искренняго человѣка; замѣчательно, что всякій разъ, когда онъ выражаетъ завѣтныя мысли свои, стихи его принимаютъ отпечатокъ одушевленія. Онъ самъ, въ позднѣйшую эпоху, сказалъ однажды:

Мнѣ сердце было Аполлономъ,

и этими словами можно охарактеризовать всю его поэзію, согрѣтую чувствомъ, но лишенную блеска и силы фантазіи. Обыкновенныя темы ея — любовь къ природѣ, къ сельской жизни, дружба, кротость, чувствительность, меланхолія, пренебреженіе къ чинамъ и богатствамъ, мечта о безсмертіи въ потомствѣ.

Еще до своего путешествія Карамзинъ испытывалъ свои силы и въ повѣстяхъ; мы знаемъ изъ «Писемъ русскаго путешественника», что онъ, между прочимъ, началъ когда-то писать романъ, который, по господствовавшему тогда обычаю, долженъ былъ вести читателя изъ одной страны въ другую: «Я хотѣлъ, — говоритъ онъ, — въ воображеніи объѣздить тѣ земли, по которымъ теперь ѣхалъ». Въ «Московскомъ Журналѣ» повѣсти его начинаются особенно со втораго года, въ серединѣ котораго явилась «Бѣдная Лиза», а позже «Наталья боярская дочь». Историческое значеніе этихъ повѣстей и степень ихъ достоинства по отношенію къ нынѣшнимъ требованіямъ искусства уже достаточно оцѣнены. Во всѣхъ ихъ вымыселъ чрезвычайно простъ, даже бѣденъ, нѣтъ ни характеровъ ни національнаго колорита. Дара художественнаго творчества у Карамзина не было; но онъ обладалъ въ высшей степени даромъ пластическаго употребленія языка, что, въ соединеніи съ живою воспріимчивостью

и сердечною теплотою, съ образованнымъ умомъ и большою начитанностью, доставило его повѣстямъ небывалый успѣхъ.

Съ «Московскимъ Журналомъ» только начиналась извѣстность Карамзина, и потому не удивительно, что въ первый годъ число подписчиковъ его не превышало 300, такъ что ими едва оплачивались типографскія издержки; на сколько эта цифра возросла во второй годѣ, неизвѣстно; вѣроятно, однакоже, что приращеніе было незначительно. Между тѣмъ срочность многообразной и сложной работы тяготила Карамзина, и онъ рѣшился оставить журналъ, съ тѣмъ чтобы, вмѣсто его, исподволь выпускать небольшіе литературные сборники. Въ 1794 году вышла «Аглая» — книжка, которая опять почти вся состояла изъ собственныхъ трудовъ его, но тѣмъ особенно отличалась, что въ ней не было переводовъ. Вторая ея книжка (1795) была посвящена Настасьѣ Ивановнѣ Плещеевой, уже и прежде не разъ являвшейся въ мелкихъ сочиненіяхъ Карамзина подъ именемъ Аглаи. Давнишняя дружба соединяла его съ домомъ Плещеевыхъ. Къ нимъ писалъ онъ и свои письма изъ-за границы. Въ «Аглаѣ» видны плоды его тогдашнихъ размышленій и чтеній. Его занимала въ то время судьба человѣческихъ обществъ, вопросъ о счастіи человѣка, о пользѣ образованія, о значеніи знанія и искусства. Замѣчая, что просвѣщенію, вслѣдствіе политическихъ неустройствъ на Западѣ, угрожаетъ опасность въ Россіи, онъ опровергаетъ ученіе Руссо о вредѣ наукъ, доказываетъ ихъ необходимость и безусловно благотворное дѣйствіе. Онъ сѣтуетъ о событіяхъ французской революціи, объ обманчивости успѣховъ XVIII вѣка и выражаетъ твердую надежду на лучшія времена, на XIX столѣтіе.

Тогда же онъ рѣшился издать отдѣльною книжкой свои мелкія сочиненія, напечатанныя въ «Московскомъ Журналѣ». Они явились въ 1794 году подъ заглавіемъ «Мои бездѣлки», и съ этого-то времени началась настоящая слава Карамзина. Есть люди, помнящіе, съ какимъ восторгомъ была принята эта книжка не только въ столицахъ, но и въ провинціи. Отъ нея повѣяло какъ-будто новымъ воздухомъ въ умственной жизни русскихъ. Карамзинъ открылъ имъ новый міръ понятій, ощущеній и духовныхъ потребностей, указалъ имъ новый источникъ наслажденій въ созерцаніи природы, въ чтеніи, въ умственныхъ занятіяхъ. Молодые люди твердили наизусть отрывки изъ его повѣстей; по свидѣтельству Ѳ. Н. Глинки, питомцы сухопутнаго кадетскаго корпуса мечтали, какъ бы пойти пѣшкомъ въ Москву поклониться очаровавшему ихъ писателю.

Не малую долю въ этомъ необыкновенномъ дѣйствіи имѣлъ поражавшій всѣхъ языкъ его сочиненій. Хотя уже и прежде Карамзина русская письменная рѣчь постепенно очищалась, но писавшіе до него не отдавали себѣ въ томъ отчета и безсознательно слѣдовали только за успѣхами времени. Карамзинъ первый разработалъ литературный языкъ съ полнымъ сознаніемъ того, къ чему стремился. У другихъ, еще и въ его время, языкъ представляетъ хаотическую смѣсь разныхъ

элементовъ; прежніе писатели, не исключая и Фонвизина, держались еще теоріи Ломоносова и позволяли себѣ простой, или низкій, слогъ развѣ только въ комедіяхъ, дружескихъ письмахъ и «описаніяхъ обыкновенныхъ дѣлъ». Карамзинъ съ молоду понялъ, что простота и естественность рѣчи составляютъ первое условіе всѣхъ родовъ сочиненій. Еще до своего путешествія онъ былъ недоволенъ господствовавшимъ тогда литературнымъ языкомъ; это можно заключить уже изъ писемъ Петрова, въ которыхъ есть насмѣшки надъ «русско-славянскимъ языкомъ и долгосложно-протяжно-парящими словами» (1785 г.). Впослѣдствіи Карамзинъ называлъ Петрова своимъ учителемъ въ знаніи русскаго языка, и нѣтъ сомнѣнія, что послѣдній дѣйствительно имѣлъ участіе въ установленіи понятій своего друга по этому предмету. Изъ позднѣйшихъ словъ самого Карамзина мы знаемъ, что онъ въ письменномъ употребленіи языка главною задачею считалъ «пріятность слога». Въ «Московскомъ Журналѣ», давая совѣты дурнымъ писателямъ, исправляя ихъ обороты, онъ осуждалъ ихъ любовь къ *славяномудрію.* При изданіи же «Аглаи» онъ сказалъ: «я желалъ бы писать не такъ, какъ у насъ по большей части пишутъ». Все это показываетъ, что Карамзинъ вполнѣ сознавалъ, что дѣлалъ, когда сталъ писать по-своему. Что касается до началъ, которыхъ онъ при этомъ держался, то къ уразумѣнію ихъ намъ опять даютъ ключъ собственныя слова его: «Русскій кандидатъ авторства, недовольный книгами, долженъ закрыть ихъ и слушать вокругъ себя разговоры, чтобы совершеннѣе узнать языкъ. Тутъ новая бѣда: въ лучшихъ домахъ говорятъ у насъ болѣе по-французски... Что жъ остается дѣлать автору? *выдумывать, сочинять выраженія;* угадывать *лучшій выборъ* словъ; давать старымъ нѣкоторый *новый смыслъ,* предлагать ихъ въ *новой связи,* но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть отъ нихъ необыкновенность выраженій». Эти строки отчасти объясняютъ намъ тайну искусства, съ которымъ Карамзинъ очаровывалъ современниковъ своею рѣчью. По этому можно судить, какого труда стоило ему выработать свою прозу и съ какимъ тактомъ онъ угадывалъ духъ языка, вводя слова и выраженія, которыя незамѣтно входили въ литературный языкъ. Прибавлю, что, вопреки довольно общему взгляду, уже въ первыхъ сочиненіяхъ Карамзина, по возвращеніи его изъ-за границы, почти вовсе нѣтъ галлицизмовъ; то, что онъ писалъ тогда, мало устарѣло до сихъ поръ и, за исключеніемъ весьма немногихъ словъ и формъ языка, могло бы быть написано еще и теперь. Такъ глубоко понималъ онъ русскій языкъ, такъ сознавалъ его требованія въ расположеніи словъ, которое, какъ онъ говорилъ, имѣетъ свои законы: смѣло можно сказать, что послѣ Ломоносова у насъ не было писателя, который бы зналъ языкъ въ такомъ совершенствѣ, какъ Карамзинъ. Слабую сторону его прозы составляетъ только нѣкоторая искусственность въ строеніи періодовъ, особливо въ первыхъ томахъ его «Исторіи»; но это уже недостатокъ слога, а не языка.

Отказываясь отъ «Московскаго Журнала», Карамзинъ въ прощаніи съ публикою выразилъ, между прочимъ, важное намѣреніе. «Въ тишинѣ уединенія, — сказалъ онъ, — стану разбирать архивы древнихъ литературъ, которыя (въ чемъ признаюсь охотно) не такъ мнѣ извѣстны, какъ новыя; буду пользоваться сокровищами древности, чтобы приняться за такой трудъ, который бы могъ остаться памятникомъ души и сердца моего». Древніе языки издавна привлекали Карамзина; незадолго до своего путешествія онъ приступилъ было къ изученію греческаго, пробовалъ переводить греческихъ поэтовъ и писать стихи древнимъ размѣромъ. Но ему не суждено было восполнить недостатокъ классическаго образованія, пользу котораго онъ ясно сознавалъ, которое, можетъ-быть, предохранило бы его отъ излишняго перевѣса чувствительности и было бы особенно важно для его исторической задачи. «Пантеонъ иностранной словесности», изданный имъ въ царствованіе императора Павла, былъ, какъ кажется, въ связи съ заявленнымъ планомъ Карамзина изучать древнихъ. Это изданіе представляетъ, дѣйствительно, нѣсколько отрывковъ изъ римскихъ и греческихъ писателей — Цицерона, Тацита, Платона; но это, повидимому, переводы не съ подлинниковъ; притомъ дальнѣйшимъ заимствованіямъ его изъ древнихъ мѣшала цензура, крайне боязливая при императорѣ Павлѣ, такъ что Карамзинъ въ это время не разъ выражалъ намѣреніе совершенно оставить литературу.

Вообще, въ продолженіе восьми лѣтъ отъ прекращенія «Московскаго Журнала» до конца столѣтія онъ сравнительно писалъ немного, отвлекаемый отъ этой дѣятельности не одною цензурною строгостью, но также разсѣянною жизнью, слабымъ здоровьемъ и сердечными дѣлами, сильно волновавшими его пылкую душу. Между тѣмъ, однакожъ, онъ въ 1797 году страстно предался изученію италіанскаго языка и, по просьбѣ Державина, напечаталъ томъ его сочиненій. Замѣчательно, что послѣ этого онъ думалъ-было написать два похвальныя слова: одно Петру Великому, а другое Ломоносову, но не нашелъ времени для приготовительныхъ къ тому занятій, въ числѣ которыхъ считалъ особенно нужнымъ прочитать многотомный сборникъ Голикова. Въ 1799 году, издавъ послѣднюю книжку своего альманаха «Аонидъ», онъ почувствовалъ охоту писать болѣе прозою, «чтобы не загрубѣть умомъ», какъ выразился въ письмахъ къ Дмитріеву. Въ то же время умножилъ онъ свою библіотеку философскими и историческими сочиненіями и пристально занялся русскими лѣтописями. «Я по уши влѣзъ въ русскую исторію: сплю и вижу Никона съ Несторомъ». Тогда же обратился онъ къ исторіи русской литературы, взявшись составить текстъ къ предпринятому Бекетовымъ изданію портретовъ писателей. Такъ совершался мало-по-малу переходъ его къ тому серіозному направленію, которое вскорѣ обнаружилось въ «Вѣстникѣ Европы» и, наконецъ, привело его къ громадному предпріятію. XVIII столѣтіе кончилось; пришелъ, говоря словами поэта, «вѣкъ новый, царь младой, прекрасный», и для

Карамзина настала самая многозначительная эпоха для его дѣятельности. Окрыленный пробудившимся внезапно новымъ духомъ государственнаго бытія Россіи, онъ понялъ, какъ полезенъ можетъ быть журналъ, который будетъ выражать взгляды и потребности лучшихъ умовъ тогдашняго общества. Къ этому присоединилось еще и другое побужденіе. Женившись въ 1801 году, онъ видѣлъ въ изданіи журнала средство обезпечить матеріальное существованіе своей семьи. Какъ выросъ Карамзинъ со времени перваго своего предпріятія въ этомъ родѣ! Самое названіе, придуманное имъ для новаго журнала, показываетъ, какъ широко понималъ онъ свою задачу: черезъ его посредство русскіе должны были знакомиться съ европейской литературой и политикой. Съ этимъ намѣреніемъ онъ выписалъ двѣнадцать англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ журналовъ: «лучшіе авторы Европы, — говорилъ онъ, — должны быть въ нѣкоторомъ смыслѣ нашими *сотрудниками* для удовольствія русской публики»; но вмѣстѣ съ тѣмъ, однакожъ, онъ желалъ, чтобы оригинальныя сочиненія «могли безъ стыда для нашей литературы мѣшаться съ произведеніями иностранныхъ авторовъ».

Съ начала 1802 года «Вѣстникъ Европы» сталъ появляться двумя книжками въ мѣсяцъ, и въ каждой было постоянно два отдѣла: литературный и политическій. Послѣдній подраздѣлялся на общее обозрѣніе и на извѣстія и замѣчанія. Въ обозрѣніяхъ Карамзинъ часто излагалъ собственныя свои соображенія о тогдашнихъ событіяхъ, основанныя на внимательномъ изученіи современной политики, особливо по англійскимъ органамъ ея. Вторая часть политическаго отдѣла содержала извѣстія объ особыхъ происшествіяхъ и случаяхъ, анекдоты и т. п. и соотвѣтствовала тому, что въ литературномъ отдѣлѣ помѣщалось подъ названіемъ смѣси.

Настоящими перлами «Вѣстника Европы» были оригинальныя статьи самого издателя: въ каждой книжкѣ являлась, по крайней мѣрѣ, одна капитальная статья его, нерѣдко и болѣе; но онъ любилъ скрывать имя автора ихъ, подписываясь обыкновенно, какъ онъ уже подписывался и въ «Московскомъ Журналѣ», разными загадочными буквами, напр. Б. Ф., Ф. Ц., О. О. Статьи Карамзина въ «Вѣстникѣ Европы» такъ многочисленны и по своему содержанію такъ важны, что подробный разборъ ихъ потребовалъ бы отдѣльнаго труда. Мы можемъ обозрѣть ихъ только по главнымъ выраженнымъ въ нихъ идеямъ.

Характеромъ своимъ большая часть ихъ напоминаетъ нынѣшнія, такъ называемыя, передовыя статьи. Въ нихъ Карамзинъ является горячимъ, просвѣщеннымъ патріотомъ и затрогиваетъ важнѣйшіе общественные вопросы, задачи внутренней и внѣшней политики, преобразованія императора Александра I и отношенія Россіи къ Наполеону.

Предметы, особенно обращавшіе на себя вниманіе Карамзина, были: воспитаніе юношества и вообще просвѣщеніе русскаго народа, возвышеніе національной гордости, пробужденіе самостоятельности

въ общественной жизни. Посмотримъ, какія идеи болѣе всего занимали его, какіе, — выражаясь нынѣшнимъ языкомъ, — онъ проводилъ взгляды. Но, зная возвышенный образъ мыслей Карамзина, его любовь къ человѣчеству и къ своему народу, мы, на самомъ первомъ шагу знакомства съ его воззрѣніями, можемъ впасть въ недоумѣніе передъ взглядомъ его на крѣпостное состояніе. Подобно многимъ лучшимъ людямъ того времени, онъ считалъ освобожденіе крестьянъ мѣрою преждевременною и опасною. Въ «Письмѣ сельскаго жителя» онъ представляетъ молодого человѣка, который, отдавъ свою землю крестьянамъ, довольствовался самымъ умѣреннымъ оброкомъ, предоставилъ имъ самимъ выбирать себѣ начальника, — и что же? Воля обратилась для нихъ въ величайшее зло, т.-е. въ волю лѣниться и предаваться гнусному пороку пьянства. По мнѣнію Карамзина, помѣщикъ обязанъ удалить отъ крестьянъ всякое искушеніе этого порока, почему онъ возстаетъ особенно противъ заведенія питейныхъ домовъ и винокуренныхъ заводовъ, указывая въ русской исторіи на административныя мѣры для ограниченія пьянства. Рядомъ съ трезвостью онъ считаетъ важнымъ средствомъ улучшить положеніе крестьянъ возбужденіе въ нихъ трудолюбія или, какъ онъ выражается *работливости*. «Иностранцы, — замѣчаетъ онъ, — напрасно приписываютъ рабству лѣность русскихъ земледѣльцевъ: они лѣнивы отъ природы, отъ привычки, отъ незнанія выгодъ трудолюбія». Самыя существенныя условія благосостоянія крестьянъ онъ видитъ въ добрыхъ помѣщикахъ, въ христіанскомъ обращеніи съ народомъ, въ образованіи: «просвѣщеніе, по его словамъ, истребляетъ злоупотребленія городской власти, которая и по самымъ нашимъ законамъ не есть тиранская и неограниченная». Впрочемъ, Карамзинъ не отвергалъ безусловно благодѣтельныхъ послѣдствій свободы крестьянъ: онъ предусматривалъ печальные плоды ея только въ ближайшемъ будущемъ и говорилъ: «Не знаю, что вышло бы черезъ 50 или 100 лѣтъ: время, конечно, имѣетъ благотворныя дѣйствія; но первые годы, безъ сомнѣнія, поколебали бы систему мудрыхъ англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ головъ». Впослѣдствіи Карамзинъ еще опредѣленнѣе выразилъ свой взглядъ на возможное въ будущемъ освобожденіе крестьянъ; но для этой мѣры онъ находилъ необходимымъ приготовленіе народа въ нравственномъ отношеніи и опасался послѣдствій ея при существованіи откуповъ и недобросовѣстности судей. Читая мнѣнія, высказанныя Карамзинымъ по этому предмету въ «Вѣстникѣ Европы», мы не должны забывать, что онъ произносилъ ихъ за 100 слишкомъ лѣтъ тому назадъ; было ли бы тогда своевременно великое дѣло, совершившееся на нашихъ глазахъ, — вопросъ, который дѣйствительно рѣшить не легко. «Время,» — прибавилъ Карамзинъ, — подвигаетъ впередъ разумъ народовъ, но тихо и медленно: бѣда законодателю облетать его». Извѣстно, что на отмѣну крѣпостного права точно такъ же смотрѣли графъ Растопчинъ, И. В. Лопухинъ, Державинъ, Мордвиновъ и другіе. Да и сама Ека-

терина II, по крайней мѣрѣ, въ концѣ своего царствованія, находила, «что лучше судьбы нашихъ крестьянъ у хорошаго помѣщика нѣтъ во всей вселенной».

Изъ приведенныхъ замѣчаній Карамзина можно уже заключить, какъ онъ долженъ былъ сочувствовать мѣрамъ Александра I для народнаго образованія. Дѣйствительно, онъ встрѣтилъ ихъ съ восторгомъ, и Александръ предсталъ ему идеаломъ монарха. Нравственное образованіе, по понятіямъ Карамзина, есть корень государственнаго величія; въ этомъ убѣжденіи произнесъ онъ незабвенныя слова: «Въ XIX вѣкѣ одинъ тотъ народъ можетъ быть великимъ и почтеннымъ, который благородными искусствами, литературою и науками способствуетъ успѣхамъ человѣчества». Вотъ почему въ изданномъ при Александрѣ всеобщемъ планѣ народнаго образованія Карамзинъ увидѣлъ зорю новой для Россіи эпохи. Онъ любилъ утверждать, что истинное просвѣщеніе не несовмѣстно съ скромными трудами земледѣльца, и въ доказательство того приводилъ крестьянъ англійскихъ, швейцарскихъ и нѣмецкихъ, у которыхъ самъ онъ видѣлъ библіотеки, но которые, однакожъ, пашутъ землю и трудами рукъ своихъ богатѣютъ. «Учрежденіе сельскихъ школъ, — восклицаетъ Карамзинъ, — несравненно полезнѣе всѣхъ лицеевъ, будучи истиннымъ народнымъ учрежденіемъ, истиннымъ основаніемъ государственнаго просвѣщенія. Предметъ ихъ ученія есть важнѣйшій въ глазахъ философа. Между людьми, которые умѣютъ только читать и писать, и совершенно безграмотными, — объяснялъ онъ далѣе, — гораздо болѣе разстоянія, нежели между неучеными и первыми метафизиками въ свѣтѣ». Это убѣжденіе въ безусловной пользѣ грамотности онъ сохранилъ во всю жизнь и еще въ старости спорилъ съ Шишковымъ, который доказывалъ, что обучать весь народъ опасно. Одобряя мысль соединить съ сельскимъ обученіемъ грамотѣ начала простой и ясной морали, Карамзинъ совѣтовалъ составить для приходскихъ училищъ нравственный катихизисъ, въ которомъ объяснились бы обязанности поселянина, необходимыя для его счастья. Соглашаясь также съ предложеніемъ поручить должность сельскихъ учителей духовнымъ пастырямъ, онъ считалъ нужнымъ прибѣгнуть вначалѣ къ мѣрамъ кроткаго понужденія, которыя, какъ онъ надѣялся, со временемъ уступятъ дѣйствію искренней охоты. Существенную важность въ дѣлѣ народнаго образованія придавалъ онъ сельской проповѣди, мечтая о дружескомъ сближеніи помѣщиковъ съ священниками, о частыхъ между ними бесѣдахъ въ гостепріимномъ барскомъ домѣ, о томъ, чтобы духовныя лица обладали, между прочимъ, познаніями въ естественныхъ наукахъ — въ физикѣ, въ ботаникѣ и, особенно, въ медицинѣ.

Что касается до воспитанія русскихъ дворянъ, то Карамзинъ скорбѣлъ, что они учась не доучиваются и, по большей части, учатся только до 15 лѣтъ, а тамъ спѣшатъ въ службу искать чиновъ; что въ Россіи дворяне чуждаются ученаго поприща и не поступаютъ на

профессорскія каѳедры. Радуясь правамъ, дарованнымъ новыми постановленіями университетскому совѣту, онъ, съ другой стороны, старался поднять въ глазахъ всѣхъ сословій значеніе народнаго учителя. Въ особенности заботила его мысль, что большую часть наставниковъ въ Россіи составляютъ иностранцы, и онъ не разъ предлагалъ свои соображенія о замѣнѣ ихъ природными русскими: «Екатерина, — говорилъ онъ, — уже думала о томъ и хотѣла, чтобы въ кадетскомъ корпусѣ нарочно для сего званія воспитывались дѣти мѣщанъ: нельзя ли возобновить мысль ея, нельзя ли сравнять выгоды учительскаго званія съ выгодами чиновъ? или нельзя ли завести особенной педагогической школы, для которой россійское дворянство въ нынѣшнія счастливыя времена не пожалѣло бы денегъ?... У насъ не будетъ совершеннаго моральнаго воспитанія, пока не будетъ русскихъ хорошихъ учителей... Никогда иностранецъ не пойметъ нашего народнаго характера и, слѣдственно, не можетъ сообразоваться съ нимъ въ воспитаніи. Иностранцы весьма рѣдко отдаютъ намъ справедливость: мы ихъ ласкаемъ награждаемъ, а они, выѣхавъ за курляндскій шлагбаумъ, смѣются надъ нами или бранятъ насъ... и печатаютъ нелѣпости о русскихъ».

Въ приведенныхъ предложеніяхъ Карамзина мы видимъ первыя черты идей, послужившихъ основаніемъ тѣхъ мѣръ, которыя впослѣдствіи были приняты правительствомъ.

Позже онъ подавалъ мысль имѣть въ каждомъ учебномъ округѣ отъ 300 до 500 воспитанниковъ на казенномъ или общественномъ содержаніи, для замѣщенія достойнѣйшими изъ нихъ учительскихъ должностей; въ особенности совѣтовалъ онъ примѣнить такой порядокъ въ московской гимназіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ Карамзинъ возбуждалъ дворянъ къ пожертвованіямъ на этотъ предметъ, выражая желаніе, чтобы каждый богатый человѣкъ воспитывалъ на свой счетъ при университетѣ отъ 10 до 20 молодыхъ людей, полагая на каждаго по 150 рублей.

Стараясь устранить иноземцевъ изъ русскаго воспитанія, Карамзинъ энергически настаивалъ на непосредственномъ и дѣятельномъ участіи самихъ родителей въ образованіи дѣтей и сильно вооружался противъ отправленія послѣднихъ для обученія въ чужіе края: всякій долженъ расти въ своемъ отечествѣ и заранѣе привыкать къ его климату, обычаямъ, характеру жителей, образу жизни и правленія; въ одной Россіи можно сдѣлаться хорошимъ русскимъ. При этомъ онъ не отвергалъ, однакожъ, надобности учиться иностраннымъ языкамъ, но находилъ, что ихъ можно достаточно узнать, не выѣзжая изъ Россіи: «можно ли сравнять выгоду хорошаго французскаго произношенія съ униженіемъ народной гордости? ибо народъ унижается, когда для воспитанія имѣетъ нужду въ чужомъ разумѣ». Впрочемъ, Карамзинъ признавалъ пользу отправленія за границу молодого человѣка, уже основательно подготовленнаго, съ тѣмъ, чтобы онъ могъ узнать европейскіе народы и почувствовать даже самое

ихъ превосходство во многихъ отношеніяхъ. Такое сознаніе, въ его глазахъ, не противорѣчитъ народному славолюбію, которое онъ считалъ душою патріотизма. «Мнѣ кажется,—говорилъ онъ,—что мы излишне смиренны въ мысляхъ о народномъ своемъ достоинствѣ, а смиреніе въ политикѣ вредно. Кто самого себя не уважаетъ, того и другіе уважать не будутъ... Станемъ смѣло на ряду съ другими народами, скажемъ ясно свое имя и повторимъ его съ благородною гордостію».

Карамзинъ вполнѣ понималъ уже необходимость народной самостоятельности въ жизни и въ литературѣ: «какъ человѣкъ, такъ и народъ, — замѣчалъ онъ, — начинаетъ всегда подражаніемъ, но долженъ со временемъ быть самъ собою. Хорошо и должно учиться, но горе и человѣку и народу, который будетъ всегда ученикомъ!» Твердо вѣря въ будущее развитіе своего отечества, онъ говорилъ: «Мнѣ кажется, что я вижу, какъ народная гордость и славолюбіе возрастаютъ въ Россіи съ новыми поколѣніями». Но онъ понималъ также, что для полнаго образованія надобны вѣка, что Россіи предстоитъ еще много испытаній и борьбы, и въ этомъ смыслѣ заключалъ: «Если всѣ просвѣщенныя земли съ особеннымъ вниманіемъ смотрятъ на нашу имперію, то не одно любопытство рождаетъ его: Европа чувствуетъ, что собственный жребій ея зависитъ нѣкоторымъ образомъ отъ жребія Россіи, столь могущественной и великой».

Таковъ былъ взглядъ Карамзина, въ самомъ началѣ нынѣшняго столѣтія, на положеніе и потребности своей страны; такъ возбуждалъ онъ патріотизмъ своихъ согражданъ. Изъ всего приведеннаго мы видимъ, что главнымъ основаніемъ народнаго благосостоянія, главнымъ условіемъ успѣховъ Россіи въ ея государственномъ развитіи онъ считалъ просвѣщеніе и потому болѣе всего старался дѣйствовать словомъ на улучшеніе воспитанія и нравовъ. Не привожу многихъ другихъ, частныхъ воззрѣній его, напримѣръ о вредѣ господствующей любви къ роскоши, о судьбѣ, угрожающей въ недалекомъ будущемъ «турецкому колоссу», и прочее. Не касаюсь также собственно литературныхъ произведеній Карамзина въ «Вѣстникѣ Европы» ни историческихъ статей его, которыя являются уже блестящими плодами его новаго ученаго направленія и основательныхъ изслѣдованій.

Но въ этомъ журналѣ недоставало одного — критики. Карамзинъ находилъ, что она была роскошью въ нашей бѣдной литературѣ, что строгостью своею она можетъ убивать возникающіе таланты, что сильнѣе ея дѣйствуютъ образцы и примѣры, что, наконецъ, она должна выражаться развѣ похвалою хорошаго, но не осужденіемъ дурного. Главною причиной такого переворота во взглядѣ Карамзина на критику была, конечно, уже испытанная имъ истина, что критика раздражаетъ самолюбіе и производитъ разладъ между писателями. Достигнувъ большого вѣса въ литературѣ, вызвавъ толпу послѣдователей, онъ въ то же время нашелъ много враговъ и завистниковъ

и предвидѣлъ, что критика вовлекла бы его въ нескончаемую борьбу, противную его мягкому характеру, и онъ заранѣе уклонился отъ этой щекотливой обязанности журналиста.

Такимъ-то образомъ журнальная дѣятельность, въ окончательномъ итогѣ, не годилась для Карамзина, и не удивительно, что въ оба раза, когда онъ вступалъ на это поприще, онъ не могъ оставаться на немъ долѣе двухъ лѣтъ. Благодаря разнообразію своихъ способностей, онъ, однакожъ, съ честью прошелъ и этотъ путь. По успѣхамъ позднѣйшаго времени, его два періодическія изданія, конечно, могутъ считаться только начатками, но это такіе начатки, которые для журналистовъ всѣхъ временъ могутъ во многихъ отношеніяхъ служить образцами. Карамзинъ былъ тѣмъ журналистомъ-фениксомъ, на котораго Ломоносовъ указывалъ какъ на величайшую рѣдкость.

Въ концѣ своего журнальнаго поприща Карамзинъ принадлежалъ уже болѣе наукѣ, нежели публицистикѣ. Для того, чтобы отъ изданія «Вѣстника» перейти къ великому историческому труду и съ такою настойчивостью вести его, нужна была исполинская сила любви къ наукѣ и вѣра въ свое призваніе; нужна была и обширная подготовка, дѣйствительно пріобрѣтенная имъ, незамѣтно для свѣта, въ послѣднее десятилѣтіе. При всемъ томъ, онъ не могъ не понимать всей тяжести геркулесовской ноши, которую рѣшался поднять; онъ не могъ не понимать того, что понимали многіе, — что такое предпріятіе, въ обыкновенномъ порядкѣ вещей, требовало бы совокупнаго или даже послѣдовательнаго дѣйствія многихъ силъ. Еще въ «Московскомъ Журналѣ» его была напечатана статья профессора Барсова, который, предложивъ планъ предварительныхъ работъ для сочиненія русской исторіи, высказалъ, что не только самая эта исторія, но уже и собраніе и счисленіе матеріаловъ для нея можетъ быть приведено въ дѣйствіе не иначе, какъ обществомъ нѣсколькихъ ученыхъ и трудолюбивыхъ людей, при щедрыхъ пособіяхъ и награжденіяхъ. Но, понимая это, Карамзинъ, къ счастію, еще болѣе былъ убѣжденъ, какъ онъ писалъ къ Муравьеву, «что десять обществъ не сдѣлаютъ того, что сдѣлаетъ одинъ человѣкъ, совершенно посвятившій себя историческимъ предметамъ». Въ этой увѣренности Карамзинъ, счастливо поддержанный правительствомъ, съ жаромъ приступилъ къ выполненію своего предпріятія, и отдалъ одной идеѣ всю остальную жизнь свою, — почти четверть вѣка. Литература всѣхъ народовъ едва ли представляетъ много примѣровъ труда, который, въ данныхъ условіяхъ, былъ бы совершонъ съ такою настойчивостью и съ такимъ успѣхомъ. Пусть его исторія представляетъ свои слабыя стороны; пусть онъ въ пониманіи своей задачи не достигъ еще той высоты, на которую стала наука въ наше время; можетъ-быть, не вполнѣ обнималъ связь событій, не довольно глубоко проникалъ въ смыслъ явленій. Не забудемъ, что въ исторической литературѣ западной Европы тогда еще господствовали тѣ же взгляды, которыми онъ

руководствовался. Обратимъ вниманіе на изумительную основательность и добросовѣстность его изслѣдованій, на безконечную массу имъ собранныхъ и имъ же въ первый разъ разработанныхъ рукописныхъ матеріаловъ, на прекрасные пріемы его во всѣхъ подробностяхъ труда, наконецъ, на достоинство его исторической критики, хотя еще и несовершенной, однакожъ замѣчательно здоровой и многообъемлющей. Вѣрность и точность сообщаемыхъ имъ фактовъ, богатство, полнота и система его примѣчаній, художественное воплощеніе сухихъ лѣтописныхъ сказаній въ образы, по большей части, вѣрные дѣйствительности, всегда яркіе и полные жизненной теплоты, наконецъ, наглядность его изложенія не только въ разсказѣ, но и во внутреннемъ распорядкѣ, — все это ставитъ исторію Карамзина на такую высоту, съ которой не сведутъ ее никакіе послѣдующіе труды, и дѣлаетъ ее навсегда наобходимымъ пособіемъ всѣхъ русскихъ ученыхъ и писателей. Извѣстно, что до исторіи Карамзина никакая книга, а тѣмъ болѣе никакая серіозная и по цѣнѣ дорогая книга не имѣла въ Россіи такого блестящаго успѣха; первые восемь томовъ ея, напечатанные въ числѣ трехъ тысячъ экземпляровъ, разошлись менѣе чѣмъ въ одинъ мѣсяцъ. Но не многіе знаютъ, какое вниманіе эта книга обратила на себя въ Европѣ. Этимъ, она безъ сомнѣнія, была отчасти обязана любопытству, возбужденному въ народахъ великою ролью, какую играла Россія въ недавнихъ событіяхъ; но тѣмъ взыскательнѣе должны были сдѣлаться европейцы къ русскому историку. Тутъ представляется намъ опять явленіе небывалое: въ самое короткое время исторію Карамзина переводятъ на языки французскій, нѣмецкій и италіанскій; переводчики стараются даже перебить другъ друга. Въ лучшихъ европейскихъ журналахъ помѣщаются одобрительные разборы знаменитаго сочиненія. Скромный исторіографъ былъ еще прежде обрадованъ добрымъ мнѣніемъ о немъ нашего академика Круга, который признавался, что нашелъ его ученѣе, нежели воображалъ. Каково же было Карамзину читать отзывъ о своемъ трудѣ одного изъ первыхъ тогдашнихъ авторитетовъ въ исторіи? Профессоръ Геренъ, уже по введенію его призналъ въ немъ автора, много размышлявшаго не только о своемъ предметѣ, но также о самой сущности исторіи вообще, о ея достоинствѣ, ея цѣли и способѣ изображенія, — автора, проникнутаго величіемъ и достоинствомъ своего предмета. Въ своемъ разборѣ Геренъ восхищается, между прочимъ, примѣчаніями Карамзина и истинно нѣмецкимъ прилежаніемъ, съ какимъ онъ пользовался какъ всѣми источниками, такъ и произведеніями новѣйшихъ историковъ почти всѣхъ образованныхъ народовъ Европы; наконецъ, геттингенскій критикъ выражаетъ увѣренность, что Карамзинъ можетъ спокойно ожидать приговора потомства.

Такой же лестный пріемъ встрѣтила его исторія во Франціи. «Монитёръ» поставилъ ее на ряду съ классическими произведеніями, дѣлающими наиболѣе чести новѣйшей литературѣ. «Всегда основа-

тельныя сужденія, — замѣчаетъ французскій критикъ, — внушены автору здравою философіей и безпристрастіемъ; слогъ его важенъ, полонъ достоинства и дышитъ какой-то добросовѣстностью, какимъ-то національнымъ чувствомъ, обличающимъ въ историкѣ честнаго человѣка еще прежде ученаго». Тронутый теплою статьею «Монитёра», Карамзинъ писалъ къ Дмитріеву: «Этотъ академикъ посмотрѣлъ ко мнѣ въ душу; я услышалъ какой-то глухой голосъ потомства». Итакъ, вотъ судъ, какого нашъ историкъ желалъ себѣ отъ насъ, и мы, съ любовью памятуя нынѣ заслуги его, можемъ безъ лицепріятія подтвердить отзывъ просвѣщеннаго иноземца.

Съ того времени, какъ Карамзинъ приступилъ къ сочиненію исторіи, онъ уже не писалъ ничего чисто литературнаго и вообще не позволялъ себѣ уклоняться въ сторону отъ главной цѣли. Разъ только онъ отступилъ отъ этого правила довольно обширнымъ трудомъ, — своей знаменитой «Запиской о древней и новой Россіи», написанной имъ въ концѣ 1810 года, по вызову великой княгини Екатерины Павловны, и разсматривающей множество правительственныхъ вопросовъ, которые до сихъ поръ сохраняютъ всю свою важность для Россіи. Не считая себя вправѣ рѣшать, въ какой степени вѣрны всѣ изложенные здѣсь взгляды Карамзина, позволю себѣ выставить только то обстоятельство, что онъ, осуждая большую часть предпринятыхъ тогда реформъ, не становится однакожъ защитникомъ неподвижной старины; напротивъ, онъ находитъ недостаточнымъ измѣненіе однихъ формъ и названій и настаиваетъ на болѣе глубокихъ и существенныхъ преобразованіяхъ; вообще же, всего положительнѣе указываетъ онъ на необходимость самостоятельнаго развитія государственной жизни и требуетъ національной политики. Живя въ Москвѣ, вдали отъ центра дѣлъ, привыкнувъ мыслить и писать самобытно, онъ могъ выразить въ этой запискѣ только свои собственныя задушевныя убѣжденія, основанныя на многостороннемъ знаніи современныхъ обстоятельствъ, на многолѣтнемъ изученіи русской исторіи и на горячей любви къ отечеству, заставлявшей его желать такихъ мѣръ, которыя клонились бы ко благу всей Россіи; и это-то пониманіе истинныхъ ея потребностей, въ эпоху почти всеобщихъ увлеченій, всего удивительнѣе въ его запискѣ послѣ той доблестной откровенности, съ какою она была задумана и написана.

Сосредоточивъ свое авторство на исторіи, Карамзинъ продолжалъ, однакожъ, вести переписку съ разными лицами. Почти всѣ его письма теперь приведены уже въ извѣстность; они драгоцѣнны для насъ, между прочимъ, тѣмъ, что въ нихъ вполнѣ отразился человѣкъ и писатель, которымъ могли бы справедливо гордиться первые по образованію европейскіе народы. Какъ любопытно слѣдить въ нихъ за нимъ, шагъ за шагомъ, въ его историческомъ трудѣ! Мы видимъ тутъ, какъ развивались его взгляды на разные періоды и характеры русской исторіи, какія впечатлѣнія онъ выносилъ изъ перваго знакомства съ источниками, какъ радовался онъ своимъ

ученымъ находкамъ и открытіямъ! Видимъ, какъ онъ иногда, по человѣческой немощи, слабѣлъ, унывалъ въ своемъ необъятномъ трудѣ и потомъ съ новою бодростью возвращался къ нему. Любопытно такъ же видѣть, какъ много читалъ онъ актовъ новой русской исторіи, которые доставлялись ему изъ архивовъ, и какъ онъ живо представлялъ себѣ, что могъ бы сдѣлать изъ нихъ, если бъ занялся ближайшими къ намъ временами. Посреди ученой дѣятельности онъ находилъ время и для чтенія замѣчательнѣйшихъ произведеній современной западно-европейской литературы, которыя частью самъ отыскивалъ, частью получалъ отъ обѣихъ императрицъ.

Гротъ.

Мотивы путешествія Карамзина.

Постоянно знакомясь съ духовною жизнію Запада, обращаясь въ кругу людей, которые учились въ Европѣ и путешествовали за границею (Ленцъ и Кутузовъ), Карамзинъ могъ очень рано думать о путешествіи. Безъ сомнѣнія, оно для него, какъ и для всякаго образованнаго русскаго, особенно въ то время, было любимою, долго лелѣянною мечтою. Учась въ пансіонѣ Шадена, онъ собирался, подъ вліяніемъ своего учителя, кончить свое образованіе въ Лейпцигскомъ университетѣ; онъ жалѣлъ, что это намѣреніе не было приведено въ исполненіе. Военная служба, отставка, жизнь въ Симбирскѣ и, наконецъ, литературная дѣятельность въ обществѣ масоновъ должны были замедлить осуществленіе его желанія. Но годы, прожитые имъ въ Москвѣ, были полезны даже и для того, чтобъ путешествіе послужило для Карамзина средствомъ дѣйствительнаго развитія. Желаніе «искать радостей и неизвѣстности будущаго», какъ онъ смотритъ на путешествіе, здѣсь въ московской школѣ, подъ ея духовнымъ вліяніемъ, обратилось для Карамзина въ сознательное желаніе знать и учиться, видѣть лицомъ къ лицу развитіе чужой жизни и, что въ особенности важно было для него, видѣть лично представителей литературы, которые для него были «дороги по своимъ сочиненіямъ». Что путешествіе давно занимало его мысль, видно изъ намѣренія его написать цѣлый романъ, основанный на путешествіи. Характеръ тогдашняго путешествія долженъ былъ невольно возбуждать воображеніе. Въ то время оно не было такъ прозаично, какъ теперь, когда съ помощію желѣзныхъ дорогъ и телеграфовъ, можно впередъ расчитать съ математическою точностію все, что увидитъ человѣкъ и гдѣ и сколько времени проживетъ. Въ ту пору, при патріархальныхъ средствахъ сообщенія, путешествіе нравилось полною неизвѣстностію того, что̀ ждетъ впереди странника; его молодому воображенію мечтались самыя разнообразныя встрѣчи и приключенія, въ родѣ тѣхъ, какія описаны въ знаменитой книгѣ прошлаго вѣка — «Сентиментальное путешествіе», Лаврентія Стерна. Не мудрено было и Карамзину мечтать о подобномъ путешествіи, гдѣ онъ воображалъ

себя «птичкой небесной», пользующейся «неоцѣненной свободой», порхающей здѣсь и тамъ, хотя и на него находила иногда тоска по оставленнымъ на родинѣ друзьямъ, особенно при сознаніи, что онъ совершенно чужой чужимъ людямъ.

Это желаніе свободы, разнообразныхъ впечатлѣній природы и искусства, желаніе видѣть знаменитыхъ писателей и вмѣстѣ съ тѣмъ тайное стремленіе сердца ко всему неизвѣстному, раскрашенному радужными цвѣтами воображенія, осуществилось для Карамзина въ маѣ 1789 года. По всей вѣроятности, онъ поѣхалъ на собственныя средства, уступивъ за деньги часть доставшагося ему имѣнія братьямъ, такъ что по возвращеніи изъ-за границы ему пришлось жить плодами этого путешествія, жить исключительно литературой. Онъ ѣхалъ на послѣднія деньги, и недостатокъ ихъ заставилъ его поспѣшить изъ Лондона домой. Журналъ, веденный Карамзинымъ во время путешествія, въ обработанномъ видѣ, подъ названіемъ «Письма русскаго путешественника» сталъ выходить съ января мѣсяца 1791 года; въ его изданіи «Московскій Журналъ» и обратилъ на себя общее вниманіе читающей публики. Литературное и образовательное значеніе для общества этихъ писемъ было очень велико по времени, но они дороги для насъ теперь особенно тѣмъ, что позволяютъ изучить самого писателя, познакомиться съ тѣмъ, на что онъ обращалъ молодое вниманіе, чѣмъ были заняты его сердце и умъ.

Буличъ.

Содержаніе „Писемъ русскаго путешественника“.

«Послѣ Исторіи Государства Россійскаго», говоритъ Буслаевъ, «Письма русскаго путешественника» болѣе прочихъ сочиненій Карамзина оказали свое дѣйствіе на образованіе русской публики, оказываютъ и теперь, составляя одно изъ лучшихъ украшеній всякой хорошей хрестоматіи русской словесности. Своими письмами изъ-за границы Карамзинъ впервые внесъ въ нашу литературу самыя обстоятельныя свѣдѣнія объ европейской цивилизаціи, которыя были тѣмъ наставительнѣе, что относились къ послѣднимъ годамъ прошлаго столѣтія, когда господство французскаго направленія стало уступать новымъ идеямъ, продолжавшимъ свое развитіе и въ первой половинѣ текущаго столѣтія».

Письма принадлежатъ къ первымъ временамъ молодости Карамзина, когда ему не было и 23 лѣтъ; они представляютъ выраженіе ума необыкновенно даровитаго, высокообразованнаго, доступнаго всѣмъ впечатлѣніямъ, безъ особенныхъ симпатій или антипатій, кромѣ одной глубокой, преобладающей симпатіи къ наукѣ, искусству и цивилизаціи. Главное вниманіе его обращено на то, что доставляетъ пищу уму и сердцу, въ чемъ выражаются успѣхи науки и искусства, чему онъ можетъ научиться самъ и что можетъ быть пригодно для Россіи. Прибывъ въ городъ, онъ прежде всего ста-

рается увидѣть ученыхъ или художниковъ, извѣстныхъ въ этомъ городѣ, потомъ осматриваетъ библіотеки, музеи, картинныя галлереи, памятники или мѣста, ознаменованные какими-нибудь историческими событіями. Въ Кёнигсбергѣ Карамзинъ бесѣдуетъ съ Кантомъ о нравственномъ законѣ и удивляется его обширнымъ историческимъ и географическимъ знаніямъ. «Кантъ», замѣчаетъ Карамзинъ, «говоритъ весьма тихо и невразумительно, и потому надлежало мнѣ самому слушать его съ напряженіемъ всѣхъ нервовъ слуха». Объ обстановкѣ жизни Канта онъ прибавляетъ: «домикъ у него маленькій; и внутри приборовъ не много. Все просто, кромѣ... его метафизики». Въ Берлинѣ Карамзинъ посѣтилъ Берлинскую библіотеку. «Она огромна, — и вотъ все, что могу сказать о ней. Болѣе всего занимало меня богатое анатомическое сочиненіе, съ изображеніями всѣхъ частей тѣла человѣческаго. Покойный король заплатилъ за него 700 талеровъ... Показывали мнѣ еще Лютеровъ манускриптъ, но я почти совсѣмъ не могъ разобрать его, не читавъ никогда рукописей того вѣка» (58 стран.). Въ Берлинѣ Карамзинъ познакомился съ Николаи, «авторомъ и книгопродавцемъ». «Васъ знаютъ въ Россіи», сказалъ я ему, «знаютъ, что нѣмецкая литература обязана вамъ частію своихъ успѣховъ». Съ Николаи онъ имѣлъ замѣчательный разговоръ о терпимости. «Признаться, сердце мое не можетъ одобрить тона, въ которомъ господа берлинцы пишутъ. Гдѣ искать терпимости, если самые философы, самые просвѣтители, — а они такъ себя называютъ, — оказываютъ столько ненависти къ тѣмъ, которые думаютъ не такъ, какъ они. Тотъ есть для меня истинный философъ, кто со всѣми можетъ ужиться въ мирѣ; кто любитъ и несогласныхъ съ его образомъ мыслей. Должно показывать заблужденіе разума человѣческаго съ благороднымъ жаромъ, но безъ злобы. Скажи человѣку, что онъ ошибается, и почему; но не поноси сердца его и не называй его безумцемъ» (стран. 60—64). Въ письмѣ отъ 5 іюля 1785 года Карамзинъ разсказываетъ о посѣщеніи нѣмецкаго Горація, Рамлера, стихотворенія котораго извѣстны были и въ Россіи, и при этомъ очень мѣтко характеризуетъ поэзію Рамлера. Здѣсь же помѣщенъ отзывъ о «Донъ-Карлосѣ» Шиллера. «Сія трагедія», говоритъ онъ, «есть одна изъ лучшихъ драматическихъ пьесъ, и вообще прекрасна. Авторъ пишетъ въ Шекспировскомъ духѣ. Есть только слишкомъ фигурныя выраженія (такъ, какъ и у самого Шекспира), которыя хотя и показываютъ остроуміе автора, однакожъ въ драмѣ не у мѣста»(77—78).

При посѣщеніи Дрезденской картинной галлереи, онъ перечисляетъ первоклассныя картины лучшихъ живописцевъ, начиная съ Рафаэля, и дѣлаетъ о нихъ краткій отзывъ (стран. 91—97). При посѣщеніи Дрезденской библіотеки, онъ замѣчаетъ: «между греческими манускриптами показываютъ весьма древній списокъ одной Эврипидовой трагедіи, проданной въ библіотеку бывшимъ московскимъ профессоромъ Маттеемъ; за сей манускриптъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми

другими, взялъ онъ съ курфирста около 1500 талеровъ. Спрашивается, гдѣ г. Маттей досталъ сіи рукописи?» (стран. 98). Въ Лейпцигѣ Карамзинъ познакомился съ докторомъ Платнеромъ и слушалъ его лекціи по эстетикѣ о геніи (стран. 115). Въ этомъ городѣ онъ обратилъ особенное вниманіе на книжную торговлю и множество книжныхъ лавокъ. «Почти на всякой улицѣ», говоритъ онъ, «вы найдете нѣсколько книжныхъ лавокъ, — что для меня удивительно». Правда, что здѣсь много ученыхъ, имѣющихъ нужду въ книгахъ, но сіи люди почти всѣ или авторы, или переводчики, и, собирая свои библіотеки, платятъ они книгопродавцамъ не деньгами, а сочиненіями или переводами. Къ тому же во всякомъ нѣмецкомъ городѣ есть публичныя библіотеки, изъ которыхъ можно брать для чтенія всякія книги, платя за то бездѣлку. Книгопродавцы со всей Германіи съѣзжаются на лейпцигскія ярмарки (которыхъ бываетъ здѣсь три въ годъ: одна начинается съ 1-го января, другая съ Пасхи, а третья съ Михайлова дня) и мѣняются между собою новыми книгами» (стран. 116). Въ Лейпцигѣ, у Вейссе, Карамзинъ видѣлъ рукописную исторію нашего театра, переведенную съ русскаго. «Г. Дмитревскій», замѣчаетъ онъ, «будучи въ Лейпцигѣ, сочинилъ ее, а нѣкто изъ русскихъ, которые учились тогда въ здѣшнемъ университетѣ, перевелъ на нѣмецкій и подарилъ г. Вейссе, который хранитъ сію рукопись, какъ рѣдкость, въ своей библіотекѣ» (стран. 122). Въ письмѣ изъ Веймара онъ описываетъ свое свиданіе и бесѣду съ Гердеромъ, приводитъ выписку изъ его сочиненія о природѣ, помѣщаетъ его замѣчаніе о «Мессіадѣ» Клопштока. «Пріятно, милые друзья мои, видѣть, наконецъ, того человѣка, который былъ намъ прежде столько извѣстенъ и дорогъ по своимъ сочиненіямъ, котораго мы такъ часто себѣ воображали или вообразить старались» (стран. 138). Изъ бесѣды съ Гердеромъ Карамзинъ убѣдился, что нѣмцы лучше другихъ народовъ понимаютъ классическую древность: «и потому ни французы ни англичане не имѣютъ такихъ хорошихъ переводовъ съ греческаго, какими обогатили нѣмцы свою литературу. Гомеръ у нихъ Гомеръ: та же безыскусственная простота въ языкѣ, которая была душою древнихъ временъ, когда царевны ходили по воду и цари знали счетъ своимъ баранамъ» (стран. 133). Въ письмѣ изъ Веймара Карамзинъ описываетъ свое знакомство съ Виландомъ (стран. 134—140). Въ Цюрихѣ онъ познакомился съ Лафатеромъ (стран. 216—236). Въ Лозаннѣ «съ Руссовою Элоизою въ рукахъ» онъ «хотѣлъ собственными глазами видѣть тѣ прекрасныя мѣста, въ которыхъ безсмертный Руссо поселилъ своихъ романическихъ любовниковъ». Описывая эти мѣста, онъ замѣчаетъ: «Вы можете имѣть понятіе о чувствахъ, произведенныхъ во мнѣ сими предметами, зная, какъ я люблю Руссо и съ какимъ удовольствіемъ читалъ съ вами его Элоизу... безъ которой не существовалъ бы и нѣмецкій Вертеръ» (стран. 282). Въ Женевѣ Карамзинъ посѣтилъ замокъ Ферней, гдѣ жилъ Вольтеръ, описалъ его жилище, сдѣлалъ

отзывъ о его сочиненіяхъ, который оканчивается слѣдующими словами: «къ чести его можно сказать, что онъ распространилъ сію взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась характеромъ нашихъ временъ... (Примѣчаніе. Но я не могу одобрить Вольтера, когда онъ отъ суевѣрія не отличалъ истинной христіанской религіи, которая, по словамъ одного изъ его соотечественниковъ, находится къ первому въ такомъ же отношеніи, въ какомъ находится правосудіе къ ябедѣ)» (стран. 295—298). Въ Женевѣ Карамзинъ познакомился съ Боннетомъ и выпросилъ у него позволеніе перевести на русскій языкъ его «Contemplation de la nature» (стран. 315). Но поклоняясь европейской наукѣ и ея представителямъ, Карамзинъ никогда не забывалъ о Россіи, о русской наукѣ и литературѣ. Бесѣдуя съ Виландомъ о литературѣ, онъ говоритъ, что и на русскій языкъ переведены нѣкоторыя изъ важнѣйшихъ его сочиненій. Разсуждая съ лейпцигскими профессорами и студентами, онъ замѣчаетъ, что на русскій языкъ переведены первыя десять пѣсенъ Клопштока, и, чтобы познакомить ихъ съ гармоніей нашего языка, читаетъ имъ русскіе стихи. Вслушивается въ мелодіи швейцарскихъ пѣсенъ и ищетъ въ нихъ сходства съ нашими, столько для него трогательными. Въ Лондонѣ онъ изучаетъ англійскій языкъ, и приходитъ къ убѣжденію въ превосходствѣ предъ нимъ русскаго языка. «Да будетъ же честь и слава нашему языку», говоритъ онъ, «который въ самородномъ богатствѣ своемъ, почти безъ всякаго чуждаго примѣса, течетъ, какъ гордая, величественная рѣка — шумитъ, гремитъ — и вдругъ, если надобно, смягчается, журчитъ нѣжнымъ ручейкомъ и сладостно вливается въ душу, образуя всѣ мѣры, какія заключаются только въ паденіи и возвышеніи человѣческаго голоса!» (томъ II, стран. 370).

И въ другихъ случаяхъ Карамзинъ является горячимъ заступникомъ за Россію. По поводу «Россійской исторіи» Левека онъ говоритъ: «Больно, но должно по справедливости сказать, что у насъ до сего времени нѣтъ хорошей россійской исторіи, т.-е. писанной съ философскимъ умомъ, съ критикою, съ благороднымъ краснорѣчіемъ. Тацитъ, Юмъ, Робертсонъ, Гиббонъ — вотъ образцы. Говорятъ, что наша исторія сама по себѣ менѣе другихъ занимательна: не думаю; нуженъ только умъ, вкусъ, талантъ. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, какъ изъ Нестора, Никона и проч. могло выйти нѣчто привлекательное, сильное, достойное вниманія не только русскихъ, но и чужестранцевъ... У насъ былъ свой Карлъ Великій: Владиміръ; свой Людовикъ XI: царь Іоаннъ; свой Кромвель: Годуновъ, — и еще такой государь, которому нигдѣ не было подобныхъ: Петръ Великій...» Здѣсь виденъ уже будущій историкъ государства Россійскаго, который съ такимъ живымъ сочувствіемъ и такъ краснорѣчиво изобразилъ древнюю исторію Россіи; но теперь пока онъ еще защитникъ реформы Петра, и въ своей горячей защитѣ великаго человѣка и европейской цивилизаціи увлекающійся до такого космополитизма, который отвергаетъ все націо-

нальное. «Путь образованія или просвѣщенія одинъ для народовъ; всѣ они идутъ имъ другъ за другомъ. Иностранцы были умнѣе русскихъ: итакъ, надлежало отъ нихъ заимствовать, учиться, пользоваться ихъ опытами. Благоразумно ли искать, что сыскано?... Всѣ жалкія іереміады объ измѣненіи русскаго характера, о потерѣ русской нравственной физіономіи, или не что иное какъ шутка, или происходятъ отъ недостатка въ основательномъ размышленіи. Мы не таковы, какъ брадатые предки наши: тѣмъ лучше! Грубость наружная и внутренняя, невѣжество, праздность, скука были ихъ долею въ самомъ высшемъ состояніи: для насъ открыты всѣ пути къ утонченію разума и къ благороднымъ душевнымъ удовольствіямъ. Все народное ничто предъ человѣческимъ. Главное дѣло быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ; и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ!» (томъ II, стран. 146—150). Въ страстномъ увлеченіи европейской цивилизаціей Карамзинъ тогда не замѣчалъ, что народность составляетъ одну изъ формъ общечеловѣческаго духа.

Письма изъ Франціи и Англіи особенно интересны. Особенно хорошо и подробно описаны въ «Письмахъ» Парижъ и Лондонъ. Подъѣзжая къ Парижу, Карамзинъ думалъ: «вотъ онъ городъ, который въ теченіе многихъ вѣковъ былъ образцомъ всей Европы, источникомъ вкуса, модъ, котораго имя произносится съ благоговѣніемъ всѣми. Мнѣ казалось, что я какъ маленькая песчинка попалъ въ ужасную пучину и кружусь въ водномъ вихрѣ». Онъ описываетъ Лувръ, Пале-рояль, Тюильри, Елисейскія поля, Люксембургъ; описываетъ улицы, сады, церкви, монастыри, соборы, дворцы; описываетъ французскіе театры и при этомъ говоритъ о французской драматической литературѣ. «И теперь не перемѣнилъ я своего мнѣнія о французской Мельпоменѣ. Она благородна, величественна и прекрасна; но никогда не тронетъ, не потрясетъ сердца моего такъ, какъ муза Шекспирова и нѣкоторыхъ (правда, не многихъ) нѣмцевъ». Въ Академіи Надписей и Словесности онъ видѣлъ Бартелеми и разговаривалъ съ нимъ; видѣлъ автора повѣстей и сказокъ — Мармонтеля. Въ аббатствѣ св. Женевьевы хранится прахъ Декартовъ, привезенный изъ Стокгольма, чрезъ 17 лѣтъ послѣ смерти философа. Въ церкви св. Андрея сооруженъ памятникъ аббату Батте, наставнику авторовъ, «котораго за два года предъ симъ читалъ я съ любезнымъ Агатономъ, вникая въ истину его примѣровъ». Видѣлъ Эрменонвиль, гдѣ умеръ Руссо; онъ описываетъ всѣ мѣста, гдѣ любилъ отдыхать великій писатель. «Свѣтъ, литература, слава — все ему наскучило; одна природа сохранила до конца милыя права свои на его сердце и чувствительность. Въ Эрменонвилѣ рука Жанъ-Жакова не бралась за перо, а только подавала милостыню бѣднымъ. Лучшее его удовольствіе состояло въ прогулкахъ, въ дружескихъ разговорахъ съ земледѣльцами и въ невинныхъ играхъ съ дѣтьми...» (стран. 259, II томъ).

Карамзину удалось быть въ народномъ собраніи; онъ высидѣлъ 5 или 6 часовъ и видѣлъ одно изъ самыхъ бурныхъ засѣданій. Депутаты духовенства предлагали католическую религію признать единственною или главною во Франціи. Мирабо, оспаривая, говорилъ съ жаромъ и, наконецъ, сказалъ: «я вижу отсюда то окно, изъ котораго сынъ Катерины Медицисъ стрѣлялъ въ протестантовъ» (II томъ, стран. 271).

Во Франціи Карамзину привелось быть, когда тамъ началась французская революція; онъ самъ былъ воспитанъ въ тѣхъ либеральныхъ идеяхъ, которыя много способствовали французской революціи; но страшная дѣйствительность не оправдала тѣхъ розовыхъ мечтаній о свободѣ мысли и совѣсти, о правахъ человѣчества, основанныхъ на законахъ природы, которыя преподносились воображенію людей XVIII вѣка. Уже по самой организаціи своей нѣжной, чувствительной души онъ не терпѣлъ ничего рѣзкаго, насильственнаго, болѣзненнаго; могъ ли онъ равнодушно относиться къ тѣмъ ужаснымъ сценамъ, которыхъ онъ во Франціи былъ очевидцемъ!

Письма изъ Англіи особенно интересны. «Парижъ и Лондонъ, два первые города въ Европѣ, были двумя Фаросами моего путешествія, когда я сочинялъ планъ его». Онъ описываетъ всѣ замѣчательности Лондона. Прежде всего онъ попалъ въ Вестминстерское аббатство на Генделеву ораторію «Мессія». «Вообразите, — говоритъ онъ, — дѣйствіе 600 инструментовъ и 300 голосовъ, наилучшимъ образомъ соглашенныхъ, — въ огромной залѣ, при безчисленномъ множествѣ слушателей, наблюдающихъ глубокое молчаніе! Какая величественная гармонія!» Далѣе описываетъ англійскіе суды, биржу и королевское общество, храмъ св. Павла, Сентъ-Джемскій дворецъ. Былъ въ англійскомъ парламентѣ, когда разбиралось знаменитое дѣло Гастингса, въ британскомъ музеумѣ, въ англійскомъ театрѣ и говоритъ объ англійской литературѣ. «Литература англичанъ, подобно ихъ характеру, имѣетъ много особенности, и въ разныхъ частяхъ превосходна. Здѣсь отечество живописной поэзіи (poésie descriptive): французы и нѣмцы переняли сей родъ у англичанъ, которые умѣютъ замѣчать самыя мелкія черты въ природѣ. По сіе время ничто еще не можетъ сравняться съ Томсоновыми «временами года»; ихъ можно назвать зеркаломъ натуры... Въ англійскихъ поэтахъ есть еще какое-то простодушіе, не совсѣмъ древнее, но сходное съ Гомеровскимъ. Самымъ же лучшимъ цвѣтомъ британской поэзіи считается Мильтоново описаніе Адама и Евы и Драйденова ода на музыку. Въ драматической поэзіи англичане не имѣютъ ничего превосходнаго, кромѣ твореній одного автора; но этотъ авторъ есть Шекспиръ, и англичане богаты! Всякій авторъ ознаменованъ печатію своего вѣка. Шекспиръ хотѣлъ нравиться своимъ современникамъ, зналъ ихъ вкусъ и угождалъ ему... Но всякій истинный талантъ, платя дань вѣку, творитъ и для вѣчности; современныя красоты исчезаютъ, а общія, основанныя на сердцѣ человѣческомъ и на природѣ вещей, сохраняютъ силу свою, какъ въ Гомерѣ, такъ и

въ Шекспирѣ. Величіе, истина характеровъ, занимательность приключеній, откровеніе человѣческаго сердца и великія мысли, разсѣянныя въ драмахъ британскаго генія, будутъ всегда ихъ магіею для людей съ чувствомъ. Я не знаю другого поэта, который имѣлъ бы такое всеобъемлющее, плодотворное, неистощимое воображеніе; и вы найдете всѣ роды поэзіи въ Шекспировыхъ сочиненіяхъ... Примѣчанія достойно то, что одна земля произвела и лучшихъ романистовъ и лучшихъ историковъ. Ричардсонъ и Фильдингъ выучили французовъ и нѣмцевъ писать романы, какъ исторію жизни, а Робертсонъ, Юмъ, Гиббонъ влили въ исторію привлекательность любопытнѣйшаго романа умнымъ расположеніемъ дѣйствій, живописью приключеній и характеровъ, мыслями и слогомъ. Послѣ Ѳукидида и Тацита никто не можетъ сравняться съ историческимъ тріумвиратомъ Британіи» (томъ II, стран. 366—368).

Карамзинъ воспитался на сочиненіяхъ Руссо; отсюда у него такое страстное увлеченіе красотами природы, что самое искусство казалось ему ничтожнымъ предъ явленіями природы: «Что значатъ всѣ наши своды предъ сводомъ неба? — восклицаетъ онъ, остановившись подъ куполомъ св. Павла въ Лондонѣ. — Сколько надобно ума и трудовъ для произведенія столь неважнаго дѣйствія! Не есть ли искусство самая безстыдная обезьяна природы, когда оно хочетъ спорить съ нею въ величіи!» Съ особеннымъ восхищеніемъ онъ говоритъ въ своихъ письмахъ о Швейцаріи. Изъ Базеля, напримѣръ, онъ пишетъ: «Итакъ, я уже въ Швейцаріи, въ странѣ живописной натуры, въ землѣ свободы и благополучія! Кажется, что здѣшній воздухъ имѣетъ въ себѣ нѣчто оживляющее: дыханіе мое стало легче и свободнѣе, станъ мой распрямился, голова моя сама собою поднимается вверхъ, и я съ гордостію помышляю о своемъ человѣчествѣ» (стран. 181—182). «Уже я наслаждаюсь Швейцаріею, милые мои друзья! Всякое дуновеніе вѣтерка проницаетъ, кажется, въ мое сердце и развѣваетъ въ немъ чувство радости. Какія мѣста! Какія мѣста! Отъѣхавъ отъ Базеля версты двѣ, я выскочилъ изъ кареты, упалъ на цвѣтущій берегъ зеленаго Рейна и готовъ былъ въ восторгѣ цѣловать землю. Счастливые швейцарцы! Всякій ли день, всякій ли часъ благодарите вы Небо за свое счастіе, живучи въ объятіяхъ прелестной натуры, подъ благодѣтельными законами братскаго союза, въ простотѣ нравовъ, и служа одному Богу?» (стран. 191—192). Сентиментальный тонъ этого письма разлитъ по всѣмъ «Письмамъ русскаго путешественника» отъ перваго до послѣдняго и составляетъ ихъ отличительный характеръ. Карамзинъ всѣмъ восхищается чрезъ мѣру, грустить по самому ничтожному поводу, льетъ слезы радости и унываетъ при самомъ обыкновенномъ случаѣ; всякій добрый поступокъ возбуждаетъ въ немъ необыкновенное чувство. Получивъ въ Ригѣ отъ одного нѣмца (Крамера) три хлѣба на дорогу, онъ сквозь слезы благодаритъ его. «Гостепріимство, — восклицаетъ онъ по этому случаю, — добродѣтель, обыкновенная во дни юности рода человѣче-

скаго и столь рѣдкая во дни наши! Если я когда-нибудь тебя забуду, то пусть забудутъ меня друзья мои! Пусть вѣчно буду на землѣ странникомъ и нигдѣ не найду второго Крамера!» Но лучшимъ образцомъ сентиментальности Карамзина можетъ служить письмо изъ Дрездена, гдѣ онъ описываетъ видъ на Эльбу. «Я смотрѣлъ и наслаждался; смотрѣлъ, радовался и — даже плакалъ: что обыкновенно бываетъ, когда сердцу моему очень, очень весело. — Вынулъ бумагу, карандашъ; написалъ: любезная природа! и болѣе ни слова!! Но едва ли когда-нибудь чувствовалъ такъ живо, что мы созданы наслаждаться и быть счастливыми, и едва ли когда-нибудь въ сердцѣ своемъ былъ такъ добръ и такъ благодаренъ противъ моего Творца, какъ въ сіи минуты. Мнѣ казалось, что и слезы мои льются отъ живой любви къ самой Любви, и что онѣ должны смыть нѣкоторыя черныя пятна въ книгѣ жизни моей. А вы, цвѣтущіе берега Эльбы, зеленые лѣса и холмы! — вы будете благословляемы мною и тогда, когда, возвратясь въ сѣверное, отдаленное отечество мое, въ часы уединенія буду воспоминать прошедшее!» (стран. 99—100). Такъ и видно, что пишетъ 23-лѣтній юноша, которому все въ природѣ и жизни представляется въ одномъ розовомъ цвѣтѣ, безъ тѣхъ тѣней, которыми все окружено болѣе или менѣе въ дѣйствительности.

Порфирьевъ.

„Письма русскаго путешественника", какъ живая характеристика ихъ автора.

Путь Карамзина шелъ чрезъ Петербургъ. Пробывъ пять дней въ этомъ городѣ, уже знакомомъ ему по прежней службѣ, повидавшись съ Дмитріевыми, онъ, чрезъ Лифляндію и Эстляндію, поѣхалъ въ простой кибиткѣ въ Ригу. На этомъ пути онъ замѣтилъ несчастныхъ латышей, жертвъ нѣмецкихъ бароновъ, «работающихъ господеви со страхомъ и трепетомъ» и приносящихъ доходу своему господину «вчетверо болѣе нашего казанскаго или симбирскаго мужика». Въ Дерптѣ вспомнилъ онъ Ленца, увидавъ его брата, пастора. Мысль, что онъ, наконецъ, за границею, произвела въ душѣ его особенную радость и разомъ прогнала долго сопровождавшую его тоску по оставленнымъ друзьямъ. Первымъ большимъ европейскимъ городомъ по дорогѣ былъ Кёнигсбергъ. Здѣсь Карамзина больше всего интересовалъ Кантъ, и онъ смѣло сдѣлалъ ему визитъ. Предъ глазами образованнаго русскаго дворянина стоялъ этотъ знаменитый «маленькій, худенькій старичокъ, отмѣнно бѣлый и нѣжный». Но этотъ старичокъ былъ «der alles zermalmende Kant», по мѣткому выраженію Мендельсона, приведенному и Карамзинымъ. Очень понятное любопытство привело нашего путешественника къ кёнигсбергскому философу, котораго могущественная критика тогда еще немногими понималась во всемъ ея историческомъ значеніи. Осмотрѣвъ достопримѣчательности Кёнигсберга, довольный свиданіемъ съ Кан-

томъ, Карамзинъ передаетъ свои встрѣчи и разговоры на станціяхъ по пути къ Берлину. Старинные замки рыцарей, названные Карамзинымъ «разбойничьими», поразили его своимъ видомъ; онъ набросалъ удивительно вѣрную картину изъ домашней жизни средневѣкового рыцаря. Въ Берлинѣ, осматривая городъ и его окрестности, Карамзинъ былъ полонъ воспоминаніемъ о другѣ своемъ Кутузовѣ, котораго не засталъ уже здѣсь, но и въ Берлинѣ онъ спѣшилъ познакомиться съ писателями. Въ бесѣдѣ съ Николаи, плодовитымъ представителемъ раціонализма въ Германіи, авторомъ и книгопродавцемъ, нельзя не замѣтить знакомства Карамзина съ современными вопросами нѣмецкой литературы, даже политическими: разговоръ шелъ о борьбѣ протестантизма съ іезуитами, но ему не нравился тонъ полемики, господствовавшей въ нѣмецкой литературѣ по этому вопросу. Его сердце не можетъ примириться съ злобою и горечью ея.

Любуясь природою Саксоніи, наслаждаясь всѣмъ, что попадалось на пути, «радуясь всѣмъ прекраснымъ», Карамзинъ пріѣхалъ въ Дрезденъ, и первымъ долгомъ его въ этомъ городѣ было, разумѣется, осмотрѣть знаменитую галлерею. Осмотръ продолжался только три часа. Это не помѣшало ему, однако, составить первое на русскомъ языкѣ, довольно обстоятельное и вѣрное по критической оцѣнкѣ, обозрѣніе художественныхъ сокровищъ Дрездена. Но больше чудесъ искусства произвела впечатлѣніе на Карамзина мѣстность Дрездена.

Въ университетскомъ городѣ Саксоніи Карамзинъ пробылъ довольно долго въ обществѣ профессоровъ, которые ласково и гостепріимно приняли любознательнаго путешественника. Здѣсь познакомился онъ съ Бекомъ и съ Платнеромъ, котораго лекцію слушалъ въ университетѣ. За веселымъ «аѳинскимъ ужиномъ» съ профессорами говорили о поэзіи и литературѣ русской. Какъ образцовыя произведенія послѣдней, Карамзинъ назвалъ «Россіаду» и «Владиміра» Хераскова. Кромѣ ученыхъ профессоровъ, Карамзинъ видѣлся съ Вейссе, писателемъ для дѣтей, однимъ изъ извѣстныхъ педагоговъ, статьи котораго были имъ переведены для «Дѣтскаго Чтенія». Наблюдательность Карамзина и умѣнье передавать имъ все слышанное можетъ быть доказана слѣдующимъ обстоятельствомъ. Въ Лейпцигѣ записалъ онъ разсказъ о баронѣ Шрепферѣ, извѣстномъ вызывателѣ духовъ, который застрѣлился въ этомъ городѣ. То же самое лицо, повидимому, послужило для Шиллера прототипомъ для вызыванія духовъ въ его неоконченномъ романѣ «Geisterscher», и читая этотъ послѣдній, невольно приходитъ на память разсказъ Карамзина.

Изъ Лейпцига путешественникъ отправился въ Веймаръ. Городъ этотъ былъ тогда столицею нѣмецкой литературы. Главные вожди ея: Гердеръ, Виландъ, Гёте, жили тутъ, подъ просвѣщеннымъ покровительствомъ саксенъ-веймарскаго двора, и понятно нетерпѣніе Карамзина, съ которымъ онъ при въѣздѣ въ городъ раз-

спрашивалъ караульнаго сержанта: «Здѣсь ли Виландъ? Здѣсь ли Гердеръ? Здѣсь ли Гёте?» Само собой разумѣется, что Карамзинъ поспѣшилъ сдѣлать имъ визиты. Любезностью и ласковостью въ обращеніи Гердера Карамзинъ былъ особенно обвороженъ. Виландъ, которому уже, вѣроятно, надоѣли подобныя посѣщенія праздныхъ путешественниковъ, принялъ его сначала холодно и сухо, счелъ его за человѣка, ищущаго только свѣтскихъ развлеченій, но потомъ разговорился съ нимъ о поэзіи, когда Карамзинъ доказалъ ему, что онъ самъ пишетъ и знакомъ съ нѣмецкой литературой. Ему онъ высказалъ свои планы и свои намѣренія касательно будущей жизни, которымъ, кажется, оставался вѣренъ всегда. «Тихая жизнь» — вотъ идеалъ Карамзина; «окончивъ свое путешествіе, которое предпринялъ единственно для того, *чтобы собрать нѣкоторыя пріятныя впечатлѣнія и обогатить свое воображеніе новыми идеями, буду жить*, говоритъ онъ Виланду, *съ натурою и съ добрыми, любить изящное и наслаждаться имъ*». Гёте Карамзинъ не видалъ, онъ разглядѣлъ въ окно только его греческій профиль.

Черезъ Эрфуртъ, Готу, Франкфуртъ-на-Майнѣ, Майнцъ, Мангеймъ, останавливаясь въ каждомъ городѣ, Карамзинъ изъ Веймара пріѣхалъ въ Страсбургъ. Рейнъ съ своими «щедрыми долинами» и роскошными виноградниками напомнилъ путешественнику грустный образъ далекой родины, съ ея «пòтомъ орошаемыми садами, гдѣ аргусы съ дубинами стоятъ на караулѣ». Въ Страсбургѣ Карамзинъ замѣтилъ уже признаки революціоннаго движенія; онъ видѣлъ бурную сцену на улицѣ. Это было въ началѣ августа 1789 года, и весь Эльзасъ былъ въ волненіи отъ парижскихъ событій, «даже крестьяне ходили съ національными кокардами». Не останавливаясь долго въ Страсбургѣ, Карамзинъ поѣхалъ въ Швейцарію, которая давно манила его и своею природою, и своими поэтами, и учеными, близкими ему по душѣ. Въ Базелѣ уже онъ привѣтствуетъ эту страну «живописной натуры, землю свободы и благополучія». Горный воздухъ тотчасъ же оказалъ на него вліяніе. «Дыханіе мое стало легче и свободнѣе, — говоритъ онъ, — станъ мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверхъ, я съ гордостію помышляю о своемъ человѣчествѣ». Въ Базелѣ Карамзинъ познакомился съ молодымъ датскимъ путешественникомъ, докторомъ Беккеромъ, другомъ извѣстнаго поэта Баггезена, и съ нимъ почти все время жилъ въ Швейцаріи. Беккеръ принадлежалъ къ тому же сорту людей, какъ и Карамзинъ: онъ былъ *чувствителенъ* и вдобавокъ влюбчивъ. Случайная встрѣча обратилась въ дружбу, и Карамзинъ, вернувшись на родину, переписывался съ Беккеромъ.

Въ разныхъ мѣстностяхъ Швейцаріи и преимущественно во французской части ея, въ Женевѣ и Лозаннѣ, Карамзинъ пробылъ около семи мѣсяцевъ до марта 1790 года Останавливаясь въ городахъ и осматривая зданія, памятники и картины, онъ часто сходилъ съ большой дороги и заходилъ въ горы и деревушки, чтобъ наслаждаться красо-

тами природы, несмотря на необычное для путешествія по Швейцаріи время, чтобъ видѣть простую жизнь швейцарцевъ, которая являлась ему въ образѣ Геснеровой идилліи. Самый полный восторгъ овладѣлъ душою путешественника въ хижинахъ пастуховъ на высотахъ альпійскихъ, куда онъ поднимался съ благоговѣніемъ. Здѣсь съ презрѣніемъ смотрѣлъ онъ на долину и весело завтракалъ въ семьѣ горцевъ. Прелесть непосредственной жизни такъ сильна была для Карамзина въ эту минуту, что онъ высказывалъ желаніе отказаться для нея отъ всѣхъ удобствъ цивилизованной жизни. На Альпахъ читалъ онъ отрывки изъ Галлеровой поэмы «Die Alpen». Если вѣрить разсказу гораздо позднѣйшаго русскаго туриста, то память о Карамзинѣ въ Швейцаріи долго жила въ семьѣ, имъ облагодѣтельствованной. Молодой и чувствительный путешественникъ устроилъ свадьбу бѣдной швейцарской парочки съ помощію какого-то богатаго русскаго графа, жившаго въ одно время съ нимъ въ Лозаннѣ.

Кромѣ горныхъ красотъ швейцарской природы, Карамзинъ, подобно тысячамъ путешественниковъ, посѣщалъ и тѣ мѣста, которыя навсегда освящены поэзіей, геніемъ и страданіями Руссо. Онъ проводитъ цѣлый день на островѣ Св. Петра, одномъ изъ послѣднихъ убѣжищъ Руссо. Съ глубокимъ чувствомъ говоритъ Карамзинъ объ этомъ «страдальцѣ злобы и предразсужденій человѣческихъ», выгнанномъ отовсюду за то, «что онъ былъ добръ, нѣженъ и человѣколюбивъ». Съ такимъ же уваженіемъ посѣтилъ Карамзинъ и жилище другого знаменитаго писателя XVIII вѣка — Ферней. По словамъ Карамзина, никто не дѣйствовалъ такъ сильно на своихъ современниковъ, какъ Вольтеръ, и дѣйствіе это состояло въ вѣротерпимости, въ томъ, что онъ «посрамилъ гнусное лжевѣріе», которому еще въ началѣ вѣка «приносились кровавыя жертвы въ нашей Европѣ». Удивляясь силѣ вольтеровой ироніи, Карамзинъ удивляется также и его драматическимъ произведеніямъ. Послѣдній взглядъ, по его собственному сознанію, измѣнился потомъ.

Сильнѣе природы, сильнѣе воспоминанія о Руссо и Вольтерѣ была для Карамзина бесѣда съ живыми писателями Швейцаріи, знакомыми ему прежде по сочиненіямъ. Въ Цюрихѣ онъ сдѣлалъ съ сердечнымъ трепетомъ визитъ къ знаменитому тогда, не между людьми положительной науки, а въ обществѣ масоновъ и мистиковъ, Лафатеру. Еще въ Москвѣ онъ считалъ его великимъ писателемъ; еще въ Москвѣ онъ любилъ заниматься физіономикой, а потому желаніе лично познакомиться съ этимъ мечтательнымъ мыслителемъ прошлаго вѣка было очень сильно въ Карамзинѣ. Для московскихъ друзей его описаніе свиданія съ Лафатеромъ, безъ сомнѣнія, было интереснѣе бесѣды съ Кантомъ, а потому Карамзинъ не забылъ замѣтить, что Пфенингеръ, другъ Лафатера, очень похожъ на С. И. Гамалею. Съ подробностію говоритъ Карамзинъ о наружности Лафатера, о бесѣдахъ своихъ съ нимъ; о новыхъ, написанныхъ имъ сочиненіяхъ, объ образѣ жизни его. Въ Женевѣ, гдѣ Карамзинъ провелъ почти

всю зиму, живя свѣтскою жизнію въ обществѣ, переполненномъ въ это время путешественниками разныхъ націй и въ особенности бѣглыми французскими эмигрантами, онъ чаще всего бывалъ у Боннета. Старикъ-философъ жилъ верстахъ въ четырехъ отъ Женевы, и Карамзинъ смотрѣлъ на него какъ на лучшаго писателя о природѣ, котораго сочиненія изучалъ въ Москвѣ и переводилъ изъ нихъ отрывки для «Дѣтскаго Чтенія». Боннету онъ обѣщалъ непремѣнно, по возвращеніи въ Россію, заняться переводомъ его сочиненій, и старикъ заставилъ его сдѣлать первый опытъ перевода въ его кабинетѣ, оставивъ отрывокъ на память. Боннетъ замѣтилъ въ Карамзинѣ «патріотическое чувство», высказываемое имъ въ желаніи просвѣтить свой народъ.

Въ началѣ марта 1790 года Карамзинъ оставилъ Швейцарію и черезъ Ліонъ поѣхалъ въ Парижъ, самый желанный и интересный для него городъ. Въ Ліонѣ онъ провелъ весело нѣсколько дней посреди удовольствій, случайныхъ знакомствъ и разговоровъ съ нѣмецкимъ поэтомъ Матиссономъ. Статуя Людовика XIV на Большой Ліонской площади навела его на мысль о Петрѣ Великомъ, и для насъ любопытенъ *тогдашній* взглядъ Карамзина на великаго человѣка русской земли, во многомъ потомъ измѣнившійся. Петръ для Карамзина въ это время былъ «лучезарнымъ богомъ свѣта», «освѣщающимъ глубокую тьму вокругъ себя». На преобразователя смотритъ онъ, какъ на «благодѣтеля человѣчества, какъ на своего собственнаго благодѣтеля». Дикій камень подъ его монументомъ на площади Сената — образъ состоянія Россіи предъ временемъ преобразованія.

«*Я въ Парижѣ!* Эта мысль производитъ въ душѣ моей какое-то особливое, быстрое, неизъяснимое, пріятное движеніе!... *Я въ Парижѣ!* говорю самъ себѣ и бѣгу изъ улицы въ улицу, изъ Тюильри въ поля Елисейскія; вдругъ останавливаюсь, на все смотрю съ отличнымъ любопытствомъ: на домы, на кареты, на людей. Что было мнѣ извѣстно по описаніямъ, вижу теперь собственными глазами, — веселюсь и радуюсь живою картиною величайшаго, славнѣйшаго города въ свѣтѣ, чуднаго, единственнаго по разнообразію своихъ явленій». Такъ привѣтствуетъ Карамзинъ свое появленіе въ столицѣ модъ и вкуса, повторяя словами своими ощущенія и восторги многихъ тысячей своихъ соотечественниковъ прошедшихъ и будущихъ. Но Парижъ былъ не Веймаръ, не Цюрихъ, не Женева, гдѣ Карамзинъ, ненадолго посѣтивъ Виланда, Лафатера или Боннета, могъ бы разомъ окунуться въ духовные интересы города. Онъ не зналъ, къ кому изъ ученыхъ и литераторовъ Парижа итти съ визитомъ. Притомъ столица Франціи жила въ это время новою политическою жизнію; все, что только имѣло претензію на умъ, было занято волнующими государственными вопросами. Старое французское общество, которое ожидалъ найти Карамзинъ, было разогнано бурею. Этой-то новой стороны французской жизни Карамзинъ, привыкшій къ описаніямъ стараго общества, не замѣтилъ или не хотѣлъ замѣтить. «Грозная туча носится надъ

башнями Парижа, — говоритъ онъ, — златая роскошь, опустивъ черное покрывало на горестное лицо свое, поднялась на воздухъ и скрылась за облаками». Новая жизнь Парижа чужда Карамзину. Онъ жалѣетъ искренно, что «французы думаютъ нынѣ о своей революціи, а не о памятникахъ любви и нѣжности». Онъ никакъ не ожидаетъ кровавыхъ революціонныхъ сценъ «отъ зефирныхъ французовъ, которые славились своею любезностію». Карамзинъ весь на сторонѣ старой французской монархіи, «при которой все благоденствовало», и смотритъ на людей новыхъ, какъ на дерзкихъ смѣльчаковъ, поднявшихъ сѣкиру на священное дерево, говоря: *мы лучше сдѣлаемъ*! Въ Версали онъ съ ужасомъ вспоминаетъ о днѣ 4-го октября, когда «прекрасная Марія» въ первый разъ услыхала «грозный крикъ парижскихъ варваровъ». Для него тяжело, что революція «должна перемѣнить и характеръ народа, столь веселаго, остроумнаго, любезнаго». Несмотря на эти симпатіи къ прошедшему Франціи, Карамзинъ не раздѣлялъ, однако, легкомысленныхъ убѣжденій и надеждъ эмигрантовъ и очень хорошо понималъ смыслъ движенія. Онъ видѣлъ, что первою конституціей «исторія не кончилась», говорилъ, что «французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона». Въ засѣданіи народнаго собранія онъ видѣлъ цѣлую бурю, такъ какъ рѣчь при немъ шла о свободѣ исповѣданій въ государствѣ; онъ слышалъ здѣсь Мирабо и Мори.

Карамзинъ былъ чуждъ этой политической жизни, да и не для нея онъ пріѣхалъ въ столицу Франціи, въ которой хотѣлъ изучить веселую французскую жизнь стараго времени, видѣть зданія и чудеса искусства, набраться новыми впечатлѣніями. Странно было бы ожидать отъ Карамзина, чтобъ онъ слѣдилъ въ Парижѣ за новыми явленіями. На волненіе его онъ смотрѣлъ «съ тихою душою, какъ мирный пастырь смотритъ съ горы на бурное море». Тогда революція не дошла еще до тѣхъ явленій, которыя должны были сильно потрясти душу Карамзина, видѣвшаго въ нихъ посягательство на все, что было дорогого и священнаго для него, понимавшаго, что рушится цѣлый міръ, гдѣ онъ выросъ и долго жилъ умомъ и сердцемъ. Въ Парижѣ онъ искалъ этотъ міръ и уединялся въ немъ. Познакомившись съ какимъ-то знатнымъ и богатымъ домомъ, въ качествѣ русскаго литератора, онъ участвовалъ въ литературномъ чтеніи и передалъ въ своихъ письмахъ содержаніе «розовой тетрадки» аббата, — содержаніе, посвященное любви и ея психологическому разбору; онъ самъ сочиняетъ въ Парижѣ нѣжные стихи и читаетъ ихъ. Съ особою любовію говоритъ онъ о художественныхъ созданіяхъ вѣка Людовика XV, объ этихъ граціозно изнѣженныхъ, сладострастныхъ образахъ, уже начинавшихъ быть аномаліей, объ Амурѣ Бушардона, о Венерѣ, Марсѣ и нимфахъ будуара въ увеселительномъ дворцѣ графа д'Артуа, о садахъ Тріанона и роскоши версальской.

Намъ нѣтъ надобности слѣдить за Карамзинымъ въ его подробномъ изученіи Парижа, мы желали только видѣть его самого, узнать

его взгляды. Въ его симпатіяхъ и антипатіяхъ рисуется его характеръ, обнаруживается то, что вошло въ содержаніе его произведеній.

Изъ Франціи чрезъ Кале, гдѣ Карамзинъ искалъ мѣста, описанныя въ сентиментальномъ путешествіи Стерна, и Дувръ, путешественникъ переѣхалъ въ Лондонъ. Въ Англіи онъ видѣлъ только столицу страны и ея окрестности, гдѣ пробылъ не долѣе мѣсяца. Крайняя противоположность съ Франціей поразила Карамзина, хотя Англію, любимую имъ съ дѣтства, онъ ставитъ очень высоко въ ряду европейскихъ государствъ. Какъ прилично сентиментальному путешественнику, Карамзинъ съ восторгомъ отзывается объ англичанкахъ. Лондонъ былъ осмотрѣнъ Карамзинымъ весьма внимательно, но точно такъ же, какъ и Парижъ, болѣе внѣшнимъ образомъ. Изъ политической жизни Англіи Карамзину удалось быть, кромѣ нижней палаты, на одномъ изъ засѣданій верхней, обратившейся въ судъ надъ Гастингсомъ. Этотъ знаменитый въ парламентской исторіи Англіи процессъ, содержаніе и внѣшняя обстановка котораго описаны такимъ блестящимъ образомъ Маколеемъ, не произвелъ на Карамзина большого впечатлѣнія. Онъ видѣлъ и слушалъ Борка, Фокса и Шеридана, обвинителей со стороны нижней палаты, смотрѣлъ на нихъ какъ на реторовъ, не будучи затронутъ ихъ краснорѣчіемъ. Очень хладнокровно отзывается онъ о Гастингсѣ, что генералъ-губернаторъ Индіи «виноватъ противъ человѣчества, но не виноватъ противъ Англіи». Вообще и въ этой странѣ, какъ и во Франціи, Карамзинъ былъ чуждъ наблюденіямъ политической жизни; самые англичане, которыхъ онъ такъ любилъ въ дѣтствѣ, разочаровали его; «похвала моя такъ холодна, какъ они сами», заключаетъ Карамзинъ. Они слишкомъ разсудительны, слишкомъ скучны для него; но объ англичанкахъ онъ отзывается иначе. Онѣ—образцовыя матери и жены, по его словамъ, и вообще семейную жизнь Англіи онъ ставитъ очень высоко, какъ и англійскую литературу, о которой представилъ нѣсколько бѣглыхъ, но вѣрныхъ замѣтокъ. Изъ Англіи Карамзинъ воротился моремъ въ Россію въ сентябрѣ 1790 года. *Буличъ.*

Карамзинъ давно уже мечталъ о путешествіи за границу: его влекли туда природа, и прежде всего Швейцарія, и люди, и прежде всего представители тогдашней науки и литературы. «Путешествіе сдѣлалось потребностію души моей, — говоритъ онъ: — желаніе видѣть природу въ великолѣпномъ ея разнообразіи, видѣть тѣхъ великихъ мужей, которыхъ творенія сильно дѣйствовали на мои чувства, превратилось въ совершенную страсть» (т. III, стран. 363). Если сообразить предшествовавшее этому путешествію чтеніе Карамзина, то намъ будетъ совершенно понятенъ составленный имъ маршрутъ: Кенигсбергъ, Берлинъ, Лейпцигъ, Веймаръ, Швейцарія, куда влекли его, кромѣ природы, Лафатеръ и Боннетъ, Парижъ и Лондонъ — все это мѣста, съ которыми связаны были имена лицъ, дорогихъ для

него по старымъ и глубокимъ впечатлѣніямъ, имена лицъ, образы которыхъ, созданные воображеніемъ, онъ хотѣлъ провѣрить съ дѣйствительностію. Если же сообразить тотъ умственный запасъ, который повезъ съ собой Карамзинъ за границу, отличавшійся, правда, не столько глубиною, сколько разнообразіемъ, то едва ли не должно согласиться съ тѣмъ, что это былъ первый русскій путешественникъ, такъ усердно и основательно приготовившій себя къ путешествію, такъ серіозно смотрѣвшій на него и владѣвшій такими богатыми средствами для извлеченія изъ него той пользы, которую онъ, безъ сомнѣнія, имѣлъ въ виду для задуманныхъ имъ цѣлей. Карамзинъ доставилъ и современникамъ и потомству полную возможность провѣрить себя въ этомъ отношеніи: «Письма русскаго путешественника» важны не по одному литературному ихъ значенію, по вліянію ихъ на общество, по языку, но и по живой характеристикѣ самого автора. Слѣдя за нимъ шагъ за шагомъ по письмамъ, присутствуя при его бесѣдахъ съ тогдашними учеными и литературными знаменитостями, сопутствуя ему въ его одинокихъ прогулкахъ, вы имѣете полную возможность измѣрять, такъ сказать, уровень его развитія, изучать его взгляды на новые для него природу, людей и жизнь, его симпатіи и антипатіи, его виды въ будущемъ и прочее. Вы видите его нѣсколько безцеремонно являющимся въ кабинетъ Канта и такъ же безцеремонно задающимъ ему, какъ впослѣдствіи Лафатеру, вопросъ объ общей цѣли бытія, на который *худенькій* и *маленькій* старичокъ съ надлежащею деликатностію даетъ коротенькій отвѣтъ; вы припоминаете, что вопросы этого рода сильно занимали его прежде и служили предметомъ оживленныхъ разговоровъ его съ Петровымъ; нѣсколько сомнѣваетесь въ глубинѣ его философскаго мышленія вообще и въ основательномъ знакомствѣ съ сущностью Кантовой философіи въ частности, но въ то же время вы не можете не сохранить полнаго уваженія къ столь возбужденной любознательности молодого человѣка, ищущаго короткаго рѣшенія занимавшихъ его общихъ вопросовъ, хотя вовсе и не имѣющаго никакихъ притязаній на званіе записного философа и никакого желанія посвятить себя метафизическимъ умозрѣніямъ. Вы идете съ нимъ вмѣстѣ на квартиру Виланда и вмѣстѣ съ нимъ вы оскорбляетесь его грубымъ первымъ пріемомъ; узнаете изъ разговоровъ съ Виландомъ, что у него въ виду *тихая жизнь въ мірѣ съ натурою и добрыми людьми и наслажденіемъ изящнымъ;* замѣчаете сильное впечатлѣніе, произведенное на него словами Виланда, что онъ такъ же тщательно обрабатывалъ бы свои произведенія и на пустомъ островѣ, какъ и впечатлѣніе мыслей Платнера, что «геній не можетъ заниматься, ничѣмъ, кромѣ важнаго и великаго». Вы чувствуете смущеніе, и, пожалуй, краснѣете, какъ онъ, при вопросѣ Платнера, какой наукѣ думаетъ онъ посвятить себя, «изящнымъ», отвѣчаетъ Карамзинъ и покраснѣлъ; «знаю отчего, — прибавляетъ онъ, — можетъ-быть, и вы, друзья мои, знаете» (т. II, стран. 120). Наслаждаетесь вмѣстѣ съ нимъ

красотами Швейцаріи, простотой и чистотой нравовъ ея жителей и семейнымъ счастіемъ, хотя невольно испытываете не совсѣмъ пріятное чувство по поводу неоднократно высказываемаго имъ желанія навсегда поселиться въ Швейцаріи. Вы вмѣстѣ съ нимъ чувствуете себя лучше и свободнѣе въ присутствіи живого, симпатичнаго, хотя не совсѣмъ глубокаго эклектическаго французскаго философа Боннета, чѣмъ въ кабинетѣ метафизика Канта. Знакомитесь вмѣстѣ съ нимъ съ Лагарпомъ, Мармонтелемъ и другими французскими литературными знаменитостями; сидите рядомъ съ нимъ въ театрѣ, гдѣ онъ сообщаетъ вамъ легкія замѣчанія о драматической французской поэзіи, и притомъ въ ея сравненіи съ англійскою и нѣмецкою,—замѣчанія, обнаруживающія въ немъ вѣрный и тонкій вкусъ, развитый первоклассными образцами; гуляете по улицамъ и загороднымъ мѣстамъ Парижа и Лондона, слѣдите за его наблюденіями надъ общественною жизнію и, по легкимъ его замѣткамъ о тогдашнемъ движеніи въ Парижѣ (1791), заключаете, что причины, сущность и характеръ этого движенія онъ представлялъ себѣ довольно смутно. Наконецъ, вы испытываете вмѣстѣ съ нимъ тяжелое чувство отъ пустоты кармана, повидимому, преждевременной, бѣжите съ нимъ на корабль и возвращаетесь въ Кронштадтъ. На такое значеніе писемъ для характеристики самого автора Карамзинъ самъ указалъ въ послѣднемъ письмѣ изъ Кронштадта: «вотъ зеркало души моей въ теченіе осьмнадцати мѣсяцевъ! Оно чрезъ 20 лѣтъ (если только проживу на свѣтѣ) будетъ для меня еще пріятно—пусть для меня одного! Загляну, и увижу, каковъ я былъ, какъ думалъ и мечталъ; а что человѣку (между нами будь сказано) занимательнѣе самого себя?...» (т. II, стран. 790). *Лавровскій.*

„Письма русскаго путешественника, какъ“ источникъ для знакомства съ западною цивилизаціею.

Прежде всего поражаетъ въ «Письмахъ русскаго путешественника» многосторонняя и основательная образованность, которую могла дать ему Россія въ концѣ прошлаго столѣтія, и въ которой онъ нашелъ достаточное приготовленіе, чтобъ не только вести полезную для себя бесѣду съ такими европейскими знаменитостями, какъ Виландъ, Гердеръ, Лафатеръ, Кантъ, Боннетъ, но и внушить имъ уваженіе къ нему. Въ самыхъ письмахъ изъ-за границы Карамзинъ сообщаетъ много подробностей о годахъ своего ученія, — подробностей, которыми не разъ пользовались его біографы.

Имя Парижа стало Карамзину извѣстно почти вмѣстѣ съ его собственнымъ именемъ: такъ много читалъ онъ объ этомъ городѣ въ романахъ, такъ много слышалъ отъ путешественниковъ; по романамъ же и газетнымъ статьямъ еще въ ранней молодости восхищался англичанами и воображалъ Англію самою пріятнѣйшею для своего сердца землею. Видѣть Парижъ и Лондонъ—всегда было его

мечтою, и нѣкогда самъ онъ собирался писать романъ и въ воображеніи объѣздить точно тѣ земли, въ которыя послѣ поѣхалъ. Потомъ дѣтскія мечты замѣнились основательнымъ желаніемъ: онъ хотѣлъ провести свою юность въ Лейпцигѣ: туда стремились его мысли; въ тамошнемъ университетѣ хотѣлъ онъ собрать нужное для исканія той истины, о которой — по его собственному выраженію — съ самыхъ младенческихъ лѣтъ тоскуетъ его сердце.

Раздѣляя вкусъ своихъ современниковъ, онъ коротко былъ знакомъ съ французскими писателями XVIII столѣтія и поклонялся Жанъ-Жаку Руссо; но вмѣстѣ съ тѣмъ уже съ раннихъ лѣтъ привыкъ онъ уважать и литературу нѣмецкую и англійскую: такъ что, когда въ чужихъ краяхъ ему случалось предстать предъ знаменитыя личности того времени и видѣть знаменитые предметы, онъ не только не поражался новизною, но, какъ давно знакомое и любимое, соединялъ видѣнное и слышанное съ своими воспоминаніями. Въ Лондонѣ осматриваетъ онъ картины съ сюжетами изъ Шекспировыхъ драмъ и, уже зная твердо Шекспира, почти не имѣетъ нужды справляться съ описаніемъ въ каталогѣ и, смотря на картины, угадываетъ содержаніе. Въ Лозаннѣ, въ одномъ саду, видитъ надпись, взятую изъ Аддиссоновой оды, и притомъ воспоминаетъ, какъ нѣкогда просидѣлъ онъ цѣлую лѣтнюю ночь за переводомъ этой самой оды, и какъ восходящее солнце освѣтило его тогда за такою работой. «Это утро, — присовокупляетъ молодой путешественникъ, — было одно изъ лучшихъ въ моей жизни». Въ Лейпцигѣ онъ знакомится съ извѣстнымъ въ то время литераторомъ Вейссе, статьи котораго изъ «Друга Дѣла» онъ уже переводилъ прежде. Въ Цюрихѣ отыскиваетъ архидіакона Тоблера, имя котораго ему хорошо было знакомо по переводу Томсоновыхъ «Временъ года», изданныхъ Геснеромъ. Въ томъ же городѣ является къ Лафатеру, съ которымъ онъ былъ въ перепискѣ еще въ Москвѣ, и который принимаетъ его какъ стараго друга.

Самый планъ молодого русскаго путешественника во всѣхъ городахъ Европы лично знакомиться съ знаменитыми литераторами того времени былъ столько же результатомъ его обширной образованности, сколько и повѣркою ея, строгимъ испытаніемъ. «Ваши сочиненія заставили меня любить васъ, — говоритъ онъ Виланду въ Веймарѣ, — и возбудили во мнѣ желаніе узнать автора лично». «Вы видите передъ собою такого человѣка, — такъ онъ представился въ Женевѣ Боннету, автору «Палингенезіи», — который съ великимъ удовольствіемъ и съ пользою читалъ ваши сочиненія, и который любитъ и почитаетъ васъ сердечно». И вездѣ былъ радушно встрѣчаемъ молодой русскій путешественникъ, вездѣ былъ привѣтствуемъ, не только какъ человѣкъ просвѣщенный, но и какъ достойный представитель своихъ соотечественниковъ. «Я русскій, — говоритъ онъ Бартелеми въ Парижской академіи; — читалъ «Анахарсиса»; умѣю восхищаться твореніемъ великихъ, безсмертныхъ талантовъ. Итакъ, хотя въ нескладныхъ словахъ, примите жертву моего глубокаго почтенія». «Онъ

всталъ съ креселъ, — продолжаетъ Карамзинъ, — взялъ мою руку, ласковымъ взоромъ предувѣдомилъ меня о своемъ благорасположеніи и, наконецъ, отвѣчалъ: «Я радъ вашему знакомству; люблю сѣверъ, и герой, мною избранный, вамъ не чужой». — «Мнѣ хотѣлось бы имѣть съ нимъ какое-нибудь сходство. Я въ академіи: Платонъ передо мною; но имя мое не такъ извѣстно, какъ имя Анахарсиса». — «Вы молоды, путешествуете, и, конечно, для того, чтобы украсить вашъ разумъ познаніями: довольно сходства».

Заинтересованный Россіею и ея литературой, Лафатеръ предлагалъ Карамзину, чтобъ онъ выдалъ на русскомъ языкѣ извлеченіе изъ его сочиненій. «Когда вы возвратитесь въ Москву, — сказалъ онъ Карамзину, — я буду пересылать къ вамъ черезъ почту рукописный оригиналъ»; а когда нашъ путешественникъ оставилъ Цюрихъ, авторъ «Физіономики» снабдилъ его одиннадцатью рекомендательными письмами въ разные города Швейцаріи и увѣрилъ его въ неизмѣнности своего дружелюбнаго къ нему расположенія. Въ Женевѣ Карамзинъ сообщилъ свое желаніе Боннету тоже перевести на русскій языкъ его «Созерцаніе природы» и «Палингенезію», и въ письмѣ отъ него получилъ такой отвѣтъ. «Авторъ будетъ вамъ благодаренъ за то, что вы познакомите съ его сочиненіями такую націю, которую онъ уважаетъ»; а когда послѣ того Карамзинъ пришелъ къ нему: «Вы рѣшились переводить «Созерцаніе природы», — сказалъ онъ: — начните же переводить его въ глазахъ автора и на томъ столѣ, на которомъ оно было сочиняемо. Вотъ книга, бумага, чернильница, перо». Даже самъ Виландъ, который сначала принялъ Карамзина холодно и надменно, потомъ до того съ нимъ сблизился, что на разставаньи просилъ его, чтобъ онъ, хотя изрѣдка, писалъ къ нему письма: «Я всегда буду отвѣчать вамъ, гдѣ бы вы ни были». Въ Кёнигсбергѣ Карамзинъ бесѣдуетъ съ великимъ Кантомъ о будущей жизни и удивляется обширнымъ историческимъ и географическимъ познаніямъ философа; въ Лейпцигѣ для изученія эстетики входитъ въ личныя сношенія съ профессоромъ Платнеромъ; въ Веймарѣ бесѣдуетъ съ Гердеромъ объ античной литературѣ и искусствѣ и о Гётѣ; въ Ліонѣ сводитъ дружбу съ Маттисономъ, извѣстнымъ того времени нѣмецкимъ поэтомъ.

Русскій путешественникъ отправился на Западъ съ опредѣленною цѣлью — довершить свое образованіе въ такъ называемыхъ *изящныхъ* наукахъ, которымъ онъ, по его собственному признанію въ Лейпцигѣ профессору Платнеру, себя посвящаетъ: то-есть, съ точки зрѣнія литературы и искусства, Карамзинъ интересовался вообще европейскою цивилизаціей.

Какъ ни обширенъ былъ кругъ литературнаго образованія Карамзина, все же сосредоточивался онъ на Франціи. Въ то время Баттё и Лагарпъ были для всѣхъ наставниками въ литературѣ; Вольтеръ и Жанъ-Жакъ Руссо еще господствовали надъ умами, хотя и не безусловно. Русскій путешественникъ слышалъ о французскихъ клас-

сикахъ уже неблагопріятные отзывы въ самомъ Парижѣ, слышалъ, какъ любимый имъ философъ Боннетъ называлъ Жанъ-Жака только реторомъ, а его философію — воздушнымъ зáмкомъ; и однако сила времени и привычки такъ велика, что Вольтеръ и Руссо были главными руководителями его убѣжденій.

Съ благоговѣйнымъ вниманіемъ ученаго археолога, посѣщающаго римскія развалины, русскій путешественникъ посѣщалъ и изслѣдовалъ мѣста, гдѣ жили и откуда поучали своими твореніями весь свѣтъ эти два знаменитые французскіе писателя.

Не увлекаясь крайностями въ ученіи Вольтера, Карамзинъ отдаетъ ему справедливость въ томъ, «что онъ (слова Карамзина) распространилъ сію взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась характеромъ нашихъ временъ, и наиболѣе посрамилъ гнусное лжевѣріе», которое нашъ путешественникъ видитъ въ католическихъ монастыряхъ, называя ихъ жилищемъ фанатизма, наполненнымъ страшилами, основаннымъ учредителями, которые худо знали нравственность человѣка, образованную для дѣятельности; издѣвается надъ католическими реликвіями и надъ иконами Богородицы, изображающими портреты извѣстныхъ прелестницъ. Согласно съ этими воззрѣніями, онъ вообще не любитъ среднихъ вѣковъ и готическаго стиля; хотя и признаетъ въ немъ смѣлость, но видитъ въ немъ бѣдность разума человѣческаго; въ барельефахъ Страсбургскаго собора замѣчаетъ странное и смѣшное, а мысль и работу барельефовъ Дагоберовой гробницы, съ изображеніями извѣстной легенды о борьбѣ св. Діонисія съ дьяволами за душу Дагобера, почитаетъ достойными варварскихъ временъ, какими онъ почитаетъ средніе вѣка. Съ тѣмъ же изысканнымъ вкусомъ француза XVIII вѣка относится онъ къ старинной литературѣ. Мистеріи и народныя драмы для него — глупыя пьесы; Чосеръ писалъ неблагопристойныя сказки; Рабле — авторъ романовъ, наполненныхъ остроумными замыслами, гадкими описаніями, темными аллегоріями и нелѣпостью; даже Эразмова «Похвала дурачеству», несмотря на нѣкоторое остроуміе, книга довольно скучная для тѣхъ, «которые уже читали сочиненія Вольтеровъ и Виландовъ осьмагонадесять столѣтія».

И вмѣстѣ съ тѣмъ Карамзинъ находилъ вполнѣ согласнымъ съ своею теоріей вкуса любоваться холодными аллегорическими изображеніями Натуры и Поэзіи, которыя льютъ слезы на надгробную урну Геснера, или Безсмертія, Храбрости и Мудрости на монументѣ Тюреня, а чудомъ искусства признавалъ «Магдалину» Лебрюна, потому что въ ея видѣ художникъ изобразилъ герцогиню Лавальеръ. Таково еще было обаяніе этой чисто условной, но обольстительной для глазъ роскоши изнѣженнаго искусства, что самымъ удобнымъ находили тогда переводить свои ощущенія на языкъ античной миѳологіи. Въ булонской виллѣ графа д'Артуа, на картинахъ улыбалась Карамзину сама любовь, а въ альковахъ мечтались аллегорическіе восторги; на развалинахъ рыцарскихъ зáмковъ воображалась ему сидящею богиня ме-

ланхоліи, и въ безмолвной рощѣ не шутя взывалъ онъ къ античному Сильвану.

Однако, какъ человѣкъ новаго направленія, русскій путешественникъ уже не вполнѣ довольствовался ложнымъ классицизмомъ, предпочиталъ античную скульптуру французской и, съ Павзаніемъ въ рукахъ, рѣшался находить недостатки въ произведеніяхъ Пигáля.

Еще сильнѣе замѣтно освобожденіе Карамзина изъ-подъ французскаго вліянія въ его сужденіяхъ о поэзіи драматической, которыми онъ былъ обязанъ изученію Шекспира и нѣмецкихъ писателей. Къ концу прошлаго столѣтія великій британскій драматургъ былъ оцѣненъ по достоинству; произведенія его игрались на театрахъ въ Англіи, Германіи и, даже въ плохихъ передѣлкахъ во Франціи; въ Лондонѣ была основана «Шекспирова галлерея», составленная изъ картинъ, сюжеты которыхъ взяты изъ драмъ Шекспира. Въ какой городъ Германіи Карамзинъ ни пріѣзжалъ, вездѣ могъ видѣть на сценѣ произведенія новой нѣмецкой драмы, столько отличныя отъ классической французской. Въ Берлинѣ при немъ играли драму Коцебу: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе» и Шиллерову трагедію «Донъ-Карлосъ». Я не буду приводить восторженныхъ похвалъ Карамзина Шекспиру, столько извѣстныхъ и въ настоящее время вполнѣ оправданныхъ, но для характеристики тонкаго эстетическаго вкуса нашего путешественника не могу миновать слѣдующій его отзывъ: «Читая Шекспира, читая лучшія нѣмецкія драмы, я живо воображаю себѣ, какъ надобно играть актеру и какъ что произнести; но при чтеніи французскихъ трагедій рѣдко могу представить себѣ, какъ можно въ нихъ играть актеру хорошо или такъ, чтобы меня тронуть».

Воззрѣнія, противоположныя ложному классицизму XVIII столѣтія и болѣе согласныя со вкусомъ нашего времени, у Карамзина имѣли характеръ еще односторонній, будучи приведены въ одну систему съ господствовавшею тогда теоріей Жанъ-Жака Руссо о неограниченныхъ правахъ природы надъ человѣкомъ. Всякая цивилизація, а слѣдовательно и античная, должна уступать этимъ всемогущимъ правамъ: и Карамзинъ въ характеристикѣ произведеній Рафаэля, Джуліо Романо, Рубенса и другихъ живописцевъ, отдавая предпочтеніе тѣмъ изъ нихъ, которые болѣе слѣдовали природѣ, нежели антикамъ, не только говоритъ правду вообще, но и въ частности, какъ человѣкъ своего времени, миритъ свой вкусъ съ теоріей Руссо.

Этою же теоріей оправдывался въ живописи господствовавшій ландшафтъ, а въ литературѣ — описательная или, какъ называетъ ее Карамзинъ, *живописная* поэзія, отечествомъ которой онъ полагаетъ Англію: «Французы и нѣмцы», говоритъ онъ, «переняли сей родъ у англичанъ, которые умѣютъ замѣчать самыя мелкія черты въ природѣ». Эта поэзія, объясняемая философіею Жанъ-Жака Руссо, давала нашему молодому путешественнику неизсякаемый источникъ сентиментальныхъ восторговъ при созерцаніи красотъ природы. Потому

такъ любилъ онъ Швейцарію, въ которой, по его выраженію, «все, все забыть можно, все, — кромѣ Бога и натуры».

По теоріи Карамзина, человѣкъ созданъ наслаждаться и быть счастливымъ. Источникъ счастья — природа, которая даетъ всему созданному вмѣстѣ съ бытіемъ и наслажденіе имъ. Союзы семейный и общественный потому намъ дороги и милы, что основаны на природѣ. Самая смерть, какъ явленіе естественное, прекрасна, и ужасъ смерти бываетъ слѣдствіемъ нашего уклоненія отъ путей природы.

Своимъ дѣйствіемъ на счастье человѣка искусства дополняютъ природу. Все прекрасное радуетъ, въ какой бы формѣ оно ни было. Въ мірѣ нравственномъ прекрасна добродѣтель: «одинъ взглядъ на добраго есть счастье для того, въ комъ не загрубѣло чувство добра». Религія ведетъ людей къ добру и дѣлаетъ ихъ лучшими. Декартъ великъ потому, что «своимъ нравоученіемъ возвеличиваетъ санъ человѣка, убѣдительно доказывая бытіе Творца, чистую безтѣлесность души, святость добродѣтели». Въ этихъ истинахъ молодой русскій путешественникъ укрѣплялся, бесѣдуя съ Кантомъ, Гердеромъ, Лафатеромъ, Боннетомъ, находилъ имъ доказательства въ своемъ собственномъ сердцѣ и въ радостяхъ, доставляемыхъ природою и искусствомъ, и, наконецъ, насладился немалымъ удовольствіемъ въ жизни, когда, «опершись на монументъ незабвеннаго Жанъ-Жака, видѣлъ заходящее солнце и думалъ о безсмертіи».

Мм. г., вы, безъ сомнѣнія, ожидаете, чтобъ въ характеристикѣ русскаго путешественника я коснулся одной крупной черты, которая, какъ живительный лучъ, освѣщаетъ привѣтливымъ свѣтомъ всѣ его путевыя впечатлѣнія, всѣ его думы, надежды и мечтанія. Это — самая горячая любовь его къ родинѣ, мысль о которой никогда его не покидаетъ. Бесѣдуетъ ли онъ съ Виландомъ о литературѣ, онъ не преминетъ сказать, что и на русскій языкъ переведены нѣкоторыя изъ важнѣйшихъ его сочиненій; веселится ли съ лейпцигскими профессорами за бутылкой вина, онъ сообщаетъ имъ, что и на русскій языкъ переведено десять пѣсней «Мессіады» Клопштока, и, чтобъ познакомить ихъ съ гармоніею нашего языка, читаетъ имъ русскіе стихи; вслушивается въ мелодіи швейцарскихъ пѣсенъ, и ищетъ въ нихъ сходства съ нашими народными, «столько для него трогательными».

Если русскій путешественникъ всегда являлся передъ иностранцами самымъ краснорѣчивымъ и ловкимъ адвокатомъ за Россію, то потому именно, что искренно убѣжденъ былъ въ ея достоинствахъ. Во многомъ давалъ онъ ей предпочтеніе даже предъ самою Англіей, благосостояніемъ и устройствомъ которой онъ столько восхищался, и несравненно выше Людовика XIV ставилъ Петра Великаго, котораго, говорилъ онъ, «почитаю какъ великаго мужа, какъ героя, какъ благодѣтеля человѣчества, какъ моего собственнаго благодѣтеля». Въ преобразованіяхъ Петра онъ видѣлъ разумное примиреніе любви къ родинѣ съ любовью ко всему цивилизованному человѣчеству

Будущій авторъ «Исторіи Государства Россійскаго» посѣтилъ западную Европу, когда во Франціи зачинался громадный переворотъ, который долженъ былъ потрясти всю Европу. Карамзину суждено было провести три мѣсяца въ Парижѣ, въ роковой періодъ времени между штурмомъ Бастиліи и казнію французскаго короля.

Былъ ли молодой русскій путешественникъ настолько приготовленъ, чтобъ уразумѣть открывавшійся на его глазахъ новый порядокъ вещей? Находилъ ли онъ въ себѣ самомъ нравственную опору, чтобы руководствоваться твердыми убѣжденіями, когда все кругомъ его расшатывалось, чтобы принять новый видъ? Наконецъ, въ какой мѣрѣ образовало его историческій взглядъ непосредственное наблюденіе надъ однимъ изъ важнѣйшихъ событій новой исторіи?

Карамзинъ былъ воспитанъ въ идеяхъ XVIII столѣтія, которыя много способствовали французской революціи.

Права человѣчества, основанныя на законахъ природы, а не на искусственныхъ условіяхъ, свобода мысли и совѣсти и свободныя учрежденія — вотъ тѣ мечты, которыя молодой путешественникъ вывезъ съ собою еще изъ Россіи, и которыя въ его воображеніи приняли видъ дѣйствительности, когда онъ очутился въ странѣ республиканской.

Но эта дѣйствительность очень скоро оказалась мнимою. Уже и базельская республика не во всемъ Карамзину полюбилась; что же касается до республики женевской, то онъ увидѣлъ въ ней, наконецъ, не болѣе, какъ *прекрасную игрушку*.

Идеалъ свободныхъ учрежденій остался идеаломъ; молодой мечтатель не переставалъ въ него вѣрить, но — какъ свѣтлую цѣль — далеко отодвинулъ ее, когда лицомъ къ лицу увидѣлъ недостойное для достиженія ея средство, попавши, какъ человѣкъ, застигнутый врасплохъ, въ самую сумятицу переворота, сквозь тяжелую атмосферу котораго въ тысячѣ грязныхъ и безсмысленныхъ случайностей не могъ онъ прозрѣть въ ближайшемъ будущемъ ничего утѣшительнаго.

Потому-то такъ унылы и мрачны были его мысли, когда, направляясь отъ Ліона къ Парижу, онъ бросаетъ взоры на плодоносныя поля по берегамъ Сены, мечтая о ихъ первобытной дикости и опасаясь, чтобъ опять когда-нибудь не водворилось на нихъ прежнее варварство: «Одно утѣшаетъ меня», присовокупляетъ онъ, «то, что съ паденіемъ народовъ не упадаетъ весь родъ человѣческій: одни уступаютъ свое мѣсто другимъ».

То-есть въ необъятномъ горизонтѣ историческаго созерцанія, въ глазахъ будущаго русскаго историка, — французская революція сокращалась до жалкихъ размѣровъ случайности, которая болѣе имѣетъ силу разрушающую, нежели зиждительную.

Именно въ этомъ самомъ смыслѣ касается онъ тогдашнихъ событій — въ письмѣ изъ Лондона: «Здѣсь (т.-е. въ Англіи) была не одна французская революція. Сколько добродѣтельныхъ патріотовъ,

министровъ, любимцевъ королевскихъ положило свою голову на эшафотъ! Какое остервенѣніе въ сердцахъ! Какое изступленіе умовъ! Кто полюбитъ англичанъ, читая ихъ исторію!»

Какъ человѣкъ образованный, онъ отдаетъ справедливость французской монархіи, столько совершившей для образованія, и страшится приближающагося ея паденія. Какъ послѣдователь Жанъ-Жака Руссо, онъ любитъ человѣчество на всѣхъ ступеняхъ общественности, но въ уличныхъ забіякахъ, безсмысленныхъ и безчеловѣчныхъ, не рѣшается видѣть представителей французской націи. «Не думайте однакожъ», писалъ онъ изъ Парижа, «чтобы вся нація участвовала въ трагедіи, которая играется нынѣ во Франціи. Едва ли сотая часть дѣйствуетъ; всѣ другіе смотрятъ, плачутъ или смѣются, бьютъ въ ладоши или освистываютъ, какъ въ театрѣ. Тѣ, которымъ потерять нечего, дерзки какъ хищные волки; тѣ, которые всего могутъ лишиться, робки какъ зайцы; одни хотятъ все отнять, другіе хотятъ спасти что-нибудь. Оборонительная война съ наглымъ непріятелемъ рѣдко бываетъ счастлива. Исторія не кончилась; но по сіе время французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона».

Находя опору въ томъ убѣжденіи, что «всякое гражданское общество, вѣками утвержденное, есть святыня для добрыхъ гражданъ, что въ самомъ несовершеннѣйшемъ надобно удивляться чудной гармоніи, благоустройству, порядку, и что *Утопія* (или царство счастія) можетъ быть достигнута только постепеннымъ дѣйствіемъ времени, посредствомъ медленныхъ, но вѣрныхъ, безопасныхъ успѣховъ просвѣщенія, а не гибельными, насильственными потрясеніями», молодой русскій путешественникъ въ самомъ Парижѣ, не смущаясь вспышками революціи, продолжалъ учиться, и тѣмъ больше убѣждался, что *науки — святое дѣло,* когда съ прискорбіемъ видѣлъ, какъ безумные мечтатели мирную тишину ученаго кабинета мѣняли на эшафотъ.

Потому-то, оставляя Парижъ, онъ посылаетъ ему свое прощальное привѣтствіе: «Я оставилъ тебя, любезный Парижъ, оставилъ съ сожалѣніемъ и благодарностью! Среди шумныхъ явленій твоихъ жилъ я спокойно и весело, какъ безпечный гражданинъ вселенной; смотрѣлъ на твое волненіе съ тихою душою, какъ мирный пастырь смотритъ съ горы на бурное море».

Эту краткую характеристику ничѣмъ приличнѣе не умѣю заключить, какъ словами русскаго путешественника изъ его послѣдняго письма: «Перечитываю теперь нѣкоторыя изъ своихъ писемъ: *вотъ зеркало души моей, въ теченіе осьмнадцати мѣсяцевъ!* Оно черезъ 20 лѣтъ будетъ для меня еще пріятно... Загляну, и увижу, каковъ я былъ, какъ думалъ и мечталъ... Почему знать? Можетъ-быть, и другіе найдутъ нѣчто пріятное въ моихъ *эскизахъ*».

Исторія доказала, что «Письма русскаго путешественника» и черезъ 70 лѣтъ не потеряли своего значенія, и потомство нашло въ нихъ не одно пріятное, но и полезное. *Буслаевъ.*

Значеніе „Писемъ русскаго путешественника“ со стороны ихъ содержанія и формы.

«Письма» Карамзина были едва ли не важнѣйшимъ его литературнымъ произведеніемъ. Они сразу обратили на него вниманіе всего читающаго общества, пріобрѣли ему обширную и громкую извѣстность и сдѣлали его любимцемъ публики. Успѣхъ ихъ у насъ былъ громадный, до того времени небывалый и неслыханный. Общество съ жадностію бросилось на письма; среди тогдашняго застоя въ литературѣ вдругъ оказалось самое оживленное и самое возбужденное движеніе. Причина понятна. «Письма русскаго путешественника», по обилію и разнообразію содержанія, удовлетворяли всевозможнымъ вкусамъ, интересамъ и требованіямъ, а по формѣ и выраженію были доступны всѣмъ и увлекали всѣхъ: въ живой и легкой формѣ, языкомъ столь же живымъ, бойкимъ, симпатичнымъ и нерѣдко остроумнымъ, свободнымъ отъ тяжелой арматуры языка старой школы, ими передавались самыя разнообразныя и свѣжія впечатлѣнія человѣка умнаго, стоявшаго на высотѣ современнаго европейскаго общаго образованія, съ юношескою страстію относившагося ко всему великому и прекрасному — въ природѣ, жизни, наукѣ и искусствѣ. Семьдесятъ-пять лѣтъ прошло отъ появленія «Писемъ русскаго путешественника», а вы и теперь перечитываете ихъ съ большимъ удовольствіемъ, чѣмъ едва ли не большинство произведеній современной беллетристики. А Карамзину въ то время еще не было и двадцати-пяти лѣтъ. Вообще нельзя не удивляться разнообразію и основательности его образованія. Что могло дать ему тогдашнее время у насъ? А между тѣмъ письма доказываютъ, что его сердце было открыто всѣмъ благороднымъ и возвышеннымъ впечатлѣніямъ. Сколько и теперь найдется молодыхъ путешественниковъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, которые нѣмы и глухи ко всему, что есть прекраснаго въ городахъ, гдѣ они проживаютъ цѣлые годы! Конечно, во всемъ этомъ нельзя не видѣть дарованія, выходящаго далеко изъ ряда обыкновенныхъ. Не по общимъ законамъ литературной критики, а по историческому и временному ихъ значенію, «Письма» дѣйствительно составляютъ эпоху въ нашей литературѣ, и небольшое письмо изъ Твери, отъ 18 мая 1789 года, по справедливому замѣчанію М. П. Погодина, составляетъ эпоху въ исторіи нашего языка. По нѣкоторой легкости отношенія къ нѣкоторымъ серіознымъ явленіямъ науки и жизни, нельзя заключать о неприготовленности Карамзина къ достаточно основательному взгляду на эти явленія и суду о нихъ: Карамзинъ, безъ сомнѣнія, зналъ о нихъ больше, чѣмъ сколько писалъ, а писалъ меньше потому, что желалъ удовлетворить наибольшему числу читателей, на что, впрочемъ, можно найти указанія и въ его письмахъ.

«Письмами русскаго путешественника» Карамзинъ, по возвращеніи изъ-за границы, вдругъ завоевалъ себѣ почетное мѣсто въ на-

шей литературѣ, и занялъ его по праву, потому что никто лучше его не былъ приготовленъ къ литературной дѣятельности, потому что нельзя указать ни на кого на тогдашней литературной аренѣ, кто бы былъ въ такомъ всеоружіи современнаго общаго европейскаго образованія. Передъ нимъ раскрывалась блестящая будущность и представлялась возможность осуществленія давнишнихъ мечтаній о славѣ. *Л. Лавровскій.*

Образовательное значеніе „Писемъ русскаго путешественника" для русскаго общества.

Своими письмами изъ-за границы Карамзинъ впервые внесъ въ нашу литературу самыя обстоятельныя свѣдѣнія объ европейской цивилизаціи, которыя были тѣмъ наставительнѣе, что относились къ послѣднимъ годамъ прошлаго столѣтія, когда господство французскаго направленія стало уступать новымъ идеямъ, продолжавшимъ свое развитіе и въ первой половинѣ текущаго столѣтія; такъ что «Письма русскаго путешественника» даже въ періодъ дѣятельности Пушкина не теряли своего современнаго значенія, частію имѣютъ они его и теперь, потому что въ нихъ впервые были высказаны многія понятія и убѣжденія, которыя сдѣлались въ настоящее время достояніемъ всякаго образованнаго человѣка.

Необычайная цивилизующая сила этихъ писемъ, кромѣ высокаго дарованія и обширныхъ свѣдѣній автора, много зависѣла отъ самой формы этого рода сочиненій. Вмѣсто систематическихъ трактатовъ объ исторіи и статистикѣ западныхъ народовъ, о ихъ литературѣ, искусствѣ и наукѣ, передъ читателями постоянно является симпатическая личность русскаго человѣка, высоко образованнаго, насколько это было возможно въ концѣ прошлаго столѣтія, и въ высшей степени впечатлительнаго и даровитаго, который, съ каждымъ шагомъ на своемъ пути, созрѣваетъ, неутомимо учится, и изъ книгъ и изъ бесѣдъ съ знаменитостями того времени, и, по мѣрѣ успѣховъ, передаетъ плоды своего развитія своимъ немногимъ друзьямъ, кругъ которыхъ долженъ былъ расшириться на всю читающую русскую публику, какъ скоро были изданы въ свѣтъ «Письма русскаго путешественника», и многочисленные читатели ихъ по всѣмъ концамъ нашего отечества нечувствительно воспитывались въ идеяхъ европейской цивилизаціи, какъ бы созрѣвали сами вмѣстѣ съ созрѣваніемъ молодого русскаго путешественника, учась смотрѣть на образованіе его глазами, чувствовать его благородными чувствами, мечтать его прекрасными мечтами.

Если русская литература, со временъ Петра Великаго, довершая дѣло преобразованія, имѣла своею задачею внести къ намъ плоды западнаго просвѣщенія, то Карамзинъ блистательно исполнилъ свое назначеніе. Онъ воспиталъ въ себѣ *человѣка,* чтобы потомъ — съ полнымъ сознаніемъ — явить въ себѣ русскаго патріота. Любовь къ чело-

вѣчеству была для него основою разумной любви къ родинѣ, и западное просвѣщеніе было ему дорого потому, что онъ чувствовалъ въ себѣ силу водворить его въ своемъ отечествѣ.

Стремясь на Западъ учиться для блага своего отечества, онъ шелъ по пути, проложенному Петромъ Великимъ и Ломоносовымъ, и, въ свою очередь, далъ собою образецъ поколѣніямъ новѣйшимъ, оставивъ имъ изъ своего опыта такое завѣщаніе: «Нигдѣ *способы ученія* не доведены до такого совершенства, какъ нынѣ въ Германіи: и кого Платнеръ, кого Гейне не заставятъ полюбить науки, тотъ, конечно, не имѣетъ уже въ себѣ никакой способности».

Представители націи всегда имѣютъ въ себѣ нѣчто типическое, образцовое: какъ идеалъ, господствуютъ они въ умахъ своихъ соотечественниковъ, направляя ихъ мысли и дѣйствія. *Буслаевъ.*

Источники обаятельнаго вліянія „Писемъ русскаго путешественника“ на современниковъ Карамзина.

Путешествіе Карамзина, въ описаніи котораго мы слѣдили за его впечатлѣніями и старались показать его вкусы и предпочтенія къ той или другой сторонѣ, видѣнной имъ чужой жизни, для его духовнаго развитія, для будущей его литературной дѣятельности было въ высшей степени важно. Не только то обстоятельство, что Карамзинъ видѣлъ лицомъ къ лицу любимыхъ имъ писателей и бесѣдовалъ съ ними, хотя, разумѣется, содержаніе и характеръ бесѣдъ этихъ условливались непродолжительными и торопливыми визитами путешественника, самое посѣщеніе мѣстъ, которыя до тѣхъ поръ существовали только въ его воображеніи, должно было оказать свое вліяніе, и надолго образы видѣннаго и слышаннаго остались живыми въ памяти Карамзина; не разъ встрѣчаются воспоминанія странствія въ послѣдующихъ сочиненіяхъ его. Историческое значеніе «Писемъ русскаго путешественника» по отношенію къ тогдашнему читающему обществу было весьма велико. Въ первый разъ предъ образованными русскими людьми предстала Европа, съ произведеніями своего искусства, съ разнообразною природою, составлявшею контрастъ нашей сѣверной, съ представителями духовной дѣятельности своей, конечно, почему-либо только близкими и дорогими сердцу Карамзина. Сентиментальный тонъ путешественника, его сердечныя изліянія при видѣ картинъ природы или случайно подмѣченныхъ на дорогѣ сценъ, пришлись также по вкусу общества. Послѣднее было такъ мало развито тогда, такъ слабо могло интересоваться духовною и умственною стороною Европы, что именно этотъ, частію плаксивый, тонъ и нѣжные восторги нравились ему больше всего. Въ этомъ Карамзинъ нашелъ скоро себѣ подражателей, и русская литература представила цѣлую школу «чувствительныхъ

путешественниковъ», думавшихъ не столько объ описаніи страны, видѣнной ими, сколько желавшихъ познакомить публику съ нѣжностію своего сердца и его изліяніями по поводу небывалыхъ приключеній. *Буличъ.*

Историческій и біографическій интересъ „Писемъ русскаго путешественника".

«Письма» Карамзина имѣютъ для насъ относительное, историческое достоинство; читать ихъ можно въ настоящее время только съ интересомъ изученія самого Карамзина и его литературной эпохи. Не справедлива та критика, которая смотритъ на нихъ съ современной точки зрѣнія и требуетъ отъ нихъ того, чего они не въ состояніи дать. Эта критика нападаетъ на Карамзина за сентиментальный тонъ его описаній, за поверхность содержанія, за то, что онъ не обратилъ вниманія на политическое устройство видѣнныхъ странъ и прочее. Обыкновенно, письма Карамзина сравниваютъ съ «Письмами изъ-за границы» другого русскаго писателя, Фонвизина, писанными имъ къ графу Панину, отдавая преимущество послѣднимъ за большую глубину содержанія и за тонкую, развитую наблюдательность, съ которою Фонвизинъ смотритъ на состояніе Франціи наканунѣ революціи, какъ бы предчувствуя симптомы начинающейся бури. Но знаменитый комикъ нашъ стоялъ въ другомъ отношеніи къ видѣнному, чѣмъ молодой Карамзинъ. Фонвизинъ былъ воспитанъ въ очень дѣльной политической школѣ, служа при графѣ Панинѣ; онъ былъ знакомъ со многими нашими посланниками и переписывался съ ними; его взглядъ необходимо долженъ былъ быть шире. Притомъ Фонвизинъ былъ одиннадцатью годами старше Карамзина, и тѣ предметы, которые могли интересовать послѣдняго, по его развитію и образованію не имѣли никакого значенія для перваго. Карамзину было только двадцать-три года, когда онъ путешествовалъ по Европѣ; онъ былъ молодъ чувствомъ, и оно направлено было у него такъ, какъ раскрывается въ путешествіи; онъ жадно искалъ наслажденія, и нашелъ его. Увлеченіе Карамзина встрѣчами на дорогѣ, которымъ онъ придаетъ романическій характеръ, его восторженныя слезы или восклицанія при видѣ красиваго ландшафта или памятника, посвященнаго романическому событію, — это то же, что гораздо позднѣйшій восторгъ при созерцаніи картинъ Рафаэля или Беато-Анжелико. Всякое время имѣетъ свой паѳосъ и увлеченіе. Не будемъ требовать отъ Карамзина того, что не могли дать ни самъ онъ ни время, его создавшее.

Для насъ письма изъ-за границы Карамзина имѣютъ еще другое значеніе. Они представляютъ высокій автобіографическій интересъ, единственный памятникъ, въ которомъ въ теченіе полутора года можно слѣдить за Карамзинымъ, за его мыслями и чувствованіями, за его жизнію. Здѣсь, по его собственному выраженію, образъ того,

«каковъ онъ былъ, какъ думалъ и мечталъ». Передъ нами теперь тридцать лѣтъ жизни Карамзина, въ продолженіе которыхъ, до самаго его назначенія исторіографомъ, онъ создалъ почти всѣ свои литературныя произведенія, имѣвшія вліяніе на вкусъ и направленіе публики, доставившія ему славу и извѣстность, образовавшія многочисленную школу учениковъ и подражателей, а между тѣмъ изъ этого долгаго, главнаго періода его дѣятельности, о самомъ Карамзинѣ, объ обществѣ, въ которомъ онъ жилъ, о его отношеніяхъ какъ человѣка, мы имѣемъ самыя скудныя, ничтожныя свѣдѣнія. Карамзинъ весь теряется для біографа; мы не знаемъ тѣхъ необходимыхъ связей между произведеніями его и случаями жизни, которыя должны были вызывать первыя; его личность закрывается для глазъ литературнымъ дѣломъ его, и только въ немъ одномъ мы можемъ слѣдить развитіе Карамзина, какъ человѣка. Невольно находитъ на душу грусть, что такъ мало оказано было современниками участія къ писателю, доставлявшему имъ высокое наслажденіе, настроившему на тонъ своихъ произведеній цѣлое общество. Невольно приходитъ въ голову неотвязно печальная мысль, что удовольствіе, доставляемое нашему обществу чтеніемъ и литературою, есть удовольствіе совершенно случайное, а не необходимая потребность образованія, и печальная мысль становится еще печальнѣе отъ сравненія судьбы нашихъ писателей съ судьбою братьевъ ихъ въ Европѣ, окружающей такимъ уваженіемъ духовныхъ вождей, глубоко цѣнящей каждый шагъ ихъ въ жизни и обществѣ и добивающейся открыть необходимую связь жизни и произведеній писателя между собою. Нѣтъ, несмотря на увлеченіе Карамзинымъ, въ пустотѣ жизни, его окружающей, онъ не нашелъ себѣ настоящихъ цѣнителей; современники ничего не сдѣлали для него и не дали намъ средствъ видѣть его посреди людей и общества въ этотъ періодъ его дѣятельности.

Буличъ.

Повѣсти Карамзина: „Бѣдная Лиза" и „Наталья, боярская дочь".

Бѣдная Лиза. Содержаніе этой знаменитой повѣсти чрезвычайно просто, чтобы не сказать бѣдно. Въ Москвѣ, недалеко отъ Симонова монастыря, подлѣ березовой рощи, среди зеленаго луга, стояла бѣдная хижина, въ которой жила *прекрасная Лиза* съ своей матерью старушкой. Отецъ Лизы былъ довольно «зажиточный поселянинъ». Но когда онъ умеръ, то мать и дочь обѣднѣли. Лиза кормила мать своими трудами: она ткала холсты, вязала чулки, весною собирала цвѣты, а лѣтомъ ягоды, и ходила въ городъ продавать ихъ. «Богъ далъ мнѣ руки, — говорила она, — чтобы работать; ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенкомъ; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать: слезы наши не оживятъ батюшки» (ч. III, 4).

Однажды Лиза, продавая въ Москвѣ ландыши, на улицѣ встрѣтила молодого человѣка, который, покупая у нея цвѣты, обратилъ на нее особенное вниманіе и спросилъ, гдѣ она живетъ; вмѣсто пяти копеекъ онъ давалъ ей за цвѣты рубль; но она не взяла его. Молодой человѣкъ такъ ей понравился, что на другой день, нарвавъ самыхъ лучшихъ ландышей, она ужъ искала его въ Москвѣ, другимъ не хотѣла продавать своихъ цвѣтовъ, а когда не нашла его, то бросила ихъ въ рѣку. Между тѣмъ на другой день, вечеромъ, молодой человѣкъ самъ пришелъ въ хижину Лизы и спросилъ напиться; ему принесли молока. Онъ познакомился съ матерью Лизы и понравился ей. «Мнѣ хотѣлось бы, — сказалъ онъ матери, — чтобы дочь твоя никому, кромѣ меня, не продавала своей работы. Такимъ образомъ, ей не зачѣмъ часто ходить въ городъ, и ты не принуждена будешь съ нею разставаться. Я самъ по временамъ буду заходить къ вамъ». Старушка съ охотою приняла его предложеніе, увѣряя его, что полотно, вытканное, и чулки, связанные Лизой, бываютъ отмѣнно хороши и носятся дольше всякихъ другихъ (стр. 8). Молодой человѣкъ сталъ часто бывать у нихъ. Его звали Эрастомъ. Это былъ «довольно богатый дворянинъ, съ изряднымъ разумомъ и добрымъ сердцемъ отъ природы, но слабымъ и вѣтренымъ. Онъ велъ разсѣянную жизнь, думалъ только о своемъ удовольствіи, искалъ его въ свѣтскихъ забавахъ, но часто не находилъ: скучалъ и жаловался на судьбу свою». Красота Лизы при первой встрѣчѣ сдѣлала впечатлѣніе въ его сердцѣ. Ему казалось, что онъ нашелъ въ Лизѣ то, чего сердце его давно искало». Молодые люди сильно полюбили другъ друга, всякій вечеръ видѣлись «или на берегу рѣки, или въ березовой рощѣ, но всего чаще подъ тѣнію столѣтнихъ дубовъ, осѣнявшихъ глубокій чистый прудъ». Лиза до того увлеклась Эрастомъ, что отказала своему жениху, сыну богатаго крестьянина изъ сосѣдней деревни, а Эрастъ далъ обѣщаніе Лизѣ жениться на ней. Но счастье Лизы продолжалось не долго. Эрастъ, насытившись ея любовью, сталъ посѣщать ее рѣже и рѣже, и однажды объявилъ ей, что онъ служитъ въ военной службѣ и долженъ ѣхать на войну. Лиза повѣрила, и Эрастъ уѣхалъ. Прошло около двухъ мѣсяцевъ; Лиза пошла въ Москву купить розовой воды — лѣчить глаза матери. На одной улицѣ вдругъ она увидѣла Эраста въ каретѣ, бросилась за нимъ и прибѣжала въ его домъ; но Эрастъ принялъ ее холодно, объявилъ, что онъ скоро женится на другой. Онъ, дѣйствительно, былъ на войнѣ; но, вмѣсто того, чтобы сражаться съ непріятелемъ, игралъ въ карты и проигралъ почти все свое имѣніе, и, чтобы заплатить свои долги, онъ вздумалъ жениться на богатой вдовѣ. Онъ далъ Лизѣ сто рублей и выпроводилъ изъ своего дома. Лиза очутилась на улицѣ въ такомъ положеніи, котораго никакое перо описать не можетъ. Съ ней произошелъ обморокъ. Одна добрая женщина, которая шла по улицѣ, увидавъ ее лежащею на землѣ, привела ее въ чувство. Лиза вышла изъ города и вдругъ увидѣла себя

на берегу того глубокаго пруда и подъ тѣнію тѣхъ древнихъ дубовъ, которые такъ еще недавно были безмолвными свидѣтелями ея счастія. Встрѣтивъ свою подругу Анюту, она попросила ее отнести матери данные ей Эрастомъ сто рублей, а сама бросилась въ прудъ и утонула. Мать, узнавъ о смерти Лизы, умерла; Эрастъ такъ же былъ несчастенъ: совѣсть не давала ему покоя за то, что онъ сдѣлался убійцей Лизы. «Сердце мое обливается кровію въ сію минуту, — говоритъ авторъ. — Я забываю человѣка въ Эрастѣ — готовъ проклинать его; но языкъ мой не движется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ахъ! для чего пишу не романъ, а печальную быль?» (стр. 22). Горячая симпатія, съ какою авторъ изобразилъ эту исторію «Бѣдной Лизы», нѣжный, чувствительный колоритъ, разлитый по всей повѣсти, и, наконецъ, прекрасныя описанія окрестностей Москвы и Симонова монастыря, невообразимо трогали читателей и сдѣлали эту небольшую и простую повѣсть знаменито-исторической. Окрестности Симонова монастыря долго были любимымъ мѣстомъ гуляній; прудъ, въ которомъ утопилась Лиза, стали называть «Лизинымъ» прудомъ; всѣ деревья по берегамъ его были испещрены начальными буквами ея имени, которыя вырѣзывали гуляющіе.

Въ исторіи литературы «Бѣдная Лиза» имѣетъ значеніе какъ первая повѣсть, сюжетъ которой взятъ изъ простого и притомъ русскаго быта, хотя этотъ простой бытъ изображенъ далеко не такъ просто и не въ русскомъ духѣ, а въ стилѣ западныхъ сентиментальныхъ повѣстей и романовъ. Лиза и мать ея представлены съ возрѣніями и чувствами героевъ и героинь этихъ повѣстей, а не съ такими, какія свойственны простымъ русскимъ крестьянамъ. Съ настоящей точки зрѣнія эта невѣрность дѣйствительности составляетъ ничѣмъ непоправимый недостатокъ; но тогда на поэтическій вымыселъ смотрѣли иначе. Поэтическую творческую фантазію, какъ источникъ этихъ вымысловъ, самъ Карамзинъ называлъ богиней лжи и призраковъ (въ сказкѣ объ Ильѣ Муромцѣ).

Наталья, боярская дочь. «Въ престольномъ градѣ славнаго русскаго царства, въ Москвѣ бѣлокаменной, жилъ бояринъ Матвѣй Андреевъ, человѣкъ богатый, умный, вѣрный слуга царскій и, по обычаю русскихъ, великій хлѣбосолъ. Царь называлъ его правымъ глазомъ своимъ, и правый глазъ никогда царя не обманывалъ. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, онъ призывалъ себѣ на помощь боярина Матвѣя, и бояринъ Матвѣй, кладя чистую руку на чистое сердце, говорилъ: «сей правъ (не по такому-то указу, состоявшемуся въ такомъ-то году), но по моей совѣсти; сей виноватъ по моей совѣсти — и совѣсть его была всегда согласна съ правдою и совѣстью царскою» (стр. 84). Въ каждый двунадесятый праздникъ онъ приготовлялъ длинные столы въ своихъ горницахъ, покрытые чистыми скатертями, уставленные чашами и блюдами съ разными кушаньями. Сидя на лавкѣ, подлѣ высокихъ воротъ, онъ звалъ

къ себѣ обѣдать мимо ходящихъ бѣдныхъ людей, сколько могло помѣститься въ его боярскомъ жилищѣ. Ласково бесѣдуя съ гостями, онъ узнавалъ ихъ нужды, подавалъ имъ хорошіе совѣты, предлагалъ свои услуги и веселился съ ними, какъ съ друзьями. Любовь народная и милость царская были наградою добраго боярина. Но вѣнцомъ его счастія и радости была его единственная дочь, красавица Наталья. Много цвѣтовъ въ полѣ, въ рощахъ и на лугахъ зеленыхъ; но нѣтъ прекраснѣе розы; много было красавицъ въ Москвѣ, но никакая красавица не могла сравниться съ Натальей. Довольно сказать, что самые богомольные старики, видя боярскую дочь у обѣдни, забывали класть земные поклоны, и самыя пристрастныя матери отдавали ей преимущество предъ своими дочерьми. Далѣе авторъ описываетъ душевныя и тѣлесныя качества древне русской боярской дочери и то, въ чемъ она проводила время свое зимой и лѣтомъ «отъ восхода до заката краснаго солнца». Проснувшись на восходѣ солнца и перекрестившись, она тотчасъ вставала и начинала собираться «къ обѣднѣ»; только одна жестокая вьюга зимою, а лѣтомъ проливной дождь съ грозою могли удержать древне русскую дѣвицу отъ исполненія этой обязанности. Становясь всегда въ уголкѣ трапезы, Наталья молилась Богу съ усердіемъ, но въ то же время исподлобья посматривала направо и налѣво. Въ старину не было ни клубовъ ни маскарадовъ, говоритъ авторъ, куда нынѣ ѣздятъ себя казать и другихъ смотрѣть; итакъ, гдѣ же, какъ не въ церкви, любопытная дѣвушка могла поглядѣть тогда на людей? Послѣ обѣдни Наталья всегда раздавала нѣсколько копеекъ бѣднымъ людямъ. Возвратившись отъ обѣдни, она садилась шить въ пяльцахъ или плести кружево, сучить шелкъ, низать ожерелье. Послѣ сытнаго обѣда бояринъ Матвѣй ложился отдыхать, а дочь свою отпускалъ съ мамой гулять въ садъ или на большой зеленый лугъ у «красныхъ воротъ». Вечеромъ къ Натальѣ собирались молодыя подруги; въ ихъ кружокъ приходилъ иногда побесѣдовать и самъ бояринъ и разсказывалъ имъ «приключенія благочестиваго князя Владимира и могучихъ богатырей россійскихъ». Зимой Наталья каталась въ саняхъ по городу и ѣздила къ подругамъ «на вечеринки», гдѣ играли въ жмурки, прятались, хоронили золото, пѣли пѣсни, рѣзвились, «не нарушая благопристойности, и смѣялись безъ насмѣшекъ». Такъ жила Наталья до 17 лѣтъ. Однажды, по обыкновенію, она была у обѣдни и встрѣтила здѣсь одного прекраснаго молодого человѣка, который произвелъ на нее глубокое впечатлѣніе. Ей представилось, что любезный призракъ, который ночью и днемъ прельщалъ ея воображеніе, былъ не что иное, какъ образъ сего молодого человѣка. Въ свою очередь и Наталья понравилась молодому человѣку. На другой день Наталья пришла къ обѣднѣ ранѣе всѣхъ и всѣхъ позже вышла изъ церкви; но молодого человѣка не было; то же повторилось на третій день, и только на четвертый день они опять увидѣлись. Спустя нѣсколько времени, когда боярина Матвѣя не было дома, няня ввела молодого

человѣка въ теремъ; онъ бросился къ ногамъ Натальи и объявилъ ей, что онъ уже давно влюбленъ въ нее. Наталья также призналась ему въ своей любви. Не надѣясь, что бояринъ Матвѣй согласится на ихъ бракъ, онъ уговорилъ Наталью тайно уѣхать съ нимъ и повѣнчаться. Въ ту же ночь онъ увезъ ее вмѣстѣ съ няней. На пути они остановились въ одной деревянной церкви, гдѣ дожидался ихъ одинъ старый священникъ и обвѣнчалъ ихъ. Послѣ вѣнца они продолжали путь и пріѣхали въ дремучій лѣсъ. Навстрѣчу имъ вдругъ вышло нѣсколько человѣкъ съ зажженными пуками соломы и съ кинжалами. Няня подумала, что они находятся въ рукахъ разбойниковъ; но оказалось, что это люди молодого мужа. Его звали Алексѣемъ Любославскимъ. Онъ былъ сынъ одного опальнаго боярина Любославскаго, который, по ложному подозрѣнію, былъ замѣшанъ въ заговорѣ противъ государя и, чтобы спасти свою жизнь, бѣжалъ изъ Москвы со своимъ 12-лѣтнимъ сыномъ Алексѣемъ и скрылся на берегахъ Волги, въ той странѣ, гдѣ въ эту рѣку вливается Свіяга (значитъ, въ странѣ Казанской). Проживъ здѣсь около 10 лѣтъ, онъ умеръ, поручивъ передъ смертью сына своего одному другу своему въ Москвѣ, который построилъ для его убѣжища уединенный домикъ въ 40 верстахъ, въ дремучемъ, непроходимомъ лѣсу, но самъ тоже вскорѣ послѣ этого умеръ. Алексѣй переселился въ этотъ домикъ уже послѣ его смерти. Это и было то мѣсто, куда онъ привезъ Наталью. Молодые люди устроились хорошо; но Наталья не могла забыть оставленнаго ею отца и постоянно сокрушалась, а Алексѣя тяготила царская опала, вслѣдствіе которой онъ не могъ нигдѣ показаться. Онъ придумывалъ способы испросить прощеніе у боярина Матвѣя и заслужить милость государя. Этому помогъ слѣдующій случай. На Московское царство напали литовцы. Алексѣй вздумалъ отправиться на войну, чтобы подвигами своими обратить на себя вниманіе; но Наталья никакъ не хотѣла разстаться съ нимъ и рѣшилась сама отправиться на войну: «дай мнѣ только, — сказала она, — мечъ острый и копье булатное, шишакъ, панцырь и щитъ желѣзный, увидишь, что я не хуже мужчины». Алексѣй выбралъ для нея самое легкое оружіе, нарядилъ ее въ панцырь, сдѣланный изъ мѣдныхъ колецъ (на которомъ было написано: «съ нами Богъ, — никто же на ны»), вооружилъ своихъ людей, надѣлъ латы своего отца и съ Натальей отправился на войну. На войнѣ Алексѣй и Наталья такъ отличились своею храбростію, что обратили на себя всеобщее вниманіе. Донося о побѣдѣ, военачальникъ писалъ царю: «Мы не можемъ по достоинству восхвалить того юнаго воина, которому принадлежитъ вся честь побѣды, и который гналъ, разилъ непріятелей и собственною рукою плѣнилъ ихъ предводителя. Повсюду слѣдовалъ за нимъ братъ его, прекрасный отрокъ, и закрывалъ его щитомъ своимъ. Онъ не хочетъ объявить имени своего никому, кромѣ тебя, государь» (стр. 134). Государь потребовалъ ихъ къ себѣ и спросилъ, кто они такіе, и когда они

объявили себя, то простилъ Алексѣя и уговорилъ и боярина Матвѣя простить Наталью и благословить ихъ на супружескую жизнь. И потомъ они жили счастливо до глубокой старости.

Повѣсть написана Карамзинымъ въ 1792 году, когда авторъ уже началъ изучать русскую исторію и хотѣлъ воскресить предъ русскимъ обществомъ древнерусскую жизнь. «Кто изъ насъ, — говоритъ онъ въ самомъ началѣ повѣсти, — не любитъ тѣхъ временъ, когда русскіе были русскими, когда они въ собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ по своему сердцу, т.-е. говорили какъ думали» (стран. 81). Онъ относится къ древнерусской жизни съ глубокимъ сочувствіемъ и старается выставить всѣ лучшія ея стороны иногда въ укоръ современной жизни. Говоря о добротѣ, честности и правдивости боярина Матвѣя, о его покровительствѣ и заступничествѣ за своихъ бѣдныхъ сосѣдей, онъ прибавляетъ: «чему въ наши просвѣщенныя времена, можетъ-быть, не всякій повѣритъ, но что въ старину совсѣмъ но почиталось рѣдкостью»; говоря о качествахъ его дочери Натальи, онъ замѣчаетъ, что «она имѣла свои свойства благовоспитанной дѣвушки, хотя русскіе не читали тогда ни Локка о воспитаніи ни Руссова Эмиля». Въ бояринѣ представленъ типъ именитаго и богатаго боярина, въ Натальѣ — типъ древнерусской боярышни; но черты этихъ типовъ слишкомъ общи и слишкомъ идеализированы, изображены безъ всякихъ тѣней тогдашней дѣйствительности, безъ исторической обстановки; въ характерѣ Натальи авторъ даже отступаетъ отъ исторіи, выводя Наталью изъ замкнутой свѣтлицы или терема на войну, въ военный станъ, съ рыцарскимъ пошибомъ, героиней въ родѣ какой-нибудь Жанны д'Аркъ, для чего примѣровъ древняя исторія русская не представляетъ. *Порфирьевъ.*

Сентиментализмъ, внесенный Карамзинымъ въ нашу литературу.

Господствующій тонъ въ «Письмахъ» Карамзина — сентиментальный, объясняемый, съ одной стороны, природною наклонностью автора ко всему чувствительному, а съ другой — подражаніемъ иностраннымъ образцамъ, на которые въ то время была мода.

Начало сентиментализму въ литературѣ положено Томсоновой поэмой «Времена года» (1726), Ричардсоновымъ романомъ «Кларисса» (1748) и «Чувствительнымъ путешествіемъ» Стерна (1768), которому принадлежитъ и изобрѣтеніе слова «sentimental». Чрезвычайный успѣхъ «Клариссы» объясняется тѣми самыми обстоятельствами, по которымъ мѣщанская трагедія привлекала зрителей въ театръ. Какъ этотъ родъ драмы служилъ реакціей ложноклассическимъ трагедіямъ, такъ Ричардсоновъ романъ былъ поворотомъ отъ романтическихъ сказокъ и героическихъ исторій къ повѣсти о вседневной домашней жизни,

съ ея радостями и страданіями, съ ея мелкими случайностями и великими, не всегда и не для всѣхъ замѣтными жертвами. Такъ и здѣсь поэзія замѣняла холодный идеализмъ истиной и дѣйствительностью, величіе родового или общественнаго положенія лицъ внутреннимъ, человѣческимъ ихъ достоинствомъ, условныя формы и торжественный тонъ простотою и естественностью рѣчи. Карамзинъ понималъ существенное значеніе Ричардсонова романа, какъ видно изъ его извѣстія о русскомъ переводѣ «Клариссы»: «Ричардсонъ — искусный живописецъ моральной натуры человѣка... Въ романѣ его — наилучшая философія жизни, предложенная наиπріятнѣйшимъ образомъ... Написать романъ въ восьми томахъ, не прибѣгая ни къ чудесамъ, которыми эпическіе поэты стараются возбуждать любопытство въ читателяхъ, ни къ сладострастнымъ картинамъ, которыми многіе изъ новѣйшихъ романистовъ прельщаютъ наше воображеніе, и не описывая ничего, кромѣ самыхъ обыкновенныхъ сценъ жизни, — не бездѣлица»[1]. Руссо, почитавшій «Клариссу» лучшимъ англійскимъ романомъ, подражалъ ему въ «Новой Элоизѣ» (1761), которая оказала быстрое и могущественное дѣйствіе на европейскія литературы.

Стернъ назвалъ свое путешествіе «чувствительнымъ» потому, что оно описываетъ не столько внѣшній міръ, имъ видѣнный, сколько его собственный внутренній міръ — его впечатлѣнія и чувства. Это, говоря его словами, «путешествіе сердца къ природѣ и такимъ ощущеніямъ, которыя проистекаютъ изъ нея и побуждаютъ насъ любить ближнихъ и даже цѣлый міръ больше, нежели мы обыкновенно его любимъ». Между англійскими подражаніями Стерну замѣчателенъ романъ второстепеннаго писателя Макензи: «Чувствительный человѣкъ». Въ Германіи Стерновскій тонъ былъ доведенъ до крайности Георгомъ Якоби: его «Лѣтнія и зимнія странствованія»[2]) не описываютъ никакихъ явленій, а выражаютъ только смутныя ощущенія, возбужденныя въ душѣ путешественника природою двухъ противоположныхъ временъ года. По отношенію къ нашей литературѣ важнѣе путешествія французскаго писателя Верна, котораго соотечественники величали Стерномъ. Ихъ два: «Чувствительный путешественникъ или моя прогулка въ Иверденъ» и «Чувствительный путешественникъ по Франціи во время Робеспьера»[3]). Но они имѣли вліяніе не на самого Карамзина, а на его подражателей.

Съ Ричардсономъ знакомились мы и чрезъ его собственные романы: «Памелу» (1787), «Клариссу» (1791 — 1792) и «Грандиссона» (1793 — 94), и чрезъ французское ему подражаніе: «Новая Памела» (1788), и чрезъ русское подражаніе французскому подражанію: «Россійская Памела, или исторія Маріи, добродѣтельной по-

[1]) «Московскій Журналъ», 1791.

[2]) Winterreise (1769), Sommerreise (1770).

[3]) Le Voyageur sentimental ou ma promenade à Iwerdum (1781); Le Voyageur sentimental en France sous Robespierre.

селянки» (1794). Авторъ послѣдней, Павелъ Львовъ, былъ часто осмѣиваемъ въ журналѣ Крылова «Зритель», подъ именемъ Антиричардсона. На ряду съ англійскимъ романистомъ ставили у насъ Бакюлара Арно или Арно старшаго, сочиненія котораго носятъ печать меланхолическаго, подчасъ мрачнаго сентиментализма. Его повѣсти начали переходить въ нашу литературу еще съ 70-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Особенною извѣстностью пользовались: «Батильда, или торжество любви», а потомъ «Эльвирь», въ переводѣ Кострова. Изъ сочиненій Стерна переведены въ 1789 г. «Письма Іорика», а въ 1793 — «Путешествіе»; кромѣ того, въ 1801 г. изданы: «Красоты Стерна, для чувствительныхъ сердецъ» и его же «Нравоучительныя рѣчи и нѣкоторыя нравственныя изреченія». Другія его сочиненія вышли позже. Уваженіе къ таланту и манерѣ англійскаго юмориста доходило иногда до наивнаго паѳоса. Въ одномъ журналѣ[1]) переводъ отрывка изъ «Новаго Іорика» сопровождается такимъ замѣчаніемъ: «*Безподобный* Стернъ! ты произвелъ многихъ подражателей, которые и чрезъ то уже имѣютъ въ глазахъ моихъ великую цѣну, что *тебѣ* подражали». Первая часть «Новой Элоизы» явилась еще въ 1796 г.[2]); вполнѣ этотъ романъ переведенъ два раза: 1792 — 93 и 1804 гг. Прибавимъ, что Ѳедоръ Эминъ подражалъ «Элоизѣ» въ «Письмахъ Эрнеста и Доравры» (1766)[3]).

«Письма русскаго путешественника», видимо, имѣли передъ собою классическій образецъ въ этомъ родѣ литературы — «Путешествіе Стерна», котораго Карамзинъ называетъ «оригинальнымъ живописцемъ чувствительности». Но подражать оригинальному автору возможно только при однородномъ съ нимъ талантѣ. Талантъ же Карамзина вовсе не былъ способенъ къ юмору, «озирающему міръ сквозь смѣхъ и слезы». Цѣлостное, неразложимое сочитаніе двухъ противоположныхъ элементовъ въ одномъ юмористическомъ потокѣ даже приходилось ему не по сердцу. Онъ осудилъ драму Коцебу: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе», именно за то, что она заставляетъ зрителей въ одно и то же время и плакать и смѣяться. Такой характеръ пьесы онъ объясняетъ или отсутствіемъ вкуса въ авторѣ,

---

[1]) «Пріятное и полезное препровожденіе времени».

[2]) Переводчикъ ея, гр. Павелъ Потемкинъ, передалъ на русскій языкъ два другія сочиненія Руссо: «Разсужденіе о томъ, возстановленіе наукъ и художествъ способствовало ли къ исправленію нравовъ» (1768) и «Разсужденіе о началѣ и основаніи неравенства между людьми» (1770).

[3]) Здѣсь указаны только отдѣльныя изданія переводовъ. Но знакомство съ ихъ подлинниками началось, разумѣется, раньше. Переходъ чужеземнаго въ отечественную словесность представляетъ нѣсколько степеней: сначала движеніе иностранной литературы доходитъ до свѣдѣнія людей образованнѣйшихъ, имѣющихъ возможность знакомиться съ нею на ея языкѣ; потомъ его органомъ становится журналистика; далѣе являются переводы тѣхъ сочиненій, которыми оно обнаружилось или въ которыхъ сосредоточилось; наконецъ, слѣдуютъ подражанія этимъ сочиненіямъ. Не всегда эти степени идутъ въ обозначенномъ порядкѣ; нерѣдко случается, что подражаніе предваряетъ переводы.

или нехотѣніемъ автора подчиняться законамъ вкуса. Вслѣдствіе этого, подражаніе Стерну вышло у Карамзина одностороннимъ и неглубокимъ, хотя и нѣтъ никакого повода заподозрѣвать искренность чувствительности, разлитой по всѣмъ «Письмамъ», и, напротивъ, есть всѣ основанія утверждать, что она вполнѣ чистосердечна, какъ естественное проявленіе, съ одной стороны, природнаго свойства его души, а съ другой — его понятія о пользѣ и необходимости этого свойства для авторской дѣятельности. Карамзинъ самъ называетъ себя въ письмахъ чувствительнымъ путешественникомъ; самъ говоритъ, что повѣсть: «Наталья боярская дочь» (1792) написана «для однѣхъ чувствительныхъ душъ, вѣрующихъ въ симпатію сердца». Изъ окончанія статьи: «Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи» (1793) видно, что лучшимъ качествомъ своихъ сочиненій, достойнымъ памяти потомства, онъ признавалъ отраженіе души и сердца. Однихъ талантовъ и знаній недостаточно писателю: онъ долженъ имѣть и доброе, нѣжное сердце, «если хочетъ быть другомъ и любимцемъ души нашей, если хочетъ, чтобы дарованія его сіяли свѣтомъ немерцающимъ, если хочетъ писать для вѣчности и собирать благословеніе народовъ». Назначеніе искусства, по мнѣнію Карамзина, — распространять пріятныя впечатлѣнія «въ области чувствительнаго». Романистъ, историкъ сообщаютъ своимъ повѣствованіямъ прелесть и силу только при дѣйствіи чувствительности: «ты хочешь быть авторомъ? читай исторію несчастій рода человѣческаго: и если сердце твое не обольется кровью — оставь перо, или оно изобразитъ намъ хладную мрачность души твоей... Однимъ словомъ: дурной человѣкъ не можетъ быть хорошимъ авторомъ».

Изъ этой-то «области чувствительнаго» Карамзинъ заимствовалъ сюжетъ своей повѣсти: «Бѣдная Лиза» (1792). Въ настоящее время трудно представить себѣ силу впечатлѣнія, произведеннаго небольшимъ разсказомъ, который не заключаетъ въ себѣ ничего особеннаго ни по интригѣ ни по развитію психологическому. Однакожъ, чрезвычайный успѣхъ повѣсти есть несомнѣнный фактъ. Симоновъ монастырь съ его окрестностями, гдѣ жила Лиза, сдѣлался любимымъ мѣстомъ для сентиментальныхъ прогулокъ. Посѣтители и посѣтительницы, гуляя по берегамъ пруда, въ который съ тоски и отчаянія бросилась героиня, мечтали о несчастной судьбѣ ея и вырѣзывали начальную букву ея имени на прибрежныхъ березахъ[1]). Одни ставили себя на мѣстѣ Эраста, другія страшились быть обманутыми въ любви. Стихотворцы славили автора или сочиняли элегіи «къ праху бѣдной Лизы». А сколько слезъ было пролито при чтеніи повѣсти! Сколько подражаній ей написано! Одинъ изъ журналовъ замѣтилъ, что, увлекаясь Карамзинымъ, наши авторы не оставили ни одного мона-

---

[1]) Къ отдѣльному изданію «Бѣдной Лизы» (1787) приложена картинка, изображающая прудъ и деревья съ вырѣзанными на нихъ вензелями.

стыря въ покоѣ. «Бѣдная Лиза» стала забываться только съ того времени, какъ явилась Людмила Жуковскаго (1808).

Необыкновенный успѣхъ повѣсти объясняется тѣмъ, что она была первымъ талантливымъ произведеніемъ въ новомъ сентиментальномъ направленіи повѣствовательной поэзіи. До нея уже многіе виды романа перебывали въ нашей литературѣ, постоянно слѣдовавшей за движеніемъ литературъ европейскихъ; но въ ближайшее къ ней время, какъ мы видѣли изъ отзыва Карамзина о Ричардсоновой «Клариссѣ», стояли на виду романы героическіе. Идеаломъ ихъ служили баснословныя или, по крайней мѣрѣ, древне-историческія личности, поднимавшіяся высоко надъ породою обыкновенныхъ смертныхъ. Разсказъ объ ихъ приключеніяхъ, большею частію, имѣлъ цѣль поучительную; онъ доставлялъ романисту возможность выговаривать, въ бесѣдахъ между дѣйствующими лицами, свои понятія о философіи, политикѣ, морали. Прототипомъ ихъ былъ Фенелоновъ Телемакъ, за которымъ слѣдовали: «Киропедія», «Жизнь, Сиѳа царя египетскаго», «Похожденія Неоптолема, Ахиллесова сына» и многіе другіе. Къ числу оригинальныхъ сочиненій въ этомъ родѣ относятся сочиненія Ѳедора Эмина и Хераскова. Первый написалъ «Приключенія Ѳемистокла и разные политическіе, гражданскіе, философскіе, физическіе и военные съ сыномъ своимъ разговоры» (1763); второму мы одолжены двумя эпическими повѣствованіями: «Кадмъ и Гармонія» (1789) и «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи» (1794) [1]. Вслѣдъ за этими прозаическими эпопеями надобно поставить романы, интересъ которыхъ сосредоточивался не на той или другой тенденціи, выступавшей изъ разсказа о приключеніяхъ, а на самыхъ приключеніяхъ, болѣе или менѣе запутанныхъ. Они водили своего героя — не полубога или дѣятеля глубокой старины, а простого смертнаго — по морямъ и по сушѣ, словно хитроумнаго Улисса, или заставляли его перебывать, какъ Жильблаза, въ разныхъ состояніяхъ жизни, чтобы въ первомъ случаѣ познакомить читателя съ природою и жителями чужеземныхъ государствъ, а во второмъ — съ характеромъ общественныхъ разрядовъ и званій. Карамзинъ находилъ эти романы полезными, такъ какъ они сообщаютъ публикѣ энциклопедическія познанія, преимущественно по географіи и натуральной исторіи. Въ разговорѣ съ Каменевымъ онъ утверждалъ, что «ничѣмъ больше нельзя усовершенствовать себя въ истинѣ, какъ прилежнымъ чтеніемъ подобныхъ книгъ». Что касается до романовъ соблазнительнаго содержанія, то они, по самому свойству изображаемыхъ лицъ и событій, не допускающихъ идеализаціи, выказывали болѣе правдоподобія, болѣе согласія съ дѣйствительною жизнію, но это достоинство не избавляло ихъ отъ другихъ важныхъ недостатковъ: цинизма сладострастныхъ картинъ, ласкательства животнымъ инстинктамъ и во-

[1]) Упомянемъ еще объ «Арфаксадѣ, халдейской повѣсти» (1793—96) и о «Приключеніяхъ Клеандра, храбраго царевича лакедемонскаго» (1798).

обще легкомысленнаго отношенія къ нравственному чувству. Повѣсть А. Измайлова: «Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и общества» (1799—1801) даетъ намъ понятіе о романахъ этого разряда. Ее нельзя пройти молчаніемъ, потому что она во многомъ отражаетъ тогдашнюю русскую жизнь извѣстныхъ классовъ общества: нѣкоторыя лица, ею очерченныя, нѣкоторыя случайности, въ ней разсказанныя, провѣряются и подтверждаются характеристикою нравовъ прошлаго столѣтія въ сатирическихъ журналахъ Екатеринина времени.

Если скандалезная хроника возмущала нравственное чувство читателей, то героическое повѣствованіе не могло вполнѣ удовлетворить ихъ ни выборомъ дѣйствующихъ лицъ, ни диковинными ихъ приключеніями, ни философскими бесѣдами, для которыхъ сюжетъ нерѣдко служилъ только рамою. Дѣйствующія лица слишкомъ удалены отъ обыкновенной жизни по своей породѣ, общественному положенію, духовнымъ и тѣлеснымъ силамъ. Они были герои и героини, въ высшемъ значеніи этого слова, исключительные счастливцы или несчастливцы, на долю которыхъ выпадало то, что въ насущномъ быту человѣка или вовсе не является, или является какъ чудо. По ихъ чрезвычайнымъ подвигамъ нельзя было измѣрять обыкновенной исторіи человѣка,—того, въ чемъ проходятъ дни и годы цѣлыхъ поколѣній. Они не затрогивали ни чувства народности ни чувства общечеловѣчности, такъ какъ послѣдняя выражается всѣмъ извѣстными и всѣмъ доступными фактами, а не такими, какіе трудно и вообразить себѣ безъ предсказаній оракула. Не встрѣчая въ повѣсти объ ихъ похожденіяхъ близкаго себѣ интереса, читатель оставался къ нимъ равнодушенъ. Отсутствіе возможныхъ съ ними связей не вознаграждалось ни разсужденіями, часто умными и дѣльными, но часто и утомительными, ни разсѣянными по роману историко-географическими указаніями, какъ бы они ни были полезны. Большинство читающихъ ищетъ въ романѣ пріятныхъ впечатлѣній на воображеніе и чувство, а не обогащенія ума идеями и познаніями.

Мѣщанская драма и Ричардсоновы романы низвели поэтическій вымыселъ изъ надземнаго героизма въ среду ежедневно переживаемой нами жизни. Къ этому роду повѣстей относится и «Бѣдная Лиза». Она понравилась современному образованному классу не столько сюжетомъ и внѣшней обстановкой, сколько внутреннимъ содержаніемъ; другими словами: въ ней выраженіе національныхъ особенностей уступаетъ выраженію общечеловѣческаго элемента. Впрочемъ, и мѣстный колоритъ соблюденъ въ ней до извѣстной степени. Мѣсто дѣйствія—Симоновъ монастырь съ его окрестностями—описано вѣрно, о чемъ свидѣтельствуетъ Каменевъ въ письмѣ къ своему казанскому пріятелю. Имя героя (Эрастъ) хотя и звучитъ романически, но взято изъ русскихъ святцевъ. Добросердечный и въ то же время вѣтреный и слабовольный, онъ легко могъ встрѣчаться въ кругу тогдашней

молодежи, какъ въ кругу молодежи всякаго времени. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что такому человѣку, начитавшемуся идиллій и романовъ и мечтавшему о природной простотѣ, понравилась миловидная крестьянка. Вещь также возможная, что и крестьянка полюбила молодого, привѣтливаго барина. Другое дѣло — образъ мыслей Лизы и ея матери, характеръ ихъ чувствъ, способъ ихъ выраженія: все это, конечно, не соотвѣтствуетъ крестьянскому быту, и съ этой стороны дѣйствующія лица не типы, а идеализація, заимствованная у пасторальной поэзіи. Но строго осуждать за это автора значило бы измѣнять требованіямъ исторической критики литературныхъ произведеній. Въ то время вымыселъ своимъ близкимъ воспроизведеніемъ дѣйствительной жизни даже не понравился бы читателямъ. Если они, наравнѣ съ журналами, одобряли идилліи, выходившія много лѣтъ спустя послѣ «Бѣдной Лизы» и ничѣмъ не напоминавшія русскихъ поселянъ, то что имѣли возразить они противъ крестьянки, своею рѣчью и манерами напоминавшей барышню? Напротивъ, такое сходство сообщало, въ ихъ представленіи, особенную цѣну героинѣ. Недостатокъ индивидуальнаго колорита закрывался общечеловѣческимъ элементомъ, лежащимъ въ основѣ повѣсти. Этотъ элементъ — чувство любви, которая отвергаетъ неравенство состояній и для которой пословица: «не въ свои сани не садись», лишена всякаго значенія. Въ комъ это чувство проявляется естественнѣе, чище и независимѣе, къ тому и стремится симпатія читателя. Состраданіе къ судьбѣ Лизы было состраданіемъ къ человѣку, какъ человѣку цѣнимому по его внутренней пробѣ, а не по внѣшнему клейму, которое кладутъ на него генеалогическая роспись, общественное положеніе и другія отличія! Повѣсть возбуждала филантропическое впечатлѣніе, что и служитъ наилучшею ей похвалой. Читатели самовольно становились на сторону Лизы; никто изъ нихъ, съ гуманной точки зрѣнія, не думалъ оправдывать Эраста, хотя съ другихъ точекъ зрѣнія и можно было оправдывать, что онъ не женился на крестьянкѣ. Послѣ «Бѣдной Лизы» сентиментальное направленіе повѣствовательной поэзіи одержало верхъ надъ другими направленіями. Разсуждая о книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи (1802), Карамзинъ говоритъ, что изъ всѣхъ родовъ книгъ больше всего расходились у насъ романы, а изъ разныхъ родовъ романа — чувствительные.

Въ повѣсти: «Наталья, боярская дочь» (1792), Карамзинъ обратился за сюжетомъ къ русской старинѣ, показавъ тѣмъ, что патріотическое чувство его давно уже направлялось къ прошлому отчизны, «когда русскіе были русскими, когда они въ собственное платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ, по своему сердцу». Несмотря, однакожъ, на описаніе нѣкоторыхъ обычаевъ до-петровскаго времени, повѣсть не можетъ быть названа «историческою» въ томъ смыслѣ, какъ теперь понимаютъ это слово. Авторъ ея только въ извѣстной, очень малой мѣрѣ поддѣлывался подъ древній колоритъ. И по характеру любви,

и по ея выраженію дѣйствующія лица очень далеко отстоятъ отъ тѣхъ, которыхъ они должны были служить поэтическимъ воспроизведеніемъ, и почти незамѣтной чертой различаются отъ современниковъ и современницъ Карамзина. Повѣсть направлена, главнымъ образомъ, къ возбужденію чувствительности. Предполагая, что читатели усомнятся въ быстро зародившейся «симпатіи сердецъ, другъ для друга сотворенныхъ», Карамзинъ дѣлаетъ оговорку: «кто не вѣритъ симпатіи, тотъ поди отъ насъ прочь и не читай нашей исторіи, которая назначается для однѣхъ чувствительныхъ душъ, имѣющихъ сію сладкую вѣру». *Галаховъ.*

Разсужденіе о любви къ отечеству и народной гордости.

«Все народное ничто предъ человѣческимъ, — говорилъ Карамзинъ въ «Письмахъ русскаго путешественника»: — главное дѣло быть людьми, а не славянами; что выдумано французами, нѣмцами и англичанами, то мое, ибо я человѣкъ». Впослѣдствіи Карамзинъ увидѣлъ, что все человѣческое существуетъ и можетъ обнаруживаться только въ народной формѣ, что для того, чтобы быть людьми, непремѣнно нужно принадлежать къ какому-нибудь народу, къ какому-нибудь обществу; что понятія: человѣкъ и человѣчество, суть понятія отвлеченныя, а въ дѣйствительности существуютъ французы, нѣмцы, англичане, русскіе; что хотя все, пріобрѣтенное разными народами, принадлежитъ всему человѣчеству, но не все, пріобрѣтенное однимъ народомъ, можетъ быть пригодно другому народу, ибо каждый народъ можетъ, кромѣ общихъ потребностей, имѣть другія потребности, возникающія вслѣдствіе разныхъ условій народной жизни, условій климатическихъ, историческихъ и соціальныхъ. Вслѣдствіе этого Карамзинъ, не переставая сочувствовать европейскому образованію, наукѣ, искусству, явился горячимъ проповѣдникомъ патріотизма въ своемъ разсужденіи «О любви къ отечеству и народной гордости». Здѣсь онъ доказываетъ, что человѣкъ не можетъ жить внѣ своего народа, что онъ связанъ съ нимъ такими узами, разорвать которыя невозможно. Эти узы составляютъ тѣ формы жизни, которыя созданы почвою и климатомъ страны, религіозными и политическими учрежденіями, нравами и обычаями, которые и составляютъ народность. На основаніи этихъ коренныхъ началъ любви къ отечеству, онъ раздѣляетъ ее на три вида: физическую, нравственную и политическую. Любовь физическая есть привязанность къ мѣсту своего рожденія и воспитанія. «Сія привязанность есть общая для всѣхъ людей и народовъ; есть дѣло природы, и должна быть названа физическою. Родина мила сердцу не мѣстными красотами, не яснымъ небомъ, не пріятнымъ климатомъ, а плѣнительными воспоминаніями, окружающими, такъ сказать, утро и колыбель человѣчества... Лапландецъ, рожденный почти во гробѣ природы, несмотря на то, любитъ хладный мракъ земли своей. Переселите его въ счастливую

Италію: онъ взоромъ и сердцемъ будетъ обращаться къ сѣверу, подобно магниту; яркое сіяніе солнца не произведетъ такихъ сладкихъ чувствъ въ его душѣ, какъ день сумрачный, какъ свистъ бури, какъ паденіе снѣга: они напоминаютъ ему отечество! Самое расположеніе нервовъ, образованныхъ въ человѣкѣ по климату, привязываетъ насъ къ родинѣ. Не даромъ медики совѣтуютъ иногда больнымъ лѣчиться ея воздухомъ; не даромъ житель Гельвеціи, удаленный отъ снѣжныхъ горъ своихъ, сохнетъ и впадаетъ въ меланхолію; а возвращаясь въ дикій Унтервальденъ, въ суровый Гларисъ, оживаетъ. Всякое растеніе имѣетъ болѣе силы въ своемъ климатѣ: законъ природы и для человѣка не измѣняется» (466). Нравственная любовь къ отечеству возникаетъ и развивается въ той средѣ, въ которой происходитъ воспитаніе и образованіе человѣка. «Съ кѣмъ мы росли и живемъ, къ тѣмъ привыкаемъ. Душа ихъ сообразуется съ нашею; дѣлается нѣкоторымъ ея зеркаломъ; служитъ предметомъ или средствомъ нашихъ нравственныхъ удовольствій, и обращается въ предметъ склонности для сердца. Сія любовь къ согражданамъ или къ людямъ, съ которыми мы росли, воспитывались и живемъ, есть вторая или нравственная любовь къ отечеству, столь же общая, какъ и первая, мѣстная или физическая, но дѣйствующая въ нѣкоторыхъ лѣтахъ сильнѣе: ибо время утверждаетъ привычку. Надобно видѣть двухъ единоземцевъ, которые въ чужой землѣ находятъ другъ друга: съ какимъ удовольствіемъ они обнимаются и спѣшатъ изливать душу въ искреннихъ разговорахъ!... На берегахъ прекраснѣйшаго въ мірѣ озера, служащаго зеркаломъ богатой натурѣ, случилось мнѣ встрѣтить голландскаго патріота, который, по ненависти къ штатгальтеру и оранистамъ, выѣхалъ изъ отечества и поселился въ Швейцаріи, между Ніона и Роля. У него былъ прекрасный домикъ, физическій кабинетъ, библіотека; сидя подъ окномъ, онъ видѣлъ предъ собою великолѣпнѣйшую картину природы. Ходя мимо домика, я завидовалъ хозяину, не знавъ его; познакомился съ нимъ въ Женевѣ и сказалъ ему о томъ. Отвѣтъ голландскаго флегматика удивилъ меня своею живостію: «Никто не можетъ быть счастливымъ внѣ своего отечества, гдѣ сердце выучилось разумѣть людей и образовало свои любимыя привычки. Никакимъ народомъ нельзя замѣнить согражданъ. Я живу не съ тѣми, съ кѣмъ жилъ 40 лѣтъ, и живу не такъ, какъ 40 лѣтъ: трудно пріучать себя къ новостямъ, и мнѣ скучно!» (466—468). «Но физическая и нравственная привязанность къ отечеству, дѣйствіе натуры и свойствъ человѣка, не составляетъ еще той великой добродѣтели, которою славились греки и римляне. Патріотизмъ есть любовь къ благу и славѣ отечества и желаніе способствовать имъ во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ требуетъ разсужденія, и потому не всѣ люди имѣютъ его. Самая лучшая философія есть та, которая основываетъ должности человѣка на его счастіи. Она скажетъ намъ, что мы должны любить пользу отечества, ибо съ нею неразрывна наша собственная; что его просвѣщеніе окружаетъ насъ самихъ многими удовольствіями въ жизни; что его тишина и добродѣтели служатъ щитомъ семейственныхъ наслажде-

ній; что слава его есть наша слава; и если оскорбительно человѣку называться сыномъ презрѣннаго отца, то не менѣе оскорбительно и гражданину называться сыномъ презрѣннаго отечества. Такимъ образомъ, любовь къ собственному благу производитъ въ насъ любовь къ отечеству, а личное самолюбіе — гордость народную, которая служитъ опорою патріотизма» (468). Затѣмъ онъ указываетъ на главныя эпохи въ древней и новой исторіи Россіи, знаменитыя событія, подвиги и успѣхи въ наукахъ, искусствахъ и цивилизаціи, составляющіе славу Россіи и долженствующіе служить основаніемъ патріотизма, и, наконецъ, очень скромно въ заключеніе упрекаетъ русскихъ людей въ слабости патріотизма, въ недостаткѣ любви къ своему родному, особенно въ области отечественной науки, отечественнаго языка и словесности. «Расположеніе души моей, слава Богу, совсѣмъ противно сатирическому и бранному духу; но и я осмѣлюсь попенять многимъ изъ нашихъ любителей чтенія, которые, зная лучше парижскихъ жителей всѣ произведенія французской литературы, не хотятъ и взглянуть на русскую книгу. Того ли они желаютъ, чтобы иностранцы увѣдомляли ихъ о русскихъ талантахъ? Пусть же читаютъ французскіе и нѣмецкіе критическіе журналы, которые отдаютъ справедливость нашимъ дарованіямъ, судя по нѣкоторымъ переводамъ. Кому не будетъ обидно походить на Даламбертову мамку, которая, живучи съ нимъ, къ изумленію своему, услышала отъ другихъ, что онъ умный человѣкъ? Нѣкоторые извиняются худымъ знаніемъ русскаго языка: это извиненіе хуже самой вины. Языкъ нашъ выразителенъ не только для высокаго краснорѣчія, для громкой, живописной поэзіи, но и для нѣжной простоты, для звуковъ сердца и чувствительности. Онъ богатѣе гармоніею, нежели французскій; способнѣе для изліянія души въ тонахъ: представляетъ болѣе аналогическихъ словъ т.-е. сообразныхъ съ выражаемымъ дѣйствіемъ: выгода, которую имѣютъ одни коренные языки! Бѣда наша, что все хотимъ говорить по-французски и не думаемъ трудиться надъ обрабатываніемъ собственнаго языка: мудрено ли, что не умѣемъ изъяснять имъ нѣкоторыхъ тонкостей въ разговорѣ? Одинъ иностранный министръ сказалъ при мнѣ, что «языкъ нашъ долженъ быть весьма теменъ, ибо русскіе, говоря имъ, по его замѣчанію, не разумѣютъ другъ друга, и тотчасъ должны прибѣгать къ французскому». Не мы ли сами подаемъ поводъ къ такимъ нелѣпымъ заключеніямъ? Есть всему предѣлъ и мѣра: какъ человѣкъ, такъ и народъ начинаетъ всегда подражаніемъ; но долженъ со временемъ быть самъ собою, чтобы сказать: я существую нравственно!... Патріотъ спѣшитъ присвоить отечеству благодѣтельное и нужное, но отвергаетъ рабскія подражанія въ бездѣлкахъ, оскорбительныя для народной гордости. Хорошо и должно учиться; но горе и человѣку и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ!» (стран. 473—475).

Порфирьевъ.

Нравственное чувство въ „Исторіи“ Карамзина.

Пріятно говорить о томъ произведеніи, съ которымъ связаны для меня, какъ и для многихъ, дорогія воспоминанія дѣтства: по «Исторіи Государства Россійскаго» мы знакомились съ тѣмъ, что совершилось въ давніе годы; въ ней находили мы уроки высокой нравственности: учились любить родную землю, любить добро, ненавидѣть зло, презирать ложь, лесть и коварство; въ живыхъ образахъ являлись намъ и великіе подвиги и позорныя дѣянія; яркіе образы запечатлѣвались въ памяти и на всю жизнь становились свѣтлыми маяками. Каждый изъ насъ, кто занялся исторіей своей страны, занялся, можетъ-быть, и потому отчасти, что впервые онъ познакомился съ нею въ высоко-художественномъ разсказѣ Карамзина, и въ позднѣйшіе годы, много разъ обращаясь къ знакомымъ страницамъ, находилъ здѣсь поученія другого рода: учился, какъ относиться къ источникамъ, какъ ихъ находить, какъ ихъ изучать. Провѣряя Карамзина по источникамъ, каждый убѣждался въ томъ, что если теперь и есть успѣхъ въ занятіяхъ русской исторіей, то самый успѣхъ этотъ зиждется, какъ на твердомъ основаніи, на великомъ твореніи Карамзина; каждая новая попытка возсоздать въ цѣломъ прошедшую судьбу русскаго народа была только новымъ доказательствомъ недосягаемаго величія «Исторіи Государства Россійскаго» — этой единственной исторіи въ полномъ смыслѣ слова, какую только имѣетъ Русская земля.

Не думаю, чтобы кому-нибудь изъ людей, хорошо знающихъ «Исторію Государства Россійскаго (а кто изъ людей сколько-нибудь образованныхъ не знаетъ ея?), показалось страннымъ то мнѣніе, что трудно найти въ какой-либо литературѣ произведеніе болѣе благородное. Оно благородно сочувствіемъ ко всему великому въ природѣ человѣческой, благородно отвращеніемъ отъ всего низкаго и грубаго. IX томъ Исторіи Карамзина служитъ лучшимъ доказательствомъ, что авторъ не останавливался ни передъ какими соображеніями, если хотѣлъ высказать все свое негодованіе: мягкій, снисходительный, любящій Карамзинъ умѣлъ быть неумолимъ, когда встрѣчался съ явленіемъ, возмущающимъ его душу; вспомните, съ какимъ негодованіемъ онъ относится къ Грозному, съ какимъ презрѣніемъ къ его окружающимъ. Я выбралъ самый рѣзкій примѣръ, а такихъ примѣровъ можно найти множество. Карамзинъ не проходитъ ни одного позорнаго дѣянія, чтобы не выразить къ нему своего отвращенія; зато посмотрите, съ какою любовію онъ останавливается на каждомъ свѣтломъ лицѣ, на каждомъ доблестномъ подвигѣ: какъ ярко выходитъ защита Владимира отъ татаръ, Куликовская битва; какъ онъ изображаетъ митрополита Филиппа, Владимира Мономаха и т. д. Въ нравственномъ чувствѣ Карамзина есть одна высокая сторона, доступная немногимъ: для него не существуетъ Бреново «vae victis!»; онъ понимаетъ законность борьбы, историческое значеніе побѣды; но съ со-

жалѣніемъ, съ участіемъ останавливается на участи побѣжденнаго: его плачъ о паденіи Новгорода, по изящному краснорѣчію высокаго нравственнаго чувства, достоинъ стать на ряду съ лѣтописнымъ плачемъ о паденіи Пскова. Карамзинъ, какъ и лѣтописецъ (Карамзинъ, разумѣется, еще больше лѣтописца), понимаетъ нравственную неправду, погубившую Новгородъ и Псковъ; но ни тотъ ни другой не могъ воздержать своего сожалѣнія. Карамзинъ еще, сверхъ того, понимаетъ государственную необходимость; если сердцемъ онъ сожалѣетъ о Новгородѣ, то по разуму онъ на противной сторонѣ. Въ наше время считаютъ, и совершенно основательно, неумѣстнымъ вмѣшательство личнаго чувства; но, вспомнивъ, какое сильное воспитательное дѣйствіе имѣли эти выраженія личнаго чувства на нравственное развитіе нѣсколькихъ поколѣній, удержимся осуждать ихъ. Когда-то было въ модѣ нападать на сентиментализмъ, введенный въ русскую литературу Карамзинымъ; но нападающіе забывали, при какихъ обстоятельствахъ это направленіе зародилось въ Германіи и перешло къ намъ; и тамъ и здѣсь господствовала ужасающая грубость нравовъ (когда-нибудь исторія разберетъ, гдѣ ея было больше, и гдѣ она болѣе извинительна: въ ученой ли Германіи, или на границахъ степей киргизскихъ); поколѣніе, воспитанное Карамзинымъ, уже не могло повторить Куролесова или Салтычиху; по крайней мѣрѣ, оно значительно смягчило эти типы. Извѣстная доля преувеличенія, неизбѣжная у всякаго новообращеннаго, перешедшая у послѣдователей Карамзина въ смѣшную крайность, у него самого съ годами смягчилась, а высокое чувство нравственное оставалось. *Бестужевъ-Рюминъ.*

Самъ авторъ обозначилъ направленіе своей «Исторіи», поднося ее императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ. Вотъ слова его: «Я писалъ съ любовію къ отечеству, ко благу людей въ гражданскомъ обществѣ и къ святымъ уставамъ нравственности».

Нравственный уставъ господствуетъ у него надъ всѣми другими законами и побужденіями. Онъ проходитъ по всей исторической ткани яркою нитью, не умѣряемый въ строгости даже государственными требованіями. Что въ одинаковой силѣ обязательно для каждаго человѣка, къ тому Карамзинъ и питаетъ особенное уваженіе. На этомъ пунктѣ историкъ и публицистъ сошлись въ немъ самымъ дружнымъ образомъ. Какъ «Вѣстникъ Европы» не признавалъ Наполеона героемъ, потому что не находилъ *героизма добродѣтели* въ его дѣйствіяхъ, такъ и въ «Исторіи», въ характеристикахъ древне русскихъ князей и царей, съ особенною любовью останавливается на добродѣтельныхъ подвигахъ, даетъ имъ первое мѣсто, а не подчиняетъ ихъ какимъ-либо инымъ заслугамъ. Только та политика одобряется ею, которая согласна съ чувствомъ естественной справедливости. Хотя Карамзинъ и цитируетъ слова Цицерона: «вѣкъ извиняетъ человѣка»; хотя между апофѳегмами, разсѣянными въ его историческомъ трудѣ,

мы и встрѣчаемъ мысль, что «самые великіе люди дѣйствуютъ согласно съ образомъ мыслей и правилами вѣка»: однакожъ, призывая мертвыхъ къ суду, онъ выговаривалъ его на основаніи тѣхъ самыхъ положеній, которыя неуклонно примѣнялъ и къ своимъ современникамъ. Передъ его нравственными требованіями были равны всѣ времена и народы, всѣ разряды общества, подвластные и власть имѣющіе. Верховное значеніе этихъ требованій положительно выражено при оцѣнкѣ дѣйствій Калиты. Хваля его за утвержденіе великокняжеской власти, историкъ не прощаетъ ему смерти Александра Тверского: «правила нравственности и добродѣтели святѣе всѣхъ иныхъ и служатъ основаніемъ истинной политики». Съ дурнымъ поступкомъ не мирили его ни похвальная цѣль ни успѣшное достиженіе цѣли, ибо, говоритъ онъ, «отъ человѣка зависитъ только дѣло, а слѣдствія отъ Бога», — и потому «судъ исторіи не извиняетъ и самаго счастливаго злодѣйства». Тѣ же мысли повторены по случаю Казимирова умысла убить или отравить Іоанна III: «никогда выгода государственная не можетъ оправдать злодѣянія; нравственность существуетъ не только для частныхъ людей, но и для государей: они должны такъ поступать, чтобы правила ихъ дѣяній могли быть общими законами».

Итакъ, передъ лицомъ нравственнаго закона всѣ люди равноправны. Исторія, имъ вооруженная, ставитъ важнѣйшимъ величіемъ дѣятелей — служеніе добродѣтели, важнѣйшимъ ихъ преступленіемъ — измѣну добродѣтели. Съ этой точки зрѣнія Карамзинъ судитъ неуклонно строго. Особенной строгости подвергается Іоаннъ Грозный. По объясненіямъ историка, конецъ счастливыхъ дней Грознаго наступилъ въ то время, когда онъ лишился не только супруги, «но и добродѣтели»: Анастасія, вмѣстѣ съ Сильвестромъ и Адашевымъ, питала въ немъ любовь «къ святой нравственности». Адашевъ величается мужемъ незабвеннымъ въ нашей исторіи, «красою вѣка и человѣчества»: двоякая похвала — и относительная, воздаваемая человѣку извѣстной эпохи, и безотносительная, сохраняющая свою цѣнность для всѣхъ возможныхъ эпохъ. Подвигъ митрополита Филиппа заслужилъ ему славу такого героя, знаменитѣе котораго, какъ говоритъ историкъ, не представляетъ ни древняя ни новая исторія, ибо «умереть за добродѣтель есть верхъ человѣческой добродѣтели». Карамзинъ жалѣетъ о Курбскомъ, какъ о злополучномъ мужѣ, лишившемъ себя главнаго утѣшенія въ бѣдствіяхъ — внутренняго чувства добродѣтели». Имя же «добродѣтельнаго» слуги его, Шибанова, сочтено достойною принадлежностію исторіи. Та же мѣрка прилагается къ Годунову, Лжедимитрію, Шуйскому и событіямъ междуцарствія. Ни одно противонравственное дѣло не оставлено безнаказаннымъ. При описаніи блистательныхъ свойствъ Годунова, Карамзинъ даетъ намъ ключъ къ уразумѣнію, почему проклятіе вѣковъ заглушило въ потомствѣ добрую его славу: «превосходя всѣхъ вельможъ дарованіями, Борисъ *не имѣлъ только... добродѣтели;* видѣлъ въ ней не

цѣль, а средство къ достиженію цѣли; не могъ одолѣть искушеній тамъ, гдѣ зло казалось для него выгодою». Ошибочныя распоряженія Бориса во время успѣховъ самозванца вновь подтверждаютъ извѣстную истину: «сколь умъ обманчивъ въ раздорѣ съ совѣстію, и какъ хитрость, чуждая добродѣтели, запутывается въ собственныхъ сѣтяхъ». Ни эта хитрость ни правительственный умъ не обольщаютъ Карамзина: они были для него темною силой, направленной къ личнымъ интересамъ. Въ Годуновѣ онъ чуялъ нечистую личность, не столько явными уликами, сколько сердечнымъ удостовѣреніемъ открывая въ благовидности его дѣйствій неблагое ихъ значеніе, въ соблюденіи законныхъ формъ беззаконность содержанія. И потому исторія этого царствованія заключена строгимъ приговоромъ: «Имя Годунова, одного изъ разумнѣйшихъ властителей міра, въ теченіе столѣтій было и будетъ произносимо съ омерзѣніемъ, *во славу нравственнаго, неуклоннаго правосудія.* Потомство видитъ вездѣ личину добродѣтели, — и гдѣ добродѣтель? въ правдѣ ли судовъ Борисовыхъ, въ щедрости, въ любви къ гражданскому образованію, въ ревности къ величію Россіи, въ политикѣ мирной и здравой? Но *сей яркій для ума блескъ хладенъ для сердца,* удостовѣреннаго, что Борисъ не усомнился бы ни въ какомъ случаѣ дѣйствовать вопреки мудрымъ государственнымъ правиламъ, если бы властолюбіе потребовало отъ него такой перемѣны». Далѣе, измѣна Басманова, «честолюбца безъ чести», его переходъ на сторону «державнаго пришлеца», какъ энергически Карамзинъ называетъ самозванца, даетъ исторіи поводъ заявить нетвердость того, что противно нравственности: «Басмановъ», говоритъ она, «не зналъ, что сильные духомъ падаютъ какъ младенцы на пути беззаконія». Отъ Шуйскаго историкъ не ожидалъ ничего великаго, потому что онъ могъ быть только вторымъ Годуновымъ: «лицемѣромъ, а не *героемъ добродѣтели, которая бываетъ главною силою и властителей народовъ и народовъ въ опасностяхъ чрезвычайныхъ».* Одна изъ такихъ опасностей наступила для нашего отечества въ междуцарствіе: «Россія гибла, и могла быть спасена только Богомъ и собственною *добродѣтелью».* *Галаховъ.*

Патріотическое чувство въ „Исторіи Карамзина“.

Любя хорошее вездѣ, Карамзинъ преимущественно любилъ его въ Россіи. «Чувство: *мы, наше,* — говоритъ онъ въ предисловіи къ «Исторіи», — оживляетъ повѣствованіе, и какъ грубое пристрастіе, слѣдствіе ума слабаго или души слабой, несносно въ историкѣ, такъ любовь къ отечеству даетъ его кисти жаръ, силу, прелесть. Гдѣ нѣтъ любви, нѣтъ и души». «Для насъ, русскихъ съ душою», писалъ онъ къ Тургеневу, «одна Россія самобытна, одна Россія истинно существуетъ; все иное есть только отношеніе къ ней, мысль, привидѣніе. Мыслить, мечтать мы можемъ въ Германіи, Франціи, Италіи,

а дѣло дѣлать единственно въ Россіи, или нѣтъ гражданина, нѣтъ человѣка, есть только двуножное животное съ брюхомъ». «Истинный космополитъ», говоритъ онъ въ предисловіи къ «Исторіи», «есть существо метафизическое, или столь необыкновенное явленіе, что нѣтъ нужды говорить о немъ, ни хвалить ни осуждать его. Мы всѣ граждане, въ Европѣ и въ Индіи, въ Мексикѣ и въ Абиссиніи; личность каждаго тѣсно связана съ отечествомъ: любимъ его, ибо любимъ себя». Слова эти не оставались только *словами:* истинный патріотизмъ, состоящій не въ томъ, чтобы безъ разбора хвалить все, особенно то, что̀ льститъ вкусу дня, не разбирая того, какой день — дни вѣдь бываютъ разные, а въ томъ, чтобы по совѣсти сказать правду, — такой патріотизмъ въ высокой степени отличалъ Карамзина: надо было много любить Россію, чтобы написать обѣ его безсмерныя записки, изъ которыхъ каждая была подвигомъ гражданскаго мужества. Многіе смотрятъ на «Записку о древней и новой Россіи» съ той точки зрѣнія, что Карамзинъ слишкомъ стоитъ за учрежденія, отживавшія свой вѣкъ: въ этомъ винить его нельзя, ибо онъ все-таки былъ человѣкомъ своего времени и тогда уже человѣкъ довольно пожилой (ему было 47 лѣтъ, а въ эти годы люди уже рѣдко мѣняются); да еще надо прибавить, что во многихъ случаяхъ онъ былъ правъ: новыя учрежденія не всегда были лучше старыхъ. Надо помнить также, что *исторія* воспитала въ Карамзинѣ осторожную медленность при всякихъ постройкахъ и ломкахъ.

Въ «Исторіи» патріотическое чувство Карамзина сказалось чрезвычайно ярко, и сказалось такъ, что невольно сообщается читателю: онъ страдаетъ во время ига татарскаго, торжествуетъ освобожденіе отъ него, тяготится временемъ Грознаго, негодуетъ на Шуйскаго. Высокій художественный талантъ Карамзина не подлежитъ никакому сомнѣнію; но никакой талантъ не въ состояніи увлечь до такой степени, если бы писатель самъ не чувствовалъ того, что̀ онъ внушаетъ. Только любви дается эта способность живого представленія, только живя сердцемъ въ изображенную эпоху, можно перенести въ нее другого.

Конечно, Карамзинъ не всѣ явленія понималъ такъ, какъ ихъ теперь понимаютъ; да все ли хорошо понимаютъ его возражатели, такъ ли они безошибочны, какъ это многимъ кажется? Не надо забывать, какой громадный трудъ принялъ на себя Карамзинъ и какъ онъ много сдѣлалъ, и много сдѣлалъ именно потому, что *любилъ*. Положимъ, что въ свои лица онъ влагалъ кое-что свое, и что теперь исторія старается и должна стараться представлять то, что̀ было, а не то, что̀ могло быть; но это теперь. А если мы вспомнимъ, что Карамзинъ первый оживилъ столько лицъ, которыя до него казались мрачными тѣнями, и оживилъ именно потому, что въ силу своего патріотическаго чувства отказался отъ прежней мысли сократить древнюю исторію, то и этотъ упрекъ долженъ замереть. Самъ Карамзинъ хорошо понималъ, что первое требованіе отъ историка есть

истина. «Не дозволяя себѣ никакихъ изобрѣтеній», говоритъ онъ, «я искалъ выраженій въ умѣ моемъ, и мыслей единственно въ памятникахъ; искалъ духа и жизни въ тлѣющихъ хартіяхъ», и, прибавимъ отъ себя, нашелъ. Но въ пониманіи прошлаго ничто ни дается сразу, истина не бываетъ абсолютною: ее достигаютъ постепенно, и каждое новое поколѣніе прикладываетъ свое къ наслѣдству отцовъ.

Бестужевъ-Рюминъ.

Основная идея *Исторіи* Карамзина.

«Исторія Государства Россійскаго» есть исторія государственная, какъ видно изъ самаго ея названія. Она повѣствуетъ объ установленіи государственнаго порядка въ Россіи. По отношенію къ этому предмету и въ связи съ нимъ разсматриваются важнѣйшія явленія древней Руси, какъ послѣдовательныя ступени, ведшія къ рѣшенію главнаго вопроса, къ уразумѣнію того, какъ началась и кончилась наша государственность, какъ въ землѣ русскихъ славянъ, великой и обильной, но не имѣвшей порядка, выработался прочный государственный порядокъ.

Но «порядка нѣтъ безъ власти самодержавной», говоритъ Холмскій новгородцамъ въ «Мареѣ Посадницѣ». Слова московскаго воеводы выражаютъ мысль Карамзина о направленіи нашей исторіи, указываютъ ту идею, которая, по его взгляду, обнаруживается рядомъ русскихъ событій. Извѣстно, что онъ началъ историческій трудъ свой вскорѣ послѣ упомянутой повѣсти. Къ тому, что имѣли открыть ему русскія лѣтописи, присоединилось и то, что уже было ему извѣстно изъ современныхъ событій, въ особенности изъ самаго крупнаго — французской революціи. Если, говоря словами автора, «исторія есть изъясненіе настоящаго», то и настоящее служитъ къ разъясненію исторіи, дополняя собою свѣдѣнія, найденныя въ письменныхъ памятникахъ, и подтверждая вѣрность выводовъ о значеніи прошлаго. Не надобно терять изъ виду, что начало исторической работы Карамзина отдѣляется немногими годами отъ конца французскаго переворота. Онъ самъ хорошо помнилъ это, даже въ то время, когда двѣ трети его труда были совсѣмъ готовы. Излагая пользу исторіи для правителей и законодателей, Карамзинъ пишетъ въ предисловіи (1815): «Должно знать, какъ искони *мятежныя страсти* волновали гражданское общество, и какими способами благотворная власть ума обуздывала ихъ бурное стремленіе, чтобы учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на землѣ счастье». Хотя въ этихъ строкахъ и нѣтъ прямого указанія на историческую годину, т.-е. на время революціи, которая явила міру *наибольшій мятежъ страстей,* но оно, безспорно, подразумѣвается. Прямое указаніе отнесено къ характеристикѣ Грознаго. Здѣсь авторъ, снова касаясь пользы исторіи, говоритъ: «не исправляя злодѣевъ, исторія предупреждаетъ иногда злодѣйства, всегда возможныя, ибо страсти дикія

свирѣпствуютъ и въ вѣки гражданскаго образованія». Въ примѣчаніи къ послѣднимъ словамъ читаемъ: «смотри исторію французской республики».

Итакъ, установленіе порядка невозможно безъ самодержавія. Самодержавіе даруетъ государству единство, могущество, независимость и гражданское образованіе — всѣ принадлежности благоустроеннаго общества. Таковъ *государственный уставъ* Карамзина. И его «Исторія» неотступно слѣдитъ за осуществленіемъ этого устава въ нашемъ отечествѣ. Главными моментами древнерусской жизни служатъ тѣ явленія, которыми выказался наибольшій успѣхъ въ стремленіи къ означенной цѣли. Обозрѣвая ходъ событій съ этой точки зрѣнія. «Записка о древней и новой Россіи» различаетъ на историческомъ пути нашемъ три періода: «Россія основалась единоначаліемъ, гибла отъ разновластія и спаслась самодержавіемъ». «Исторія» въ подробности знакомитъ насъ съ тѣмъ, что слегка намѣчено сжатою формулою: она излагаетъ содержаніе каждаго періода съ его существенными отличіями. Вотъ какъ развивается свитокъ нашей исторіи. *Первымъ счастливымъ періодомъ* было правленіе Ярослава I, когда «Россія, рожденная, возвеличенная единовластіемъ, не уступала въ силѣ и въ гражданскомъ образованіи первѣйшимъ европейскимъ державамъ». *Несчастнѣйшій* же *періодъ* простирается отъ Василія Ярославича до Калиты, когда Россія утратила главныя государственныя блага — единовластіе и независимость. Имена князей, которыхъ усилія въ это время были направлены къ возвращенію утраченнаго, заслуживаютъ похвалу историка: Андрей Боголюбскій, явно стремившійся «къ спасительному единовластію»; Всеволодъ III, подобно ему напоминавшій Россіи «счастливые дни единовластія». Іоаннъ Калита указалъ своимъ преемникамъ путь *къ лучшей системѣ правленія*. Усиленіе Москвы возвысило княжескую власть въ отношеніи къ народу, а съ тѣмъ вмѣстѣ понизило прежнюю важность бояръ: *рождалось самодержавіе*. «Глубокомысленная политика князей московскихъ, — замѣчаетъ «Записка», — не удовольствовалась собраніемъ частей въ цѣлое: надлежало еще связать ихъ твердо и единовластіе усилить самодержавіемъ». Іоанну III суждено было совершить два великіе подвига: и освободить Россію отъ татаръ, и *водворить единовластіе неограниченное, или самодержавіе*. Съ его времени ведетъ свое начало новый и весьма важный моментъ: «исторія наша принимаетъ достоинство истинно государственной». Потому-то Карамзинъ изображаетъ Іоанна великимъ монархомъ, «достойнѣйшимъ жить и сіять въ святилищѣ исторіи».

Безграничное повиновеніе русскихъ своему государю имѣетъ историческія причины: оно, говоритъ Карамзинъ, есть слѣдствіе системы правленія. Приводя слѣдующее мѣсто изъ дневника Герберштейна: «не знаю, свойство ли народа требовало для Россіи такихъ самовластителей, или самовластители дали народу такое свойство», «Исторія Государства Россійскаго» рѣшаетъ недоумѣніе иностранца

положительнымъ образомъ: «Безъ сомнѣнія *дали,* чтобы Россія спаслась и была великою державою. Два государя, Іоаннъ и Василій, умѣли навѣки рѣшить судьбу нашего правленія и сдѣлать самодержавіе какъ бы необходимою принадлежностію Россіи, единственнымъ уставомъ государственнымъ, единственною основою цѣлости ея, силы, благоденствія». Возможныя злоупотребленія самодержавной власти не были сокрыты и пощажены Карамзинымъ въ исторіи Грознаго, но не заставили его нимало усомниться въ истинѣ своего убѣжденія. Несчастіе Іоанна IV состояло въ томъ, что онъ лишился добродѣтели. Онъ измѣнилъ свое поведеніе относительно подданныхъ, но они не измѣнились въ отношеніи къ нему: «они гибли, но спасли для насъ могущество Россіи, ибо сила народнаго повиновенія есть сила государственная». Во имя неприкосновенности государственнаго устава нашего (самодержавія), авторъ «Записки» строго осуждаетъ убійство Лжедимитрія: «Самовольныя управы народа бываютъ для гражданскихъ обществъ вреднѣе личныхъ несправедливостей государя. Мудрость цѣлыхъ вѣковъ нужна для утвержденія власти; одинъ часъ народнаго изступленія разрушаетъ основу ея, которая есть уваженіе нравственное къ сану властителей». *Галаховъ.*

„Исторія Государства Россійскаго" какъ выразительница народнаго самосознанія.

Всматриваясь внимательнѣе въ нравственный обликъ Ломоносова, мы найдемъ не одну общую черту съ нравственнымъ обликомъ великаго преобразователя и другихъ сильныхъ по своей природѣ людей, которые выдвинулись въ эту эпоху. То было трудное для русскаго человѣка время, когда, схваченный бурей переворота, онъ былъ поднятъ на высоту, съ которой увидѣлъ обширное, прежде неизвѣстное ему пространство, наполненное множествомъ новыхъ для него предметовъ. Съ благородною жадностію, признакомъ народной силы, русскій человѣкъ бросился на всѣ эти предметы, желая все захватить себѣ. Учиться, учиться! Какъ можно скорѣе пріобрѣтать всякаго рода знанія; пріобрѣтать умѣнье, искусство во всемъ, чтобы поскорѣе догнать народы, далеко насъ опередившіе, чтобы не бояться ихъ, удвоивъ свою силу искусствомъ, — вотъ призывъ, который раздавался въ эпоху преобразованія и будилъ русскихъ людей къ дѣятельности; вотъ призывъ, на который отозвался геніальный сынъ холмогорскаго рыбака, пришелъ въ Москву и, взрослый, сѣлъ на школьную скамью, несмотря на насмѣшки своихъ маленькихъ товарищей. Здѣсь Ломоносовъ былъ полнымъ представителемъ русскаго народа, который воспитался вдали отъ общества образованныхъ народовъ, въ нуждѣ, въ черномъ тѣлѣ, въ борьбѣ со всевозможными лишеніями и препятствіями, поздно долженъ былъ сѣсть на школьную скамью, но не отчаялся въ успѣхѣ, не смутился отъ недобро-

желательства и насмѣшекъ. И какое сходство между этимъ взрослымъ крестьяниномъ, пришедшимъ съ конца свѣта, чтобы сѣсть на школьную скамью, и этимъ русскимъ царемъ, который, притаившись въ углу западной Европы, учится, какъ строить корабли! Странны были эти русскіе люди эпохи преобразованія, странны были для современниковъ чужеземныхъ и для своего потомства, когда предстаютъ предъ нимъ въ неукрашенномъ видѣ, предстаютъ съ этою поразительною двойственностію, одинаково рѣзко выдающимися бѣлою и черною стороной своего характера своей дѣятельности, предстаютъ очень хорошими и вмѣстѣ очень дурными людьми; но и современниковъ поражали и потомство всего больше поражаютъ въ этихъ людяхъ сила и величіе.

И надобна была этимъ людямъ большая сила, когда работы было такъ много, когда, вслѣдствіе отсутствія раздѣленія занятій, одинъ сильный человѣкъ долженъ былъ дѣлать много разныхъ дѣлъ; и вотъ при торжествѣ Ломоносовскаго юбилея два факультета соединенными силами должны были изображать дѣятельность одного человѣка.

Наступила вторая половина XVIII вѣка, и обнаружилась перемѣна, которая незамѣтно приготовилась въ живомъ, постоянно развивающемся обществѣ. Русскіе люди уже успѣли осмотрѣться, разобраться въ томъ, что дала имъ эпоха преобразованія; расширеніе умственной сферы, возбужденіе дѣятельности чрезъ знакомство съ произведеніями духовной дѣятельности другихъ народовъ принесли свои плоды. Явилась литература, въ которой русскій человѣкъ сталъ высказывать свои «взгляды на явленіе своей и чужой жизни, сталъ высказывать свои потребности. Потребности уже были не тѣ, что въ первую половину вѣка; тогда, въ первую половину вѣка, производилась усиленная первоначальная черная работа подъ предводительствомъ великаго рабочаго, великаго плотника, у котораго съ рукъ не сходили мозоли. Нуждались въ предметахъ первой необходимости для государственной и общественной жизни. Производились усиленные наборы русскихъ людей во всякаго рода работу; набирали солдатъ, матросовъ, рабочихъ для постройки городовъ, кораблей, для рытья каналовъ; набирались молодые люди въ ученье, однихъ разсылали по внутреннимъ, только что заведеннымъ школамъ, другихъ отправляли за границу учиться и правамъ, и торговлѣ, и кораблестроенію, и разнымъ ремесламъ. Великіе результаты были достигнуты этою тяжелою работой, этимъ страшнымъ напряженіемъ силъ: среди европейской семьи народовъ явился новый народъ, новое могущественное государство.

«Этого недостаточно!» сказали русскіе люди второй половины XVIII вѣка. Это только первоначальная работа; это остовъ, зданіе вчернѣ, безъ всякой отдѣлки, это только внѣшнее, а намъ нужно внутреннее; это только тѣло, а гдѣ же душа? Насъ учатъ, чтобы хорошо исполнить ту или другую работу, исправлять ту или другую долж-

ность; но не учатъ тому, чтобы быть хорошимъ человѣкомъ, гражданиномъ; насъ учатъ, а не воспитываютъ. «Самое надежное средство сдѣлать людей лучшими, это — усовершенствованіе воспитанія», объявила Екатерина II въ своемъ наказѣ; и это положеніе преимущественно развивалось въ русской литературѣ второй половины XVIII вѣка. «Одинъ только украшенный или просвѣщенный науками разумъ, — говорилъ Бецкій, — не дѣлаетъ еще добраго, прямого гражданина, но во многихъ случаяхъ паче во вредъ бываетъ, если кто отъ самыхъ нѣжныхъ юности своей лѣтъ воспитанъ не въ добродѣтеляхъ, и твердо оныя въ сердце не вкоренены». Лучшія лица комедій Фонвизина, проводники мыслей автора, повторяютъ основную мысль вѣка: «Имѣй сердце, имѣй душу, и будешь человѣкомъ во всякое время. На все прочее мода: на умы мода, на знанія мода. Прямое достоинство въ человѣкѣ есть душа; безъ нея просвѣщеннѣйшій умница — жалкая тварь. Умъ, коль онъ только умъ, самая бездѣлица. Прямую цѣну уму даетъ благонравіе. Наука въ развращенномъ человѣкѣ есть лютое оружіе дѣлать зло». Какъ обыкновенно бываетъ, высказавши новую потребность, новую цѣль, высказавши, что эта потребность не была удовлетворена, цѣль не была достигнута въ первую половину XVIII вѣка, нѣкоторые естественно обратились къ предшествовавшему времени съ упрекомъ, съ враждой; не могли понять, что первая половина вѣка удовлетворяла свои потребности и этимъ удовлетвореніемъ дала возможность второй половинѣ вѣка сознать новую потребность и удовлетворять ей; стали упрекать дѣятелей эпохи преобразованія въ торопливости и нетерпѣніи, зачѣмъ захотѣли сдѣлать въ нѣсколько лѣтъ то, на что потребны вѣка. Въ этихъ упрекахъ не замѣчали собственнаго противорѣчія, ибо въ то же время упрекали дѣятелей эпохи преобразованія, зачѣмъ они не поспѣшили удовлетворить двумъ потребностямъ заодно, зачѣмъ они повиновались закону исторической послѣдовательности, начиная со внѣшнаго; не замѣчали, что въ созиданіи внѣшняго, въ приготовленіи средствъ матеріальнаго благосостоянія можно торопиться обученіемъ войска, постройкой кораблей, гаваней, прорытіемъ каналовъ, заведеніемъ фабрикъ, но смягченія нравовъ вдругъ произвести нельзя, для этого потребно продолжительное время; не замѣчали естественнаго и необходимаго преемства задачъ народной жизни, и вступили въ споръ съ предшествовавшимъ временемъ, упрекая его, зачѣмъ оно не сдѣлало всего, зачѣмъ не сдѣлало именно того, что только теперь можно и должно было дѣлать? Но такъ обыкновенно бываетъ при поворотѣ народовъ отъ одного начала къ другому; трудно работать двумъ началамъ: одно возлюбятъ, другое возненавидятъ. Какъ первая половина XVIII вѣка враждебно относилась къ допетровской Руси, такъ вторая половина вѣка стала враждебно относиться къ первой его половинѣ: явленіе тѣмъ болѣе понятное, что исторія, примирительница вѣковъ, не имѣла еще тогда средствъ къ этому примиренію.

Исторія... Какой народъ не хочетъ знать, не хочетъ имѣть своей исторіи? Древняя допетровская Россія оставила много лѣтописей, погодныхъ записокъ о важнѣйшихъ событіяхъ, оставила громадное количество правительственныхъ и судебныхъ актовъ — богатый матеріалъ для исторіи, но не оставила исторіи; были попытки извлечь изъ лѣтописнаго матеріала что-нибудь для удовлетворенія любознательности русскаго человѣка, слышался какой-то безсвязный дѣтскій лепетъ, и только. Петръ, заказывавшій переводить на русскій языкъ книги по разнымъ отраслямъ знаній, не забывая и книгъ историческихъ, не могъ этого сдѣлать относительно русской исторіи; иностранцы ею не занимались. Петръ заказалъ написать русскую исторію извѣстному въ его время русскому ученому Поликарпову. Поликарповъ написалъ неудовлетворительно. Петръ увидѣлъ, что исторія не корабль, на заказъ не дѣлается. Петръ долженъ былъ обратиться къ лѣтописямъ, читалъ ихъ и спрашивалъ у Ѳеофана Прокоповича: «Когда увидимъ мы полную русскую исторію?» На этотъ вопросъ Прокоповичъ не могъ дать отвѣта. Въ исторіи выражается народное самопознаніе, а самопознаніе есть вѣнецъ знанія: можно ли же было ожидать вѣнца знанія въ то время, когда знаніе было еще только въ зародышѣ? Нужно было ограничиться приготовленіемъ матеріаловъ къ написанію исторіи. Петръ велѣлъ собрать лѣтописи изъ монастырей; велѣлъ составить и самъ исправлялъ лѣтопись собственнаго царствованія; одинъ изъ птенцовъ Петра, Татищевъ, составилъ сводъ лѣтописи съ обширнымъ введеніемъ и примѣчаніями; ученые иностранцы разрабатывали отдѣльные вопросы и продолжали собирать матеріалы. Но такая послѣдовательная и медленная работа не удовлетворяла; имѣя передъ глазами чужіе образцы, естественно забѣгали впередъ, повторяли вопросъ Петра Великаго: «Когда увидимъ мы полную русскую исторію?» Шуваловъ заказалъ русскую исторію первому таланту времени — Ломоносову; но хотя Ломоносовъ и не былъ Поликарповымъ, однако, и тутъ оказалось, что исторія не торжественная ода, на заказъ не пишется.

Сильное движеніе русской мысли, ознаменовавшее вторую половину XVIII вѣка, или, точнѣе, царствованіе Екатерины II, не могло не повести къ возбужденію народнаго самопознанія, не могло не приготовить, такъ сказать, духовныхъ средствъ для исторіи. Мы уже видѣли, какіе вопросы были поставлены лучшими умами, какіе у второй половины вѣка начались счеты съ первою его половиной — ясный признакъ возбужденнаго самопознанія. На этихъ счетахъ не остановились: объявивъ свое несочувствіе къ направленію первой половины XVIII вѣка, люди второй его половины естественно обратили вниманіе на древнюю, допетровскую Россію, что необходимо уничтожало прежнюю односторонность. Русскіе люди первой половины XVIII в. говорили, что дѣятельностію преобразователя они были приведены изъ небытія въ бытіе; русскіе люди второй половины вѣка объявили, что это бытіе ихъ не удовлетворяетъ, и отсюда естественно

пришли къ вопросу: то, что называлось небытіемъ, дѣйствительно ли было небытіе? не было ли это бытіе, не признанное только людьми эпохи преобразованія, и не признанное несправедливо? Несочувствіе къ эпохѣ преобразованія естественно возбуждало сочувствіе къ тому времени, къ которому эта эпоха была враждебна. Тутъ были увлеченія, ошибки и крайности; но, съ другой стороны, сдѣланъ былъ важный шагъ впередъ: новая Россія уже не заслоняла древней, и движеніе пошло усиленно. Умный неутомимый и добросовѣстный Щербатовъ прошелъ по древней русской исторіи, прокладывая дорогу послѣдующимъ писателямъ, останавливаясь на каждомъ любопытномъ явленіи, стараясь, иногда въ нѣсколько пріемовъ, уяснить его смыслъ. Даровитый Болтинъ, руководимый господствующимъ взглядомъ времени, поднялъ вопросъ объ отношеніи древней Россіи къ новой; мало того, поднялъ вопросъ объ отношеніи русской исторіи къ исторіи западныхъ европейскихъ государствъ. Если въ первую половину XVIII вѣка было начато матеріальное приготовленіе къ написанію русской исторіи, то во вторую половину вѣка было сдѣлано приготовленіе духовное, и въ первой четверти XIX вѣка явилась «Исторія Государства Россійскаго» Карамзина.

Какъ же выразилось въ этомъ произведеніи русское народное самопознаніе? Какая основная мысль труда?

Мысль русскаго человѣка, мысль славянина, должна была остановиться прежде всего на томъ явленіи, что изъ всѣхъ славянскихъ народовъ народъ русскій опять образовалъ государство, не только не утратившее своей самостоятельности, какъ другія, но громадное, могущественное, съ рѣшительнымъ вліяніемъ на историческія судьбы міра. Что такое племя, что такое народъ безъ государства? Матеріалъ нестройный, безформенный матеріалъ (rubis indigestaque moles); только въ государствѣ народъ заявляетъ свое историческое существованіе, свою способность къ исторической жизни, только въ государствѣ становится онъ политическимъ лицомъ, съ своимъ опредѣленнымъ характеромъ, съ своимъ кругомъ дѣятельности, съ своими правами. Первое, драгоцѣннѣйшее благо государства есть независимость, самостоятельность, потомъ возможность заявить свое существованіе въ болѣе или менѣе широкой дѣятельности, участвовать въ общей жизни значительнѣйшихъ государствъ, лучшихъ представителей человѣчества. Это сознаніе единственнаго славянскаго государства, полноправнаго, пользующагося главными благами историческаго существованія, самостоятельностію и великимъ значеніемъ среди другихъ государствъ, это сознаніе вполнѣ отразилось въ «Исторіи Государства Россійскаго», которую можно назвать величественною поэмой, воспѣвающею государство. Несмотря на свою неоконченность, «Исторія Государства Россійскаго» представляетъ полноту относительно выраженія главной идеи: авторъ не оставилъ ничего неяснымъ, недоговореннымъ. Его твореніе собственно начинается съ того времени, когда является Русское государство независимымъ, великимъ, силь-

нымъ; важнаго значенія времени, протекщаго отъ Ярослава I до Калиты или, точнѣе, до Іоанна III, онъ не признаетъ: здѣсь Россія — раздѣленная, слабая, порабощенная. Если авторъ рѣшается описать подробно это печальное время, то единственно изъ патріотическаго чувства: все же это — Россія, все же это — русскіе люди, которыхъ дѣятельности, которыхъ судьбѣ мы не можемъ не сочувствовать. Но вотъ наступаетъ вторая половина XV вѣка, и поэма начинается, торжественная пѣснь государства зазвучала: «Отселѣ исторія наша пріемлетъ достоинство истинно-государственной, описывая уже не безсмысленныя драки княжескія, но дѣянія царства, пріобрѣтающаго независимость и величіе. Разновластіе исчезаетъ вмѣстѣ съ нашимъ подданствомъ; образуется держава, сильная, какъ бы новая для Европы и Азіи, которыя, видя оную съ удивленіемъ, предлагаютъ ей знаменитое мѣсто въ ихъ системѣ политической».

Главное мѣсто дѣйствія — это священный городъ, чудеснымъ образомъ начавшій свою великую роль. «Сдѣлалось чудо: городокъ, едва извѣстный до XIV вѣка, отъ презрѣнія къ его маловажности, возвысилъ главу и спасъ отечество. Да будетъ честь и слава Москвѣ!» Герои поэмы — князья московскіе, и первое мѣсто среди нихъ принадлежитъ Іоанну III, величайшему изъ государей, передъ которымъ блѣднѣетъ величавая фигура Петра, ибо Петръ былъ только преобразователемъ государства, а не виновникомъ его силы и величія, какъ Іоаннъ III: «Подтвердимъ ли мнѣніе несвѣдущихъ иноземцевъ, и скажемъ ли, что Петръ есть творецъ нашего величія государственнаго? Забудемъ ли князей московскихъ, которые, можно сказать, изъ ничего воздвигли державу сильную!» Здѣсь мы видимъ взглядъ, противоположный тому, какой господствовалъ въ первой половинѣ XVIII вѣка: тогда говорили, что Петръ Великій призвалъ Россію отъ небытія къ бытію, сдѣлалъ все изъ ничего; теперь, благодаря указанному выше движенію второй половины XVIII вѣка, историкъ приписываетъ иноземцамъ этотъ чисто-русскій взглядъ и говоритъ, что Петръ воспользовался приготовленнымъ, а московскіе князья, можно сказать, изъ ничего воздвигли державу сильную. Въ наше время наука не можетъ признать вѣрнымъ ни того ни другого взгляда, ибо и московскіе князья не воздвигли державу сильную изъ ничего; но въ наше время наука должна признать важный успѣхъ въ пониманіи хода русской исторіи, когда односторонній взглядъ на дѣятельность преобразователя былъ отвергнутъ и обращено было вниманіе на московскую Россію. Въ ходѣ нашей исторической науки, т.-е. въ постепенномъ уясненіи нашего сознанія о русской исторіи, заключаются соотвѣтствующія явленія съ самимъ ходомъ русской исторіи: постепенному собиранію Русской земли въ нашей исторіи соотвѣтствуетъ постепенное собираніе частей русской исторіи въ сознаніи народномъ, какъ оно отражается въ исторіографіи: въ первую половину XVIII вѣка, русскій человѣкъ, еще только садившійся за азбуку и пораженный новымъ міромъ, предъ нимъ открывшимся, прекло-

нился предъ нимъ, созналь себя человѣкомъ совершенно новымъ и провозгласилъ, что онъ приведенъ изъ небытія въ бытіе великимъ преобразователемъ. Благодаря преобразованію, русская мысль работала, сознаніе просвѣтлѣло, московская Россія была присоединена къ Россіи Петровской и, какъ обыкновенно бываетъ при подобныхъ поворотахъ, не безъ ущерба для послѣдней. Это великое движеніе въ русскомъ сознаніи отразилось въ «Исторіи Государства Россійскаго». Каждому дню его забота, каждому вѣку его трудъ: нашему времени завѣщано собрать воедино всѣ части русской исторіи, найти смыслъ и въ древнѣйшей кіевской и владимирской исторіи и примирить всѣ эпохи.

Сознаніе великаго дѣла собиранія Русской земли и кладки фундамента государственнаго зданія нашло достойнаго выразителя въ Карамзинѣ, который воспитаніемъ своимъ былъ приготовленъ къ выполненію своей задачи. Въ твореніяхъ знаменитыхъ писателей отражается вѣкъ, въ которомъ они живутъ и дѣйствуютъ; но здѣсь нельзя ограничиваться вліяніями только того времени, въ которомъ совершонъ трудъ писателя; важное значеніе имѣетъ то время, въ которое воспитался писатель; часто въ его твореніи преимущественно выражаются господствующія идеи этого времени, а не того, къ которому принадлежитъ, главнымъ образомъ, авторская дѣятельность писателя: иногда писатель въ самое блестящее время своей дѣятельности сдерживаетъ новыя движенія во имя идей, принятыхъ имъ во время его воспитанія. Воспитаніе Карамзина завершилось въ знаменитое царствованіе Екатерины II, когда, послѣ тревожной эпохи преобразованія и переходнаго времени Елизаветинскаго царствованія, явились плоды тяжелой черной работы русскихъ людей въ первую половину XVIII вѣка. Благодаря искусной и твердой правительственной рукѣ, движеніе впередъ шло безостановочно, но шло правильно, спокойно и осторожно, при ясномъ сознаніи того, откуда надобно было итти и куда стремиться. Мы видѣли, какая произошла перемѣна въ основномъ взглядѣ русскихъ людей въ царствованіе Екатерины, какъ они заявили свое недовольство однимъ внѣшнимъ и требовали внутренняго, требовали вложенія души въ тѣло, и требованіе было удовлетворено. Повѣрка сказанному легка: стоитъ только вглядѣться въ нравственный образъ человѣка, память котораго мы собрались сюда почтить: вглядимся въ эту мягкость чертъ Карамзина, припомнимъ въ немъ это сочувствіе къ чувству, къ нравственному содержанію человѣка, припомнимъ его выраженіе, что чувствомъ можно быть умнѣе людей, умныхъ умомъ, и признаемъ въ немъ представителя того времени, въ которое твердили: «Безъ души просвѣщеннѣйшая умница — жалкая тварь: умъ, коль онъ только что умъ, самая бездѣлица». Вглядѣвшись въ нравственный образъ Карамзина, сравнимъ его съ нравственнымъ образомъ Ломоносова — и двѣ половины XVIII вѣка предстанутъ предъ нами олицетворенныя со всѣмъ своимъ различіемъ. Усмотрѣвши въ Карамзинѣ полнаго представителя Екатери-

нинскаго времени, спросимъ его мнѣнія объ этомъ времени, и получимъ въ отвѣтъ: «Время счастливѣйшее для гражданина россійскаго». Счастіе для гражданина россійскаго заключается еще въ томъ, что духъ его былъ поднятъ славой народною и завершеніемъ великаго народнаго дѣла, — дѣла собиранія Русской земли: Екатерина была прямою наслѣдницей московскихъ Іоанновъ. Въ концѣ Екатерининскаго царствованія на западѣ Европы произошелъ страшный переворотъ, заставившій своею темною стороной еще болѣе цѣнить правильную и спокойную дѣятельность правленія либеральнаго и вмѣстѣ твердаго, какимъ было правленіе Екатерины II.

Подъ такими впечатлѣніями, вынесенными изъ XVIII вѣка, Карамзинъ въ началѣ XIX вѣка приступилъ къ своему историческому труду. Если изъ вѣка Екатерины онъ вынесъ охранительныя стремленія, то они еще болѣе усилились изученіемъ исторіи. Когда вскрылись памятники древности, то глазамъ историка предстала эта медленная и великая работа вѣковъ надъ государственнымъ зданіемъ, и почувствовалъ онъ благоговѣйное уваженіе къ этой работѣ и ея слѣдствіямъ; поспѣшность движенія явилась для него столь же беззаконною, какъ и отсутствіе движенія: «Хотѣть лишняго и не хотѣть нужнаго равно предосудительно», говорилъ онъ. И во имя исторіи заявилъ онъ протестъ противъ движеній перваго десятилѣтія XIX вѣка, бывшихъ въ его глазахъ слишкомъ быстрыми, не истекавшими изъ существенныхъ потребностей страны: «Къ древнимъ государственнымъ зданіямъ прикасаться опасно, — говорилъ онъ: — Россія существуетъ около 1000 лѣтъ, и не въ образѣ дикой орды, но въ видѣ государства великаго, а намъ все твердятъ о новыхъ уставахъ, какъ будто мы недавно вышли изъ темныхъ лѣсовъ американскихъ». Воспитанникъ Екатерининскаго вѣка твердилъ людямъ, наклоннымъ ко внѣшнимъ преобразованіямъ, что «не формы, а люди важны».

Чѣмъ болѣе историкъ вглядывался въ постепенное образованіе великаго государственнаго тѣла Россіи, чѣмъ болѣе вникалъ онъ, какъ присоединялась кость къ кости и суставъ къ суставу, какъ все это облекалось плотію и наполнялось духомъ — тѣмъ яснѣе сознавалъ величіе дѣла собиранія Русской земли, тѣмъ яснѣе сознавалъ онъ единство русскаго народа: вотъ почему такъ сильно взволновался историкъ и заявилъ горячій протестъ во имя русской исторіи и во имя Екатерины II, когда явилась мысль о возможности урѣзать живое тѣло Россіи; подобно древнимъ русскимъ дѣятелямъ, не потерпѣлъ историкъ, чтобъ «разносили розно Русскую землю», и въ народномъ русскомъ поминаньи о Карамзинѣ напишется то же, что написалось въ лѣтописяхъ о людяхъ, знаменитыхъ обороной родной страны: «онъ постоялъ настороже Русской земли».

С. Соловьевъ.

Научное значеніе *Исторіи* Карамзина.

Обращаясь къ чисто научной сторонѣ «Исторіи Государства Россійскаго», припомнимъ, въ какомъ неудовлетворительномъ состояніи была у насъ наука историческая передъ появленіемъ исторіи Карамзина, и увидимъ, какъ великъ былъ его трудъ: хорошо было работать современнымъ ему историкамъ Запада: у нихъ болландисты и бенедиктинцы, и Дюканжъ, и Муратори, и Монфоконъ; у нихъ и памятники были изданы, и библіотеки и архивы въ большемъ порядкѣ, и пособій больше. Въ предисловіи Карамзинъ какъ бы оправдывается въ обиліи своихъ примѣчаній; онъ говоритъ: «Множество сдѣланныхъ мною примѣчаній и выписокъ устрашаетъ меня самого. Если бы всѣ матеріалы были у насъ собраны, очищены критикою, то намъ оставалось бы единственно ссылаться; но когда бо́льшая ихъ часть въ рукописяхъ, въ темнотѣ, когда едва ли что обработано, изъяснено, соглашено, надобно вооружиться терпѣніемъ... Для охотниковъ все бываетъ любопытно: старое имя, слово, малѣйшая черта древности даетъ поводъ къ соображеніямъ». Карамзинъ говоритъ, что читатель воленъ не заглядывать въ примѣчанія; нашлись издатели, которые задумали избавить читателя отъ этихъ хлопотъ; у насъ есть два изданія (3 и 4) съ сокращенными примѣчаніями, а между тѣмъ примѣчанія — одно изъ правъ Карамзина на безсмертіе.

Много памятниковъ уже издано изъ тѣхъ, которые при Карамзинѣ еще были не изданы, а между тѣмъ примѣчанія сохраняютъ еще все свое значеніе, и будутъ сохранять его еще долго, если не всегда: сюда будутъ ходить и за справкою и за поученіемъ; здѣсь всего виднѣе, какъ работалъ Карамзинъ и какъ слѣдуетъ работать.

Просматривая примѣчанія Карамзина, нельзя не чувствовать глубокаго уваженія къ громадной его работѣ. Едва ли можно указать большое число памятниковъ, теперь намъ извѣстныхъ, которые были бы неизвѣстны Карамзину; перечислимъ болѣе крупные. Такъ, у него не было «Домостроя», «Тверской лѣтописи», «Паннонскихъ житій», *Несторова* «Житія Бориса и Глѣба», «Слова нѣкоего христолюбца» и еще немногихъ; но зато какъ громадна масса памятниковъ, которые онъ въ первый разъ нашелъ или которыми онъ впервые пользовался! Сюда принадлежитъ «Хлѣбниковскій списокъ» (можно считать и «Ипатьевскій») «Лаврентьевскій», «Троицкій», «Ростовскій», нѣкоторые изъ новгородскихъ лѣтописей и едва ли не обѣ «Псковскія» (впрочемъ, считаю нужнымъ оговориться: Щербатовъ цитуетъ лѣтописи по нумерамъ, и потому трудно сказать, что именно у него въ рукахъ); потомъ «Даніилъ Паломникъ», Иларіонова «Похвала Владиміру», множество житій святыхъ, множество грамотъ, сказаній. Важно было бы составить списокъ всѣхъ памятниковъ, которыми пользовался Карамзинъ: можетъ-быть, иные изъ нихъ до сихъ поръ ускользаютъ отъ изслѣдователей. И все это онъ прочелъ, изучилъ,

провѣрилъ, изъ всего выписалъ самое любопытное и нигдѣ не спутался. Выписывалъ онъ часто то, что ему не пригодилось бы самому, но могло бы пригодиться другому. Выписывая, онъ часто подчеркивалъ слова, особенно любопытныя сами по себѣ или по соединенному съ ними факту. Выписывалъ онъ даже изъ памятниковъ, которые не казались ему достовѣрными: такъ, напримѣръ, у него выписано много изъ сказаній мологскаго діакона *Каменевича-Рвовскаго*, сочиненіе котораго, писанное въ XVII вѣкѣ, онъ нашелъ въ синодальной библіотекѣ, въ книгѣ «Древности Россійскаго Государства»; отъ него не ускользнуло и то обстоятельство, что кое-что записано у Каменевича пѣсеннымъ размѣромъ (можетъ-быть, онъ и пользовался пѣснями). Эта любопытная книга, къ сожалѣнію, послѣ ни у кого не была въ рукахъ, а она могла бы, можетъ-быть, повести къ разрѣшенію вопроса о такъ называемой «Іоакимовской лѣтописи», напечатанной Татищевымъ по поздней рукописи, съ весьма странною обстановкою, и до сихъ поръ составляющей предметъ спора между нашими учеными. Карамзинъ выписываетъ также разныя баснословныя извѣстія о построеніи Новгорода и Москвы, отмѣчаетъ всегда тѣ свѣдѣнія изъ лѣтописей или Татищевскаго свода, которыя онъ считаетъ баснословными. Выписки его такъ точны, что даже имѣющіяся печатныя изданія не всегда въ равной степени удовлетворительны. До него никто (кромѣ Миллера и Успенскаго, котораго книжка вышла, впрочемъ, въ 1813 году) не пользовался такъ много иностранными писателями о Россіи. Встрѣтивъ указанія на неизвѣстный ему матеріалъ, онъ не успокоивался, пока не добывалъ этого матеріала; такъ, съ большимъ трудомъ досталъ онъ себѣ «Баварскаго географа», но нашелъ недостовѣрнымъ.

Встрѣчающіяся въ памятникахъ слова, вышедшія изъ употребленія, онъ старается объяснить и объясняетъ, большею частію, вѣрно, для чего ему нужны бываютъ выписки изъ другихъ памятниковъ, совершенно другого времени. Конечно, не будучи филологомъ, Карамзинъ объясняетъ слово только сличеніемъ текстовъ и не прибѣгаетъ къ филологическимъ соображеніямъ, даже не всегда пользуется помощію другихъ славянскихъ нарѣчій.

Каждый памятникъ онъ подвергаетъ критикѣ, и критикѣ удачной; такъ, превосходно разобрано «Житіе Константина Муромскаго», «Дѣяніе собора на Мартина Армянина». Въ лѣтописяхъ онъ такъ же нерѣдко указываетъ на ихъ составныя части: такъ, въ «Повѣсти временныхъ лѣтъ» онъ очень основательно подмѣтилъ одно чисто новгородское сказаніе; помощью приписки на Остромировомъ Евангеліи возстановилъ одинъ годъ въ лѣтописи; указываетъ въ Кіевской лѣтописи одно извѣстіе, записанное, вѣроятно, въ Черниговѣ, и т. д. Не довольствуясь нашими библіотеками и архивами, ищетъ возможности получать нужные для него документы и изъ архивовъ заграничныхъ: такъ, изъ Кёнигсбергскаго архива ему доставляется много интересныхъ бумагъ, между прочимъ, грамоты Галицкихъ князей, о кото-

рыхъ только изъ этихъ грамотъ и можно было получить нѣкоторыя свѣдѣнія; такъ, черезъ *Муравьева* ищетъ возможности добыть переписку папъ изъ Ватиканскаго архива и т. д.

Памятники вещественные интересуютъ его такъ же, какъ и памятники письменные: онъ собираетъ всѣ извѣстія о святынѣ, хранимой въ ризницахъ, о раскопкахъ, кладахъ, зданіяхъ, словомъ,—обо всемъ, что сохранилось отъ жизни нашихъ предковъ. Имъ помѣщены рисунки буквъ Десятинной церкви, изображеніе стариннаго рубля, буквы зырянской азбуки Стефана Пермскаго. Когда въ наличныхъ источникахъ онъ не находитъ требуемыхъ свѣдѣній, то вступаетъ въ переписку съ мѣстными жителями и получаетъ нужное свѣдѣніе на мѣстѣ.

Все, что возбуждаетъ какой-либо вопросъ касательно древностей, не остается у Карамзина безъ изслѣдованія: какая-нибудь сомнительная дата, генеалогія того или другого князя, банное строеніе, старинный русскій счетъ, вѣсы и монеты, и т. д. Всѣ чужія мнѣнія тщательно разсматриваются и провѣряются. Изслѣдованія Карамзина, обыкновенно, чрезвычайно точны и могутъ опровергаться только столь же точными изслѣдованіями или новыми памятниками.

Замѣтки, которыя присылали къ нему, онъ всегда вносилъ и всегда указывалъ, кто ихъ доставилъ. Въ 5-мъ изданіи есть нѣсколько такихъ замѣтокъ, найденныхъ на поляхъ его собственнаго экземпляра и написанныхъ уже послѣ выхода второго изданія, послѣдняго при жизни автора.

Словомъ, на пространствѣ времени до 1611 года немного найдется вопросовъ, которые бы онъ не предвидѣлъ и на которые нельзя было найти у него рѣшенія, указанія или, по крайней мѣрѣ, намека. Кто самъ работалъ, тотъ пойметъ, сколько трудовъ нужно было употребить, чтобы собрать такую массу свѣдѣній, тому покажется страннымъ только одно: какъ успѣлъ собрать все это Карамзинъ въ 22 года, если еще припомнить притомъ, что въ послѣднее время онъ уже старѣлъ и былъ часто боленъ и что, наконецъ, самое изложеніе требовало много времени; много времени уходило на соображенія. Этою-то своею стороной исторія Карамзина особенно сильна и въ наше время: можно утверждать, что онъ не такъ изобразилъ ту или другую эпоху, то или другое лицо, и быть правымъ, но отвергать въ немъ великаго ученаго, утверждать, что онъ былъ только литераторъ, нельзя. Сюда, въ эти примѣчанія, долженъ ходить учиться каждый занимающійся русскою исторіей, и каждому будетъ чему тутъ поучиться.

Бестужевъ-Рюминъ.

Художественная сторона «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина.

При разсматриваніи исторіи со стороны изящества, представляются разбору нашему два элемента: *философскій* и *поэтическій*.

Философскій элементъ требуетъ *единства* въ цѣломъ твореніи, *истины* въ событіяхъ, *вѣрности* въ изображеніи дѣйствующихъ лицъ.

Поэтическій элементъ состоитъ въ умѣньи излагать всѣ происшествія въ связи и послѣдовательности, въ искусствѣ представлять прошедшее настоящимъ, уловлять рѣзкія черты каждаго лица и дѣйствія,— короче, художественная сторона исторіи заключается въ *живописи*, *изящномъ расположеніи* и *выраженіи*.

Православіе, *самодержавіе* и *народные нравы*, какъ жизнь Руси, проникаютъ весь организмъ нашей исторіи. «Успѣхи разума и способностей его», говоритъ Карамзинъ (т. I, стран. 248),— «необходимое слѣдствіе гражданскаго состоянія людей, ускорены въ Россіи христіанскою вѣрою». Новгородцы (т. I, стран. 234) «хотятъ князя, да владѣетъ и правитъ ими по закону». «Станемъ крѣпко, не посрамимъ земли русскія» (т. I, стран. 254): въ этихъ словахъ виденъ характеръ народа, любящаго родину свою и готоваго за нее умереть. Когда въ періодъ удѣловъ предки наши терзали другъ друга и всѣ пали подъ иго монголовъ: тогда не вѣра ли христіанская еще скрѣпляла связь народа, одушевляла его и поддерживала? Освободился духъ народный отъ тягостнаго ига, сложилось одно государство; казалось, никакого бѣдствія нельзя было ожидать: но самозванецъ восходитъ на престолъ, ужасая единственно могуществомъ имени царскаго. Не торжествуетъ ли здѣсь любовь къ государямъ? Что успокоивало народъ подъ скипетромъ Грознаго, какъ не то же святое начало Руси — вѣра и преданность монарху? Тѣ же самыя чувства русскихъ призвали родоначальника той великой династіи, подъ кроткимъ и благодѣтельнымъ самодержавіемъ которой Россія ожила и нынѣ благоденствуетъ. Эти начала государственныя проведены чрезъ всю исторію Карамзина.

Примѣромъ можетъ служить царствованіе Грознаго (И. Г. Р., т. IX, изд. 2-е, стран. 437 и т. д.), когда молитва и любовь къ самодержавію подкрѣпляли духъ народный. «Между иными тяжкими опытами судьбы,—говоритъ исторіографъ,—сверхъ бѣдствій удѣльной системы, сверхъ ига монголовъ, Россія должна была испытать и грозу самодержца-мучителя: устояла съ *любовію къ самодержавію*, ибо вѣрила, что Богъ посылаетъ и язву, и землетрясеніе, и тирановъ; не преломила желѣзнаго скипетра въ рукахъ Іоанновыхъ, и двадцать-четыре года сносила губителя, вооружаясь единственно *молитвою* и терпѣніемъ, чтобы, въ лучшія времена, имѣть Петра Великаго, Екатерину Вторую (исторія не любитъ именовать живыхъ). Въ смиреніи великодушномъ страдальцы умирали на лобномъ мѣстѣ, какъ греки въ Ѳермопилахъ за отечество, вѣру и вѣрность, не имѣя и мысли о бунтѣ. Напрасно нѣкоторые чужеземные историки, извиняя жестокость Іоаннову, писали о заговорахъ, будто бы уничтоженныхъ ею: сіи заговоры существовали единственно въ смутномъ умѣ царя, по всѣмъ свидѣтельствамъ нашихъ лѣтописей и бумагъ государственныхъ. Духовенство, бояре, граждане знаменитые не вызывали бы звѣря изъ вертепа слободы Александровской, если бы замышляли измѣну, взводимую на нихъ столь же нелѣпо, какъ и чародѣйство. Нѣтъ, тигръ упивался

кровію агнцевъ — и жертвы, издыхая въ невинности, послѣднимъ взоромъ на бѣдственную землю требовали справедливости, умилительнаго воспоминанія отъ современниковъ и потомства».

...«Жизнь тирана есть бѣдствіе для человѣчества, но его исторія всегда полезна для государей и народовъ: вселять омерзѣніе ко злу есть вселять любовь къ добродѣтели — и слава времени, когда вооруженный истиной дѣеписатель можетъ, въ правленіи самодержавномъ, выставить на позоръ такого властителя, да не будетъ уже впередъ ему подобныхъ! Могилы безчувственны; но живые страшатся вѣчнаго проклятія въ исторіи, которая, не исправляя злодѣевъ, предупреждаетъ иногда злодѣйства, всегда возможныя; ибо страсти дикія свирѣпствуютъ и въ вѣки гражданскаго образованія, веля уму безмолвствовать или рабскимъ голосомъ оправдывать свои изступленія».

...«Добрая слава Іоаннова пережила его худую славу въ *народной памяти:* стенанія умолкли, жертвы истлѣли, и старыя преданія затмились новѣйшими; но имя Іоанново блистало на «Судебникѣ» и напоминало пріобрѣтеніе трехъ царствъ монгольскихъ: доказательства дѣлъ ужасныхъ лежали въ книгохранилищахъ, а народъ въ теченіе вѣковъ видѣлъ Казань, Астрахань, Сибирь, какъ живые монументы царя-завоевателя; чтилъ въ немъ знаменитаго виновника нашей государственной силы, нашего гражданскаго образованія, отвергнулъ или забылъ названіе *мучителя*, данное ему современниками, и по темнымъ слухамъ о жестокости Іоанновой донынѣ именуетъ его только *Грознымъ*, не различая внука съ дѣдомъ, такъ называемымъ древнею Россіею болѣе въ хвалу, нежели въ укоризну. Исторія злопамятнѣе народа!»

Въ историческомъ изложеніи, какъ и во всякомъ изящномъ произведеніи, требуется *единство* повѣствованія; оно не слагается изъ частей отдѣльныхъ, не имѣющихъ прямой и вѣрной связи съ главною основною мыслію; необходимо, чтобы эта связь соединяла всѣ частныя событія съ однимъ общимъ основаніемъ и производила на умъ нашъ впечатлѣніе полнаго и органическаго цѣлаго. Послѣдовательность всегда производитъ сильное дѣйствіе: намъ пріятно видѣть постепенное развитіе обширнаго предначертанія и необъятной цѣпи событій изъ одного начала, къ которому относятся всѣ историческія явленія. Такъ, въ *Гердеровыхъ* идеяхъ философіи исторіи одна мысль служитъ основаніемъ этому великолѣпному зданію — мысль, что исторія народа есть проявленіе его духа, отражающагося въ религіи, языкѣ, нравахъ, обычаяхъ, образованіи общества, въ дѣяніяхъ гражданскихъ и военныхъ. *Въ нашей исторіи всѣ великія событія,* какъ уже мы сказали, *развиваются изъ непоколебимой любви къ православной вѣрѣ, престолу и родной странѣ.*

Повѣствуя о событіяхъ, историкъ открываетъ тайныя пружины дѣйствій и конечныя причины происшествій. Для достиженія этого особенно необходимо глубокое изученіе человѣческой природы и знаніе народной жизни. Безъ этихъ условій можно ли объяснить

въ исторіи образъ дѣйствій представителей народа и различные перевороты, какимъ подвергаются государства въ теченіе вѣковъ?

Такъ какъ достовѣрность событій — главная цѣль историка, то безпристрастіе, точность — необходимыя его качества. Ему неприличны преувеличенныя прославленія, равно какъ и ожесточенныя порицанія; чуждый страстей въ отношеніи къ той или другой сторонѣ, не увлекаемый личными видами, но наблюдая прошедшее очами неумытнаго судіи, историкъ представляетъ намъ вѣрное изображеніе жизни человѣческой, какъ философъ изслѣдуетъ истину законовъ природы и человѣка.

Превосходные примѣры этому находимъ въ «Исторіи» Карамзина въ изображеніяхъ *Грознаго* и *Бориса Годунова.*

Впрочемъ, не всякій разсказъ, хотя и вѣрный касательно событій, можетъ имѣть мѣсто въ исторіи: это — принадлежность собственно такихъ происшествій изъ временъ прошедшихъ, которыя служатъ къ нашему наставленію, занимательны и представляютъ связь причинъ съ послѣдствіями въ ясномъ и разительномъ порядкѣ. Исторія предполагаетъ научить насъ мудрости, а потому она должна служить дополненіемъ нашей опытности. Поучительно для человѣка изображеніе подобныхъ ему во всѣхъ отношеніяхъ; это внушаетъ вѣрныя и здравыя сужденія о всѣхъ превратностяхъ жизни. Такого изображенія нельзя ожидать отъ простого разсказа, занимающаго воображеніе; научить насъ можетъ мудрый и добросовѣстный совѣтъ, не допускающій ни излишнихъ украшеній, ни напыщенности, ни блестокъ безполезнаго остроумія. Историкъ представляется мудрецомъ, говорящимъ въ поученіе потомству, вполнѣ изучившимъ свой предметъ, обращающимся болѣе къ нашему разсудку, нежели къ воображенію.

Въ отношеніи къ пріобрѣтенію свѣдѣній гражданственныхъ, новые писатели пользуются многими преимуществами предъ древними. Въ древности труднѣе было запастись политическими свѣдѣніями, по причинѣ недостаточной сообщительности между сосѣдственными государствами. Историческія событія сохранились, большею частію, въ преданіяхъ. Если важнѣйшія изъ нихъ и повѣрялись письменно, то только для соотечественниковъ; древніе не помышляли писать для чужеземцевъ, и еще менѣе для человѣчества. Оттого рѣдко касались подробностей внутренней жизни, о которой мы желаемъ имѣть извѣстія самыя полныя. Исторія нашей народной жизни представляетъ непрерывный рядъ лѣтописцевъ. Карамзинъ открылъ для себя памятники письменные въ лѣтописяхъ, въ государственныхъ актахъ, въ запискахъ современниковъ, въ устныхъ сказаніяхъ: событія, имъ описанныя, точны и правдивы.

Ожидая отъ историка глубокихъ изслѣдованій описываемаго предмета, мы не требуемъ его собственныхъ размышленій, часто прерывающихъ разсказъ историческій: долгъ его представить намъ событія въ настоящемъ ихъ видѣ для совершеннаго познанія народа. Пусть онъ объяснитъ устройство, силы, степень образованности описы-

ваемаго государства, сношенія его съ сосѣдними державами; пусть поставитъ насъ на возвышенное мѣсто, съ котораго можно видѣть всѣ основныя причины происшествій: онъ исполнитъ свое назначеніе; выводъ же заключеній пусть иногда предоставитъ нашему собственному соображенію. Въ этомъ съ *Барантомъ и Гизо* нашъ исторіографъ служитъ образцомъ. Такъ, напримѣръ, неимовѣрнымъ кажется ослабленіе власти Годунова послѣ шестилѣтняго славнаго царствованія (1605); но исторіографъ такъ объясняетъ намъ это явленіе, что мы видимъ въ немъ психологическое слѣдствіе всего предыдущаго (XI, 178):

«Душа сего властолюбца жила только ужасомъ и притворствомъ. Обманутый побѣдою въ ея слѣдствіяхъ, Борисъ страдалъ, видя бездѣйствіе войска, нерадивость, неспособность или зломысліе воеводъ, и боясь смѣнить ихъ, чтобъ не избрать худшихъ; страдалъ, внимая молвѣ народной, благопріятной для самозванца, и не имѣя силы унять ее ни снисходительными убѣжденіями, ни клятвою святительскою, ни казнію; ибо въ сіе время уже рѣзали языки нескромнымъ. Доносы ежедневно умножались, и Годуновъ страшился жестокостью ускорить общую измѣну: еще былъ самодержавцемъ, но чувствовалъ оцѣпенѣніе власти въ рукѣ своей, и съ престола, еще окруженнаго льстивыми рабами, видѣлъ открытую для себя бездну! Дума и дворъ не измѣнились наружно: въ первой текли дѣла какъ обыкновенно; второй блисталъ пышностію какъ и дотолѣ. Сердца были закрыты: одни таили страхъ, другіе злорадство; а всѣхъ болѣе долженъ былъ принуждать себя Годуновъ, чтобы уныніемъ и разслабленіемъ духа не предвѣстить своей гибели — и, можетъ-быть, только въ глазахъ вѣрной супруги обнаруживалъ сердце; казалъ ей кровавыя глубокія раны его, чтобъ облегчать себя свободнымъ стенаніемъ. Онъ не имѣлъ утѣшенія чистѣйшаго: не могъ предаться въ волю Святого Провидѣнія, служа только идолу властолюбій; хотѣлъ еще наслаждаться плодомъ Дмитріева убіенія, и дерзнулъ бы, конечно, на злодѣяніе новое, чтобъ не лишиться пріобрѣтеннаго злодѣйствомъ. Въ такомъ ли расположеніи души утѣшается смертный вѣрою и надеждою небесною? Храмы были отверсты: *Годуновъ молился Богу, неумолимому для тѣхъ, которые не знаютъ ни добродѣтели ни раскаянія!* Но есть предѣлъ мукамъ въ бренности нашего естества земного».

Вѣрное изображеніе характеровъ въ исторіи есть одно изъ самыхъ блистательныхъ украшеній и труднѣйшихъ для писателя-художника. Нерѣдко отъ частной жизни великихъ людей, отъ самыхъ простыхъ случаевъ, происшествій, повидимому, самыхъ обыкновенныхъ, проливается свѣтъ на цѣлый рядъ событій. Правда, Карамзинъ характеры великихъ князей понималъ по своему вѣку; въ психологическія изслѣдованія этихъ характеровъ онъ не вдавался: оттого у него исторія ихъ нерѣдко остается безъ всякаго объясненія. Такъ превосходно изложенъ удивительный характеръ Іоанна Грознаго, но безъ всякаго указанія на то, что это явленіе естественное: борьбы

новаго времени со старымъ. Нѣкоторыя личности, какъ бы у исторіографа, изображены художнически. Таковы характеры: *Владимира Мономаха* (II, 160), *Александра Невскаго* (IV, 86), *Димитрія Донского* (V, 107), *Іоанна III* (VI, 342), *Бориса Годунова* (XI, 178), *Скопина Шуйскаго* (XII, 172), *Филиппа митрополита* (IX, 93).

Когда памятники древности, невѣрные, противорѣчащіе, темные, различены, соглашены, освѣщены критикою; когда историкъ вступаетъ въ область достовѣрныхъ, неумолкающихъ свидѣтельствъ, гдѣ ни одна изъ добычъ ума человѣческаго не гибнетъ — въ періодъ жизни народа, уже отчетливой въ дѣйствіяхъ; когда дѣло исторіи, какъ *науки*, окончено: тогда начинается трудъ *художническій:* исторія должна получить изящную *форму*.

Съ перваго взгляда нѣтъ ничего легче, какъ представить картину жизни, которою мы обыкновенно охотно любуемся; но исполненіе этой живописи принадлежитъ особому таланту. Сколько любопытныхъ стекается на всякое ежедневное приключеніе: отчего же эти самыя приключенія, перенесенныя въ книгу, иногда бываютъ скучны, незанимательны? Именно оттого, что они перестаютъ занимать насъ такъ, какъ занимаютъ живыя и разговаривающія съ нами лица. Все искусство исторической занимательности состоитъ въ живописи, въ представленіи событій передъ нашими глазами, въ расположеніи ихъ и въ изображеніи дѣйствующихъ лицъ, словомъ — въ возсозданіи цѣлаго народа изъ происшествій. Историкъ не лѣтописецъ: онъ долженъ умѣть изъ множества событій избрать то преимущество, которое состоитъ въ связи и соотношеніи съ природою человѣка вообще и съ природою людей той или другой страны, того и другого времени, выразить, какъ сказали мы выше, жизнь всеобщую человѣчества и жизнь частную народную. Тогда узнаемъ мы въ народѣ членовъ одного большого семейства или человѣчества; тогда понятно будетъ отношеніе народа къ другимъ народамъ, и всѣ дѣйствія его покажутся вразумительными; тогда частная исторія послужитъ дополненіемъ исторіи всеобщей. Въ этомъ *Плутархъ*, *Тацитъ*, *Шиллеръ*, *Бартелеми и Тьерри* — великіе художники. У Карамзина историческая живопись представляется еще въ соединеніи съ очаровательнымъ краснорѣчіемъ. *Монгольскій* періодъ, исторіи *Іоанна III* и *Грознаго*, царствованіе *Бориса Годунова* — принадлежатъ къ образцовымъ произведеніямъ поэтической, одушевленной прозы. Во всякой литературѣ были бы украшеніемъ живописныя изображенія славной битвы *Липецкой* (III, 157), осады и взятія *Кіева* (IV, 11), *битвы на Калкѣ* (III, 238), *битвы Куликовской* (V, 69), *покоренія Казани* (VIII, 180), *осады Козельска* (III, 287), *осады Пскова* (IX, 325), *осады Троицкой Лавры* (XII, 97) и *Клушинской битвы* (XII, 218). Прочтемъ хотя одно образцовое описаніе *осады* и *взятія Кіева*, въ княженіе в. кн. Ярослава II Всеволодовича, 1240 года.

«Скоро вся ужасная сила Батыева, какъ густая туча, съ разныхъ сторонъ облекла Кіевъ. Скрипъ безчисленныхъ телѣгъ, ревъ верб-

людовъ и воловъ, ржаніе коней и свирѣпый крикъ непріятелей, по сказанію лѣтописца, едва дозволяли жителямъ слышать другъ друга въ разговорахъ. Димитрій бодрствовалъ и распоряжалъ хладнокровно... и не зналъ страха. Осада началась приступомъ къ вратамъ Ламскимъ, къ коимъ примыкали дебри: тамъ стѣнобитныя орудія дѣйствовали день и ночь. Наконецъ, рушились ограды, и кіевляне стали грудью противъ враговъ своихъ. Начался бой ужасный: *стрѣлы омрачили воздухъ; копья трещали и ломались;* мертвыхъ, издыхающихъ попирали ногами. Долго остервенѣніе не уступало силѣ; но татары ввечеру овладѣли стѣною. Еще воины россійскіе не теряли бодрости... никто не думалъ молить лютаго Батыя о пощадѣ, о милосердіи; великодушная смерть казалась *необходимостью, предписанною для нихъ отечествомъ и вѣрою.* Димитрій, исходя кровію отъ раны, еще твердою рукою держалъ свое копіе и вымышлялъ способы затруднить врагамъ побѣду. Утомленные сраженіемъ, монголы отдыхали на развалинахъ стѣны: утромъ возобновили оное, и сломили бренную ограду россіянъ, которые бились съ напряженіемъ всѣхъ силъ, помня, что за ними гробъ св. Владиміра, и что сія ограда есть уже послѣдняя для ихъ свободы. Варвары достигли храма Богоматери, но устлали путь своими трупами; схватили мужественнаго Димитрія и повели къ Батыю. Сей грозный завоеватель, не имѣя понятія о добродѣтеляхъ человѣколюбія, умѣлъ цѣнить храбрость необыкновенную и съ видомъ гордаго удовольствія сказалъ воеводѣ россійскому: «Дарую тебѣ жизнь». Димитрій принялъ даръ, ибо еще могъ быть полезенъ для отечества».

«Монголы нѣсколько дней торжествовали побѣду ужасами разрушенія, истребленіемъ людей и всѣхъ плодовъ долговременнаго гражданскаго образованія. Древній Кіевъ исчезъ, и навѣки: ибо сія, нѣкогда знаменитая столица, *мать городовъ россійскихъ,* въ XIV и въ XV вѣкѣ представляла еще развалины; въ самое наше время существуетъ единственно тѣнь ея прежняго величія...»

Перехожу къ историческому *изложенію,* или *слогу.* Главнѣйшее качество историческаго повѣствованія, какъ выше замѣчено — послѣдовательность. Для достиженія этого историкъ долженъ обладать своимъ предметомъ, обнимать его однимъ взглядомъ, понимать взаимное сцѣпленіе и отношеніе его частей, помѣщать каждый предметъ на своемъ мѣстѣ, давать имъ возможность легко слѣдовать за происшествіями и развивать ихъ одно изъ другого.

Занимательность историческаго разсказа зависитъ отъ умѣнья избрать средину между краткимъ, быстрымъ повѣствованіемъ и разсказомъ обильнымъ, теряющимся во множествѣ подробностей. Историкъ слегка касается происшествій неважныхъ и останавливается на тѣхъ, которыя сами собою или по своимъ послѣдствіямъ заслуживаютъ тщательнаго разсмотрѣнія. Здѣсь нуженъ также приличный выборъ обстоятельствъ. Случаи общіе производятъ слабое впечатлѣніе на душу; только разумно избранныя подробности привязываютъ чи-

тателя и занимаютъ; онѣ-то разливаютъ въ сочиненіи жизнь и даютъ ему цвѣтность; онѣ представляютъ воображенію происшествія, какъ бы совершающіяся передъ нашими глазами. Въ этомъ нашъ исторіографъ — величайшій художникъ. Какая поразительная и вмѣстѣ занимательная *картина царствованія Бориса*! Ни мудрость правленія, ни благодѣянія, изливаемыя имъ на народъ, ни угрозы — ничто не прочно для спокойствія духа даже и на престолѣ: это счастіе дается добродѣтелью. Снѣдаемой совѣстью, Борисъ, страхъ всѣхъ и каждаго, устрашился раба, принявшаго могущественное имя царевича. Вотъ художническое изображеніе Бориса (XI, 180): «Къ сожалѣнію, потомство не знаетъ ничего болѣе о кончинѣ (Бориса), разительной для сердца. Кто не хотѣлъ бы видѣть и слышать Годунова въ послѣднія минуты жизни — читать въ его взорахъ и въ душѣ, смятенной внезапнымъ наступленіемъ вѣчности? Предъ нимъ были тронъ, вѣнецъ и могила; супруга, дѣти, ближніе, уже обреченныя жертвы судьбы; рабы неблагодарные, уже съ готовою измѣною въ сердцѣ; предъ нимъ и святое знаменіе христіанства: образъ Того, Кто не отвергаетъ, можетъ-быть, и поздняго раскаянія!... Молчаніе современниковъ, подобно непроницаемой завѣсѣ, скрыло отъ насъ зрѣлище столь важное, столь нравоучительное, дозволяя дѣйствовать одному воображенію».

«Имя Годунова, одного изъ разумнѣйшихъ властителей въ мірѣ, въ теченіе столѣтій было и будетъ произносимо съ омерзѣніемъ во славу нравственнаго неуклоннаго правосудія. Потомство видитъ лобное мѣсто, обагренное кровію невинныхъ, св. Димитрія, издыхающаго подъ ножомъ убійцъ, героя Псковскаго въ петлѣ, столь многихъ вельможъ въ мрачныхъ темницахъ и кельяхъ; видитъ гнусную мзду, рукою вѣнценосца предлагаемую клеветникамъ-доносителямъ; видитъ систему коварства, обмановъ, лицемѣрія предъ людьми и Богомъ... вездѣ личину добродѣтели, и гдѣ добродѣтель? Въ правдѣ ли судовъ Борисовыхъ, въ щедрости, въ любви къ гражданскому образованію, въ ревности къ величію Россіи, въ политикѣ мирной и здравой? Но сей яркій для ума блескъ хладенъ для сердца, удостовѣреннаго, что Борисъ не усомнился бы ни въ какомъ случаѣ дѣйствовать вопреки своимъ мудрымъ государственнымъ правиламъ, если бы властолюбіе потребовало отъ него такой перемѣны. Онъ не *былъ*, но *бывалъ* тираномъ; не безумствовалъ, но злодѣйствовалъ подобно Іоанну, устраняя совмѣстниковъ или казня недоброжелателей. Если Годуновъ на время благоустроилъ державу, на время возвысилъ ее во мнѣніи Европы, то не онъ ли и ввергнулъ Россію въ бездну злополучія, почти неслыханнаго — предалъ въ добычу ляхамъ и бродягамъ, вызвалъ на ѳеатръ сонмъ мстителей и самозванцевъ истребленіемъ древняго племени царскаго? Не онъ ли, наконецъ, болѣе всѣхъ дѣйствовалъ уничтоженію престола, возсѣвъ на немъ святоубійцею?»

Давыдовъ.

Взглядъ Карамзина на исторію.

Карамзинъ понималъ исторію какъ художественное изображеніе прошедшей жизни народа (съ его точки зрѣнія) по памятникамъ старины, въ связной, стройной системѣ и въ возможно полной картинѣ. «Не позволяя себѣ, — говоритъ Карамзинъ, — никакого изображенія, я искалъ выраженій въ умѣ своемъ, а мыслей единственно въ памятникахъ; искалъ духа и жизни въ тлѣющихъ хартіяхъ, желалъ переданное намъ вѣками соединить въ систему ясную стройнымъ сближеніемъ частей, изобразя не бѣдствія и славу войны, но все, что входитъ въ составъ гражданскаго бытія людей». Взглядъ Карамзина на исторію несравненно выше взгляда его предшественниковъ, для которыхъ исторія была только поучительною, полезною книгою, предназначенною для назиданія современниковъ и потомства, для прославленія великихъ подвиговъ. Научныя требованія исторіи — разъясненіе причинъ, внутренней связи событій, очень слабо высказываются у Щербатова. Карамзинъ ясно сознавалъ эти требованія, и выполнилъ ихъ, насколько это было возможно въ его время. Но главное, чего требовалъ Карамзинъ отъ историка, — это художественности изложенія. По словамъ Карамзина, «знаніе всѣхъ правъ на свѣтѣ, ученость нѣмецкая, остроуміе Вольтерово, ни самое глубокомысліе Макіавелево въ историкѣ не замѣнятъ таланта изображать дѣйствія». Предъявивъ такія требованія къ историку, Карамзинъ находилъ невозможнымъ для себя выполненіе ихъ въ изложеніи событій древней русской исторіи. Удѣльный періодъ представлялся Карамзину печальною эпохою, въ которой, по его словамъ, нѣтъ мыслей для прагматика и красокъ для живописца. Древняя Россія, по словамъ исторіографа, погребла съ Ярославомъ свое могущество и благоденствіе. Основанная, возвеличенная единовластіемъ, она утратила силу, блескъ, гражданское счастіе, будучи снова раздроблена на многія области.

Государство, шагнувъ, такъ сказать, отъ колыбели своей до величія, слабѣло и разрушалось болѣе 300 лѣтъ. Для Карамзина русская исторія получаетъ интересъ со времени Іоанна III, когда, по его словамъ, совершилось одно изъ величайшихъ государственныхъ твореній въ свѣтѣ. Приступая къ изображенію княженія Іоанна III, Карамзинъ говоритъ: «отселѣ исторія наша пріемлетъ достоинство истинно государственной, описывая уже не безсмысленныя драки князей, но дѣянія царства, пріобрѣтшаго независимость и величіе; *народъ еще коснѣетъ въ невѣжествѣ, въ грубости, но правительство дѣйствуетъ по законамъ ума просвѣщеннаго*». Исторія государства — главный предметъ труда Карамзина. Государство это создалось умомъ московскихъ князей, а въ особенности Іоанна III. Для Карамзина главный дѣятель въ исторіи — мудрость правительства. «Государства, — говоритъ онъ, — создаются не механическимъ

сцѣпленіемъ частей, какъ тѣла минеральныя, а великимъ умомъ державнымъ». Приписывая творческую силу мудрости правительства, Карамзинъ не могъ не замѣтить въ русской исторіи печальныхъ явленій, вызванныхъ крупными мѣрами правительства; отсюда требованіе отъ государей и правителей добродѣтели, оцѣнка ихъ дѣяній съ нравственной стороны. Нельзя, впрочемъ, не замѣтить, что исторіографъ не всегда былъ строгимъ судьею поступковъ царствовавшихъ лицъ, дѣлалъ уступки, оправдывалъ жестокости то требованіями времени, то пользою государственною и вообще доходилъ въ своихъ приговорахъ до крайнихъ выводовъ. Впрочемъ, заявляя болѣе широкое пониманіе исторіи, Карамзинъ, подобно Татищеву, не отрицаетъ и практической ея пользы, какъ науки опыта: «правители и законодатели дѣйствуютъ по ея указаніямъ; изъ исторіи узнаемъ, какъ искони мятежныя страсти волновали гражданское общество, и какими способностями благотворная власть ума обуздывала ихъ бурное стремленіе, чтобы учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на землѣ счастіе». Такой взглядъ на исторію сложился у Карамзина подъ вліяніемъ современныхъ событій. Французская революція произвела глубокое впечатлѣніе на воспріимчивую душу исторіографа; онъ видѣлъ въ ней возвращеніе человѣчества ко временамъ варварства, разрушеніе государственнаго порядка и цивилизаціи; отсюда сильное нерасположеніе исторіографа къ народному республиканскому самоуправленію и къ конституціонной формѣ правленія; единственный, лучшій образъ правленія, по взгляду исторіографа — монархическій, неограниченный. «Исторія Государства Россійскаго» представляетъ оправданіе этого взгляда.

Лашнюковъ.

Заслуги Карамзина по отношенію ко внутреннему содержанію отечественной литературы.

Державинъ замыкаетъ собою исторію нашей поэзіи въ XVIII вѣкѣ. Въ его произведеніяхъ отразилось наше общество того времени, со всѣми своими дурными и хорошими сторонами, съ блескомъ двора Екатерины II, съ громкими побѣдами нашихъ армій и флота, съ неслыханными пирами вельможъ, со всею мраморною славою и мѣдными хвалами, по выраженію Пушкина. Величіе и слава настоящаго постоянно настраивали лиру Державина на торжественный ладъ. Рѣдко спускался онъ на землю, воспѣвая эту блестящую внѣшность, и потому-то въ немъ такъ много общаго съ Ломоносовымъ, хоть онъ далеко ушелъ впередъ отъ послѣдняго, по разнообразію формы. Онъ исчерпалъ, кажется, всѣ элементы поэзіи, доступные его вѣку, не сознавая еще, что пора громкихъ одъ и торжественнаго восторга миновалась невозвратно, что есть начала новыя, до которыхъ не дотрогивались еще, что есть струны сердца, которыя не звучали еще. Явилось новое направленіе, новое содержаніе въ литературѣ,

но оно не оживило старика Державина, который остался вѣренъ ломоносовскимъ преданіямъ.

Это новое направленіе, столь животворно дѣйствовавшее въ нашей литературѣ, давшее ей новое, богатое содержаніе, давшее ей иной языкъ и слогъ, нашло блестящаго представителя въ Карамзинѣ, именемъ котораго называется цѣлый періодъ русской литературы. Въ Карамзинѣ заключались всѣ данныя для того, чтобы двинуть впередъ литературу. Талантъ его былъ именно такого свойства, чтобы дѣйствовать на массу. Поэтъ, журналистъ, беллетристъ и историкъ, онъ посвятилъ всю жизнь свою благородной дѣятельности слова; онъ первый у насъ высоко поставилъ званіе писателя, исключительно занимаясь литературою. Его изданія, переводы и повѣсти образовали многочисленную публику читателей, которой давно уже надоѣли напыщенныя оды и холодныя трагедіи, почти исключительно наводнявшія русскую литературу того времени. Въ этомъ отношеніи заслуга Карамзина равняется заслугѣ Новикова, другого знаменитаго литературнаго дѣятеля нашего XVIII вѣка, которому самъ Карамзинъ такъ много былъ обязанъ въ своей молодости. Подобно ему, Карамзинъ, подъ конецъ жизни, составлялъ свѣтлое средоточіе, вокругъ котораго собирались друзья его юности: Дмитріевъ Жуковскій и Тургеневъ, и приходили учиться молодые люди, едва начинавшіе литературное поприще свое. Въ жизни Карамзина было такъ много свѣта, любви и чувства, что онъ внушалъ къ себѣ самыя чистыя привязанности.

Въ младенческой душѣ его, казалось,
Небесный ангелъ обиталъ...

говоритъ объ немъ Жуковскій, вспоминая свои отношенія къ Карамзину. Пушкинъ не однимъ своимъ «Борисомъ Годуновымъ», этимъ совершеннѣйшимъ созданіемъ русской поэзіи, былъ обязанъ Карамзину. Онъ, какъ извѣстно, спасъ его отъ многаго горькаго въ жизни, о чемъ Пушкинъ благодарно вспоминалъ до конца своей жизни. Прекрасно заслужить такую человѣческую славу писателю, независимо отъ заслугъ чисто литературныхъ!

Заслуга Карамзина заключалась въ томъ новомъ содержаніи, которое онъ далъ въ своихъ сочиненіяхъ русской литературѣ. Постепенно вырабатывалось это новое содержаніе въ обществѣ, которое шло, не останавливаясь въ своемъ развитіи. Карамзинъ вполнѣ является выразителемъ этого направленія. Конецъ XVIII вѣка въ европейской литературѣ отличался особеннымъ сентиментальнымъ, идиллическимъ направленіемъ, преимущественно въ литературѣ французской. Такое явленіе мало соотвѣтствовало жизни общества, приближающагося къ страшной катастрофѣ, потрясшей его въ основаніяхъ. Это была тишина передъ бурею. Фонтенель и мадамъ Дезульеръ, Бернарденъ де-Сенъ-Пьеръ и Мармонтель писали свои идилліи и нѣжныя повѣсти съ большимъ или меньшимъ талантомъ,

не заботясь о настоящемъ. «Новая Элоиза» Руссо, несмотря на огромный талантъ своего автора, принадлежала также къ этому роду произведеній, хотя въ ней слышится уже неподдѣльное чувство. Романы Ричардсона принадлежатъ также къ этому направленію и у насъ имѣли большое вліяніе на публику въ безчисленныхъ переводахъ и подражаніяхъ. Напыщенность въ одахъ и трагедіяхъ уступила мѣсто этому болѣе живому содержанію. Но, несмотря на всѣ достоинства свои, это новое направленіе въ литературѣ представляется также чѣмъ-то поддѣльнымъ и неестественнымъ. Чувство здѣсь было только чувствительностію; дѣйствительное выраженіе сердца и страсти — нѣсколько холодною и приторною сентиментальностію. Въ нашей литературѣ такое направленіе, несмотря на всю ложь свою, было исторически необходимо и полезно. Этотъ моментъ въ ней былъ отрицаніемъ предшествовавшаго. Онъ былъ большимъ шагомъ впередъ отъ чисто внѣшнихъ напыщенныхъ воспѣваній, вызывая жизнь сердца, далекую, впрочемъ, отъ дѣйствительности. Карамзинъ былъ представителемъ этого направленія, и всѣ его произведенія, какъ прозаическія, такъ и поэтическія, проникнуты одною мыслію. Онъ искалъ сердца и чувства вездѣ. Разсказывалъ ли онъ со слезами судьбу Лизы, или передавалъ повѣсть о борнгольмскомъ безумномъ, или выводилъ на сцену двухъ несчастныхъ любовниковъ испанскихъ, — вездѣ онъ оставался вѣренъ своему направленію. Несмотря на пустоту содержанія, не существовавшую, однакожъ, тогда, эти созданія пришлись вполнѣ по вкусу того времени, и общество съ жадностію зачитывалось ими. Напрасно мы будемъ искать въ нихъ народныхъ красокъ и изображеній дѣйствительности, напрасно мы будемъ требовать отъ нихъ художественной формы и выраженія. Все это было невозможно для того времени. Бѣдная Лиза, Юлія, Наталья, боярская дочь, Эльвира и Эмилія въ «Рыцарѣ нашего времени» не принадлежатъ никакой опредѣленной національности, не носятъ на себѣ рѣзкихъ чертъ, разграничивающихъ одну ступень общества отъ другой. Все это созданія идеальныя, но въ нихъ есть одна общая идея, связывающая ихъ — чувство или чувствительность. Въ чертахъ духовной физіогноміи героевъ и героинь Карамзина слышится человѣческое чувство, о чемъ не было помину до него въ нашей литературѣ, приносившей обществу свои холодныя, безжизненныя созданія. Карамзинъ первый заговорилъ о человѣкѣ, о чувствѣ, о жизни сердца. Онъ по его собственнымъ словамъ, хотѣлъ быть прежде человѣкомъ, а потомъ уже русскимъ. Нельзя поэтому обвинять его въненаціональности созданій. Народность въ литературѣ является тогда, когда общество достигнетъ сознанія, когда народъ воспитается, когда вслѣдствіе исторической жизни изъ общихъ человѣческихъ свойствъ, принадлежащихъ равно всѣмъ народамъ, въ какихъ бы широтахъ и долготахъ ни развивалась ихъ историческая жизнь, не выдѣлятся особенныя свойства народнаго, исключительнаго характера, не похо-

жія на другія. Каждый народъ носитъ на себѣ яркіе знаки отдѣльной жизни, наложенные рукою Провидѣнія и развивающіеся жизнію, но каждый народъ принадлежитъ всему человѣчеству. Чисто народныя черты физіогноміи, особенности выступаютъ уже тогда, когда народъ сознаіъ свое отдѣльное историческое значеніе, когда яркими событіями вписалъ онъ имя свое на страницы исторіи. У племенъ, находящихся въ младенческомъ состояніи развитія, не можетъ быть народности, какъ мы понимаемъ ее. Какъ въ исторіи, такъ и въ литературѣ, народность является гораздо позже. Нужно было воспитаться въ обществѣ чувству человѣческаго достоинства, а потомъ могло уже оно любоваться народными созданіями, выросшими на его собственной землѣ. Подобно тому, какъ сначала нужно быть человѣкомъ, а потомъ уже воиномъ, гражданскимъ чиновникомъ, поэтомъ, учителемъ, такъ прежде общество должно развить въ себѣ человѣческое достоинство, а потомъ уже гордиться національными особенностями. Поэтому на долю Карамзина выпало завидное званіе быть въ литературѣ воспитателемъ человѣческаго чувства въ обществѣ, какъ Пушкинъ былъ воспитателемъ чувства художественнаго. Послѣ Карамзина могли явиться и народно-простодушныя созданія Крылова и величавые, со всею глубиною русскаго чувства, образы Пушкина. Безъ него такія явленія не связывались бы съ предшествовавшимъ развитіемъ литературы и были бы необъяснимы. Во всѣхъ своихъ произведеніяхъ Карамзинъ является представителемъ человѣческаго сердечнаго чувства. Вотъ почему и содержаніе его произведеній гораздо глубже, гораздо многостороннѣе всѣхъ предшествовавшихъ литературныхъ явленій. Ни на одномъ прежнемъ писателѣ нашемъ не отразилось такъ могущественно вліяніе европейскихъ литературъ, какъ на Карамзинѣ. Перечтите его «Письма русскаго путешественника», и вы увидите въ нихъ всѣ его симпатіи и антипатіи, и первыхъ гораздо больше, сравнительно съ послѣдними, ибо онъ особенно отличался любовію ко всему. Тутъ нѣтъ того рѣзкаго, желчнаго тона, которымъ проникнуты страницы «Писемъ изъ-за границы» Фонвизина, тутъ нѣтъ его непримиримаго, охуждающаго взгляда и несправедливыхъ выходокъ противъ славныхъ именъ науки и словесности. Взглядъ Карамзина вполнѣ примирительный, и вотъ почему онъ, даже въ Парижѣ 1790 года, оставался вѣренъ своимъ задушевнымъ идеямъ, вѣренъ религіи чувства, наполнявшей всю жизнь его. Онъ не видѣлъ бездны, разверзающейся подъ его ногами... Русская публика въ произведеніяхъ Карамзина, особенно въ «Письмахъ» его, познакомилась съ новыми, дотолѣ неизвѣстными ей представителями европейскихъ литературъ. Карамзинъ разсказывалъ про свои свиданія и бесѣды съ Виландомъ, Кантомъ, Шиллеромъ и Гёте. Еще прежде, до путешествія, онъ перевелъ «Юлія Цезаря» изъ Шиллера и первый познакомилъ насъ съ этимъ славнымъ именемъ. Послѣ него понятно, какимъ образомъ Жуковскій могъ внести въ нашу поэзію новый элементъ романтизма, при-

надлежавшій германскому духу и впервые появившійся въ нѣмецкой литературѣ... Журналы Карамзина, издаваемые имъ по возвращеніи изъ-за границы, были органами его вліянія на читателей. Карамзинъ первый пустился въ политическія обозрѣнія и помѣщалъ критическіе обзоры событій въ «Вѣстникѣ Европы», которыя выражали собою народное чувство, возбужденное начальными войнами съ Наполеономъ. Кромѣ того, журналы Карамзина знакомили публику съ многостороннею жизнію Европы. Ея науки, искусства и литература находили себѣ въ немъ краснорѣчиваго истолкователя. Въ журналахъ его впервые также появились статьи чисто критическаго содержанія, которыхъ не было у насъ до него. Онъ былъ основателемъ нашей критики и проложилъ дорогу Жуковскому, Макарову, Дашкову и другимъ своимъ современникамъ. Правда, его критика истекала изъ того же источника, который виденъ во всѣхъ его произведеніяхъ, а именно изъ чувства, личнаго и безотносительнаго; правда и то, что мы далеко ушли впередъ отъ критическихъ убѣжденій Карамзина,—но заслуга его несомнѣнна. Его собственное литературное положеніе, новая форма слога и языка, принесенная имъ въ литературу, вмѣстѣ съ содержаніемъ, борьба старыхъ началъ съ новыми возбудили жаркую критическую дѣятельность, длившуюся нѣсколько лѣтъ и бывшую не безъ послѣдствій въ исторіи русской литературы. Къ защитникамъ карамзинскихъ нововведеній принадлежитъ и молодой Пушкинъ, вмѣстѣ со всѣмъ живымъ и дѣятельнымъ въ нашей литературѣ. Появленіе «Исторіи Государства Россійскаго» было рѣшительнымъ торжествомъ карамзинскихъ идей и началъ, возбужденныхъ имъ въ русской литературной дѣятельности. Вслѣдъ за могущественными событіями войны 12-го года, вслѣдъ за громомъ побѣдъ и свѣжею славою русскаго имени въ Европѣ, эта книга имѣла огромное вліяніе. Но ея появленіе принадлежитъ уже ко времени литературной дѣятельности самого Пушкина.

Такова была заслуга Карамзина по отношенію къ внутреннему содержанію нашей литературы, увеличенной имъ въ объемѣ, расширенной новыми благородными началами. *Буличъ.*

Заслуги Карамзина по отношенію къ формѣ выраженія новаго содержанія.

Новое содержаніе требовало и новой формы выраженія. Прежде, при чисто внѣшнемъ стремленіи нашей литературы, можно было довольствоваться тѣми условными формами, которыя, будучи принесены изъ Европы, получили у насъ право гражданства. Ѣдкая сатира друга и товарища въ жизни и литературѣ Карамзина, Дмитріева, убила окончательно форму оды. Драма, съ своей стороны, нанесла тяжкіе удары классической трагедіи, гдѣ являлись подъ именами героевъ жалкія созданія декламаціи и реторики. Новое со-

держаніе, принесенное Карамзинымъ въ литературу, требовало и новой формы, и онъ представляется у насъ нововводителемъ формы повѣсти и романа, которыхъ не было у насъ до него. Повѣсть вполнѣ удовлетворяла новому содержанію; въ ней свободнѣе и шире могла развернуться игра сердечнаго чувства, и въ ней только могла найти убѣжище простая жизнь, выводимая на сцену. Безспорно, что форма повѣстей Карамзина далека отъ той простой, но художественной формы повѣсти и историческаго разсказа, какія далъ намъ Пушкинъ, но не надобно забывать время ихъ появленія, и необходимо отличать *чувствительность* Карамзина отъ глубокаго *чувства* Пушкина. Форма Карамзина — вообще легкая, приличная содержанію. Въ его стихотвореніяхъ тотъ же простой и естественный складъ рѣчи, какой и въ повѣстяхъ. Заслуга Карамзина особенно достойна глубокаго уваженія по той реформѣ русскаго слога и языка, какую произвелъ онъ своими сочиненіями въ нашей литературѣ, освободивъ прозаическую и стихотворную рѣчь отъ тяжелыхъ церковно-славянскихъ оборотовъ, которыми со времени Ломоносова щеголяли наши поэты и писатели, считая эту церковно-славянскую печать на своихъ произведеніяхъ — признакомъ величія и поэзіи; Карамзинъ первый очистилъ слогъ нашъ отъ этой нестройной пестроты и заговорилъ простымъ человѣческимъ языкомъ, особенно идущимъ къ тому элементу сентиментальности и чувствительности, который онъ выражалъ въ литературѣ. Какъ въ этой чувствительности не могло быть силы и дѣйствительности, какъ въ ней мы видимъ только переходное направленіе, переходное явленіе въ жизни общественной, такъ и отъ слога Карамзина нельзя требовать силы и крѣпости, которыхъ съ такою легкостію достигнулъ Пушкинъ, выразитель опредѣленныхъ и твердыхъ началъ въ литературѣ. Въ слогѣ Карамзина, при всѣхъ его прекрасныхъ достоинствахъ, чувствуется что-то чужое, нерусское, и одностороннія нападки на Карамзина Шишкова и его послѣдователей заключаютъ въ себѣ извѣстную долю истины. Но заслуга Карамзина чрезвычайно важна. Безъ нея не могло бы быть никакого дальнѣйшаго движенія въ нашей литературѣ, безъ нея не могъ бы явиться Дмитріевъ, Жуковскій, Крыловъ. Они не могли быть нововводителями или вслѣдствіе условій своей природы и развитія, или вслѣдствіе односторонняго направленія.

То, что проповѣдывалъ въ прозѣ Карамзинъ, выражалъ стихами Дмитріевъ. Его поэтическія произведенія, его сказки, написанныя простымъ и яснымъ языкомъ, его пѣсни, вполнѣ проникнутыя нѣжностію сентиментальнаго чувства, безъ миѳологическихъ прикрасъ и безъ торжественности, имѣютъ чрезвычайно важное значеніе въ нашей литературѣ. Простая форма ихъ важна исторически, а чувство, дышащее въ нихъ, кажущееся теперь намъ нѣсколько приторнымъ, было отраднымъ явленіемъ послѣ громогласнаго одопѣнія. Но и Дмитріевъ и Карамзинъ заплатили дань вѣку и не вполнѣ могли отрѣшиться отъ прежнихъ вліяній въ литературѣ,

хотя многое послѣ нихъ сдѣлалось рѣшительно невозможнымъ. Это были двѣ натуры, дѣйствовавшія въ чисто переходную эпоху, а потому отразившія въ себѣ вліяніе стараго и предчувствіе будущаго. Вотъ почему многіе изъ послѣдователей Карамзина, какъ, напримѣръ, Капнистъ, Озеровъ, В. Пушкинъ, заимствуя отъ него форму своихъ произведеній, усвоивая болѣе или менѣе его языкъ, во многомъ другомъ оставались вѣрны преданіямъ докарамзинской эпохи. По той же причинѣ и Карамзинъ писалъ холодныя оды, какъ было то въ старину. Но молодая русская словесность развивалась чрезвычайно органически. Вообще всякое явленіе въ ней всегда можно, при болѣе внимательномъ изученіи, связать съ предшествующимъ и послѣдующимъ, и историческая важность Карамзинской эпохи получаетъ въ глазахъ критика огромное значеніе: во время Карамзина является уже сознаніе, что литература есть одна изъ необходимыхъ сторонъ государственной жизни, что она необходима ей, какъ армія и флотъ, что занятіе литературою гораздо болѣе почтенно, нежели забавно, что она есть дѣло, а не пріятное препровожденіе времени, веселая игра, отъ нечего дѣлать, отъ лишняго досуга. Званіе писателя, столь униженное въ вѣкѣ предшествовавшемъ, когда поэтъ и комедіантъ часто были синонимами, со временъ Карамзина получило почтенное мѣсто въ общественной іерархіи. Прежде званіе поэта было побочнымъ. Большая часть поэтовъ, по словамъ Дмитріева, была:

. . . . . Лейбъ-гвардіи капралъ,
Асессоръ, офицеръ, какой-нибудь подьячій,
Иль изъ кунсткамеры антикъ, въ пыли ходячій,
Уродовъ стражъ — народъ все нужный, должностный...

Созданія ихъ являлись вслѣдствіе разныхъ, чисто внѣшнихъ побужденій, постороннихъ для литературы. Дмитріевъ продолжаетъ:

Къ тому жъ, у древнихъ цѣль была, у насъ другая:
Горацій, напримѣръ, восторгомъ грудь питая,
Чего желалъ? О! Онъ — онъ бралъ не свысока,
Въ вѣкахъ безсмертія, а въ Римѣ лишь вѣнка
Изъ лавровъ иль изъ миртъ, чтобъ Делія сказала:
«Онъ славенъ, чрезъ него и я безсмертна стала!»
А нашихъ многихъ цѣль — награда перстенькомъ,
Нерѣдко сто рублей, иль дружество съ князькомъ,
Который отроду не читывалъ другова,
Кромѣ придворнаго подчасъ мѣсяцеслова;
Иль похвала своихъ пріятелей, а имъ
Печатный всякой листъ быть кажется святымъ.

Карамзинъ создалъ и публику и званіе писателя. Онъ трудовою своею жизнію, посвященною уединеннымъ подвигамъ слова, доказалъ, что можно быть истиннымъ гражданиномъ земли своей, служа ей перомъ и всю жизнь преслѣдуя исключительно только литературныя цѣли.

Буличъ.

Заслуги Карамзина въ области языка и слога.

Болѣе полувѣка прошло съ тѣхъ поръ, какъ въ первый разъ явились въ свѣтъ «Письма русскаго путешественника» Карамзина, съ новымъ, какъ тогда его называли, русскимъ языкомъ, русскимъ слогомъ, — и между тѣмъ этотъ языкъ и слогъ не только не забыты, не устарѣли, но, увлекши за собою огромную толпу подражателей, развивались и совершенствовались по данному направленію, постоянно и непрерывно, сами никогда не теряя значеніе образца! Онъ—родоначальникъ той изумительной простоты и ясности литературной нашей рѣчи, которая достигла такого недосягаемаго совершенства въ прозаическихъ сочиненіяхъ геніальнаго Пушкина, той гармоніи, плавности, прелести, какими прельщаетъ она насъ въ произведеніяхъ безсмертнаго Жуковскаго, той, такъ сказать, желѣзной крѣпости, силы, округленности и пластичности, какимъ удивляемся въ «Героѣ нашего времени» Лермонтова, наконецъ, той своеобразной смѣны періодичности съ краткостію и лаконизмомъ, такъ мѣтко и рельефно отливающей мысли и предметы со всѣми ихъ мельчайшими оттѣнками, которыми мы восхищаемся, но которымъ не рѣшаемся подражать, въ созданіяхъ Гоголя.

Но эти громадныя послѣдствія возникли единственно изъ фактической авторской дѣятельности Карамзина. Второй преобразователь русскаго слога не писалъ теоріи новаго литературнаго русскаго слога, не объяснялъ и не доказывалъ посредствомъ разсужденій и литературныхъ или журнальныхъ споровъ новыхъ взглядовъ на языкъ и слогъ, на условія и требованія новаго слога, не занимался учеными филологическими изслѣдованіями. И между тѣмъ всѣ знаютъ и повторяютъ единогласно, — и совершенно вѣрно, — что Карамзинъ преобразовалъ нашъ языкъ, нашъ слогъ, что отъ него ведетъ свое начало новый періодъ въ области отечественной литературной рѣчи. Какъ же совершилъ Карамзинъ это поистинѣ великое, по своей сущности и послѣдствіямъ, дѣло? Фактическимъ приложеніемъ на дѣлѣ той теоріи, которая ясно выработалась въ его душѣ, постигнутая вѣрно его геніальнымъ чутьемъ и глубокимъ проникновеніемъ въ сущность строенія русскаго языка, въ его духъ. Онъ достигъ этого «Письмами русскаго путешественника», повѣстями, наконецъ, «Исторіею Государства Россійскаго», въ которыхъ, какъ великій учитель соотечественниковъ, на дѣлѣ показалъ истинный духъ русскаго языка, заговорилъ тою родною рѣчью, которая пришлась по сердцу всякому русскому человѣку, затронула душу каждаго, потому что каждый увидѣлъ въ ней свою, родную живую рѣчь.

Велики несомнѣнныя заслуги перваго преобразователя русскаго слова, безсмертнаго Ломоносова. Извѣстно, что въ древнемъ допетровскомъ періодѣ нашей словесности литературнымъ языкомъ нашимъ былъ языкъ церковно-славянскій. Петръ Великій первый началъ пи-

сать тѣмъ языкомъ, который употреблялъ и въ разговорѣ. Нѣкоторые писатели и старались вводить въ литературу это разговорное нарѣчіе—русскій языкъ, но, большею частію, неудачно: они не имѣли яснаго понятія о границахъ, отдѣляющихъ одинъ языкъ отъ другого; оттого выраженія церковно-славянскія смѣшивались съ народными русскими. Сверхъ того, вмѣстѣ съ новыми понятіями и предметами, вслѣдствіе реформы Петра Великаго, вошло въ нашъ языкъ множество иностранныхъ словъ: нѣмецкихъ, французскихъ, голландскихъ, италіанскихъ и другихъ. Ломоносовъ отдѣлилъ церковно-славянскій языкъ отъ чисто-русскаго въ отношеніи грамматическомъ и первый составилъ грамматику этого отдѣленнаго русскаго языка, но не совершенно оставилъ языкъ церковно-славянскій. Раздѣливъ книжный языкъ по слогу на три извѣстные разряда — высокій, средній и низкій, онъ подчинилъ русскій языкъ въ стилистическомъ отношеніи церковно-славянскому и въ представленныхъ образцахъ новой рѣчи или слога, особенно въ похвальныхъ словахъ, построеніе рѣчи ввелъ не русское, а чуждое, латинское, состоящее изъ длинныхъ періодовъ. Такимъ образомъ Ломоносовъ, по выраженію князя Вяземскаго, «представилъ тѣло, оживленное то германскимъ, то латинскимъ духомъ, коему даны въ пособіе слова славянскія!» Преемники великаго Ломоносова чувствовали, что въ его плавной, благозвучной рѣчи есть что-то искусственно-мертвое, что въ ней слышится чуждый элементъ. И потому, несмотря на множество подражателей Ломоносову, было не мало и такихъ писателей, которые старались очистить русскій языкъ отъ этихъ чуждыхъ ему элементовъ какъ въ матеріальномъ составѣ, такъ и въ строѣ. Уже въ комедіяхъ Фонвизина видимъ смѣлое отступленіе отъ признаннаго законнымъ слога, видимъ языкъ, близкій къ разговорному, въ сочиненіяхъ и переводахъ Подшивалова ту пріятную простоту слога, за которую называютъ его предшественникомъ Карамзина; въ журналѣ «Почта Духовъ» сатирическія статьи Крылова отличаются легкимъ разговорнымъ строеніемъ рѣчи. Но эти попытки къ сближенію книжной рѣчи съ разговорною были робки, медленны, безъ яснаго сознанія сущности дѣла — духа языка. А жизнь кипѣла: новыя идеи, новые предметы входили въ жизнь и требовали для себя соотвѣтственнаго живого выраженія въ словѣ. Франція со своими идеями, съ своимъ вкусомъ и модами, господствуя въ XVIII вѣкѣ во всей западной Европѣ, законодательствовала и у насъ. Французскій языкъ, французскія идеи, французскія моды царили въ нашемъ высшемъ обществѣ, а за нимъ тянулся и кругъ средній. Фонвизинъ, можетъ-быть, нѣсколько преувеличенно и карикатурно, но ярко рисуетъ это вліяніе на наше общество всего французскаго, въ знаменитой комедіи-сатирѣ «Бригадиръ», въ лицѣ бригадирскаго сына. Для него все несчастіе совѣтницы состоитъ въ томъ только, что она русская; для него, только съѣздивъ въ Парижъ, сколько-нибудь будешь походить на человѣка!! Среди такого положенія дѣлъ выступилъ на литературное поприще Карамзинъ. Смотря на языкъ, какъ на оболочку

мысли, какъ на средство для выраженія идей и проведенія ихъ въ массу, онъ созналъ несравненно яснѣе, чѣмъ другіе, созналъ вполнѣ, что для полнаго успѣха въ этомъ дѣлѣ необходимо сообщить книжной рѣчи ту простоту и краткость, какою отличается рѣчь разговорная, слѣдовательно, необходимо сблизить, подружить ее съ этою послѣднею и въ матеріальномъ отношеніи и въ строѣ. И потому онъ прямо и откро енно принялъ за правило «писать *такъ,* какъ говорятъ», а въ огражденіе языка литературнаго отъ всякой порчи, прибавилъ оговорку: «и говорить, какъ пишутъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ тотчасъ же представилъ фактическое доказательство — приложеніе къ дѣлу своей мысли — письма о заграничной жизни, повѣсти. Прочтите нѣсколько страницъ, даже нѣсколько строкъ изъ этихъ писемъ и повѣстей, сравните ихъ языкъ съ языкомъ даже Фонвизина — и вамъ ярко бросится въ глаза огромная разница между тѣмъ и другимъ. Понятно, что новая рѣчь Карамзина должна была пріятно изумить русскую публику, особенно ту часть ея, которая до того времени не читала другихъ книгъ, кромѣ милыхъ французскихъ романовъ, а тѣмъ болѣе не читала русскихъ книгъ, потому что, по преданію, считала родной языкъ грубымъ, необразованнымъ, бѣднымъ, неспособнымъ къ выраженію идей тонкихъ способомъ пріятнымъ. Самъ Карамзинъ, въ статьѣ «О любви къ отечеству и народной гордости», такъ говоритъ объ этомъ взглядѣ на родной языкъ: «Оставимъ нашимъ любезнымъ свѣтскимъ дамамъ утверждать, что русскій языкъ грубъ и непріятенъ, что charmant и seduisant, expansion и vapeur не могутъ быть на немъ выражены, и что, однимъ словомъ, не стоитъ труда знать его. Кто смѣетъ доказывать дамамъ, что онѣ ошибаются!» И, замѣтивъ, что мужчины не имѣютъ права судить такъ ложно, Карамзинъ прибавляетъ: «языкъ нашъ выразителенъ не только для высокаго краснорѣчія, для громкой живописной поэзіи, но и для нѣжной простоты, для звуковъ сердца и чувствительности».

Въ преобразованіи строенія рѣчи Карамзинъ руководствовался сближеніемъ языка литературнаго съ языкомъ разговорнымъ, что сообщило книжно у языку начало жизни, начало движенія.

Кромѣ того, углубляясь въ родную старину, перечитывая старинные грамоты, договоры, акты и другія государственныя бумаги, изучая народныя пѣсни и сказки, Карамзинъ въ нихъ увидѣлъ духъ русскаго языка, овладѣлъ имъ и въ своей литературной рѣчи, проникнутой этимъ духомъ, воскресилъ множество давно оставленныхъ грамотниками мѣткихъ, живыхъ, наглядно рисующихъ предметъ и мысль, народныхъ словъ и оборотовъ, возвратилъ имъ право гражданства въ литературѣ, обогатилъ и украсилъ ими литературную рѣчь. Это же обширное и глубокое знакомство со старинною русскою рѣчью народной литературы открыло ему и истинный духъ ея строя: оттуда особенная любовь Карамзина къ дактилическому окончанію фразъ и предложеній, столь обыкновенному въ нашихъ народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ, любовь къ нему, такъ ясно высказавшаяся даже

въ самомъ заглавіи безсмертнаго памятника исторической дѣятельности Карамзина — «Исторія Государства Россійскаго». Оттуда — эти прилагательныя и нарѣчія, поставляемыя имъ на концѣ, единственно съ тою цѣлью, чтобы рѣчь окончилась любимымъ дактилемъ. Такимъ образомъ, подражаніе новымъ западнымъ языкамъ, французскому и англійскому, въ складѣ новой рѣчи Карамзина было только слѣдствіемъ короткаго и глубокаго знакомства его съ истинными свойствами, съ духомъ родного языка.

Естественно, впрочемъ, что, преобразуя строеніе рѣчи, самъ преобразователь не могъ вначалѣ избѣжать нѣкоторыхъ недостатковъ. Прибавимъ къ чрезвычайной трудности дѣла тогдашнее французское воспитаніе, господство французскаго языка въ разговорѣ лучшаго общества, множество новыхъ идей и предметовъ, съ которыми познакомился Карамзинъ во время путешествія по Европѣ и которые, будучи намъ незнакомы, не имѣли соотвѣтственныхъ себѣ выраженій — и намъ будетъ понятно, почему въ первыхъ сочиненіяхъ Карамзина встрѣчаются иностранные слова и обороты, преимущественно галлицизмы. Если этихъ недостатковъ не могъ избѣгнуть вначалѣ самъ великій преобразователь русскаго слога, то толпа его подражателей, изъ коихъ многіе не имѣли таланта, не понимали сущности преобразованія, а слѣдовали новому направленію единственно потому, что оно было модное и нравилось публикѣ, и должна была дойти, какъ и дошла, до крайности: употребляли безъ малѣйшей нужды французскіе слова и обороты и, такимъ образомъ, наводнили русскую рѣчь выраженіями и оборотами чуждыми. Писатели ломоносовской школы, эти истинные патріоты, справедливо цѣнившіе чистоту родной рѣчи и съ благоговѣніемъ смотрѣвшіе на церковно-славянскій языкъ, какъ на наше народное достояніе, народную святыню, священный ковчегъ нашей святой вѣры и русской народности, пришли въ понятное патріотическое негодованіе и паническій страхъ отъ этого искаженія родной рѣчи. Тогда на защиту и спасеніе ея, отъ лица старой и новой Россіи, возсталъ представитель этой школы, жаркій патріотъ, достопамятный адмиралъ Шишковъ и разразился на нововводителей знаменитымъ своимъ сочиненіемъ: «О старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка». Закипѣла сильная, ожесточенная литературная война. Со всею силою и энергіею оскорбленнаго патріота, вооруженный крѣпкими фактическими доводами и изъ филологіи и изъ священнаго хранилища чистоты русскаго языка и русской народности — церковно-славянскаго языка, священныхъ книгъ нашей православной вѣры, сочиненій высокихъ отечественныхъ проповѣдниковъ и духовныхъ писателей и безсмертнаго Ломоносова, онъ утверждалъ, что нѣтъ языка русскаго, отдѣльнаго отъ церковно-славянскаго, что есть *одинъ* языкъ русскій — языкъ священныхъ книгъ, сочиненій Ѳеоф. Прокоповича, Ломоносова, Державина, а языкъ Карамзина есть только слогъ его, нарѣчіе русскаго языка, а не языкъ особый. Напавъ на слѣпое подражаніе иностранцамъ, энергически и рѣзко обвиняя Карамзина и его послѣдователей въ ложности взгляда,

въ искаженіи родного языка, Шишковъ утверждалъ догматически, что русская рѣчь — это нарѣчіе единаго славяно-русскаго языка — должна заимствовать и свою силу и свою красоту изъ церковно-славянскаго, а не изъ французскаго языка. Жаркій противникъ Карамзина и карамзинистовъ встрѣтилъ сильное сочувствіе и пріобрѣлъ много приверженцевъ: одни изъ нихъ видѣли въ модномъ пустословіи бездарныхъ послѣдователей Карамзина дѣйствительную опасность, дѣйствительную порчу родного слова, оскорбленіе народнаго чувства и народной гордости; другіе просто рады были возвращенію къ старому слогу, къ старинѣ. Послѣдователи Карамзина, въ свою очередь, возстали на защиту новаго литературнаго направленія и его органа — новаго языка. Поприщемъ этой замѣчательной литературной борьбы были журналы: «Московскій Меркурій», «Цвѣтникъ» и «С.-Петербургскій Вѣстникъ». Всѣмъ извѣстно, чѣмъ кончилась эта борьба: побѣда осталась за приверженцами новаго направленія, ибо на сторонѣ его была бо́льшая доля справедливости, больше талантовъ, на сторонѣ его была публика.

Но не жарко спорившіе послѣдователи Карамзина одержали эту побѣду, не они нанесли окончательное и рѣшительное пораженіе своимъ противникамъ, заставивъ ихъ смолкнуть и покориться. Вся честь славной побѣды принадлежитъ безсмертному Карамзину. Въ то время, какъ его противники и приверженцы поражали другъ друга критико-сатирическими статьями, горячились и шумѣли, онъ уклонился отъ всякаго состязанія со своими противниками и съ главою ихъ, Шишковымъ. Только по временамъ, тамъ и сямъ, онъ заявлялъ свои понятія объ языкѣ, свои взгляды на него, и заявлялъ спокойно и благородно. Такъ, въ рѣчи, произнесенной въ торжественномъ собраніи Императорской Россійской Академіи 5 декабря 1818 г., указавъ на громадную заслугу, которую оказала Академія изданіемъ словаря, Карамзинъ, между прочимъ, сказалъ: главнымъ дѣломъ вашимъ (академиковъ) было и будетъ *систематическое образованіе* языка: непосредственное же его обогащеніе зависитъ отъ успѣховъ общежитія и словесности, отъ дарованія писателей, а дарованія — единственно отъ судьбы и природы. Слова не изобрѣтаются академіями; они рождаются вмѣстѣ съ мыслями или въ употребленіи языка или въ произведеніяхъ таланта, *какъ счастливое вдохновеніе.* Самыя правила языка не изобрѣтаются, а въ немъ уже существуютъ: надобно только открыть или показать оныя». Этотъ-то вѣрный и для того времени новый взглядъ на сущность изслѣдованія языка и на самый языкъ и указалъ второму преобразователю русскаго слова на народный языкъ, на русскія народныя пѣсни и сказки, какъ на сокровищницу, изъ которой слѣдовало ему почерпать основанія и матеріалъ для задуманныхъ и начатыхъ имъ преобразованій въ литературномъ языкѣ. И вотъ, не отвѣчая своимъ противникамъ на ихъ критическія, нерѣдко зло-сатирическія нападки ни антикритиками ни филологическими оборонительными статьями, Карамзинъ только собиралъ справедливыя замѣчанія своихъ противниковъ, и, руководствуясь единственно вѣрнымъ и главнымъ критеріемъ — народною рѣчью пѣсенъ

и сказокъ, исправлялъ въ своихъ, даже прежнихъ, сочиненіяхъ указанныя ошибки и болѣе и болѣе совершенствовалъ свой литературный языкъ. Какой чудный, высокій примѣръ благородной и безкорыстно-полезной дѣятельности! И какъ благотворно было бы намъ и нашему молодому поколѣнію писателей слѣдовать этому примѣру великаго русскаго человѣка! Да, высоко это гражданское мужество славнаго нашего соотечественника, который презираетъ сатирическіе нападки и оскорбленія литературной брани, къ сожалѣнію, обратившейся у насъ въ такую любимую моду, и неуклонно и честно работаетъ единственно на пользу и славу любимаго отечества! Слава Богу, прошло для насъ, и прошло безвозвратно, время рабскаго поклоненія всему иноземному! Есть у насъ свои великіе люди, свои столпы земли русской; пусть же наше молодое поколѣніе съ открытымъ сердцемъ обратитъ на нихъ свой взоръ и ихъ примѣромъ укрѣпитъ свои юныя силы для служенія вѣрою и правдою тому великому дѣлу святой родины, которому тѣ служили такъ самоотверженно и славно!

Источникъ какой бы то ни было дѣятельности или первоначальное нравственное побужденіе къ ней сообщаетъ цвѣтъ, характеръ и значеніе и самой этой дѣятельности и нашему сужденію о ней. Чѣмъ выше нравственное побужденіе, изъ котораго возникла дѣятельность историческаго лица, тѣмъ свѣтлѣе и чище эта личность въ глазахъ современниковъ и потомства, тѣмъ возвышеннѣе ея произведенія, ея дѣянія. За величіе и чистоту нравственныхъ побужденій дѣятельности мы миримся съ ошибками, часто невольно и неизбѣжно ей сопутствующими. Какъ ожесточенно нападалъ глубокій патріотъ, адмиралъ Шишковъ, на виновника мнимаго искаженія русскаго языка — Карамзина — и обвинялъ его и его послѣдователей въ неуваженіи къ родной святынѣ, въ пристрастіи къ чужому и пренебреженію своимъ, роднымъ, цитируя, безъ указанія имени автора, цѣлыя мѣста изъ Карамзина! Тѣмъ не менѣе, мы, спокойно озираясь на прошлое, внимательно прослѣдивъ всю славную дѣятельность славнаго преобразователя русскаго слова, съ отрадною гордостію торжественно говоримъ, что Карамзинъ былъ глубочайшій патріотъ Русской земли, что сердце его такъ же сильно и горячо билось за интересы, за славу и процвѣтаніе русскаго народа, русскаго слова, какъ и у Шишкова. Прочитайте его «Письма», его «Исторію Государства Россійскаго», его статьи: «Отчего въ Россіи мало авторскихъ талантовъ», «О любви къ отечеству и народной гордости» — и вы убѣдитесь въ этомъ.

«Завистники русскихъ говорятъ, что мы имѣемъ только въ высшей степени *переимчивость*... Но успѣхи литературы нашей доказываютъ великую способность русскихъ. Давно ли знаемъ, чтò такое слогъ въ стихахъ и прозѣ? и можемъ въ нѣкоторыхъ частяхъ уже равняться съ иностранцами... Будемъ только справедливы, любезные сограждане, и почувствуемъ цѣну собственнаго... Мы никогда не будемъ умны чужимъ умомъ и славны чужою славою... Языкъ нашъ выра-

зителенъ не только для высокаго краснорѣчія, для громкой живописной поэзіи, но и для нѣжной простоты, и для звуковъ сердца и чувствительности. Онъ богатѣе гармоніею, нежели французскій; способнѣе для вліянія души въ тонахъ, представляетъ болѣе *аналогическихъ* словъ, т.-е. сообразныхъ съ выражаемымъ дѣйствіемъ: выгода, которую имѣютъ одни коренные языки. Бѣда наша, что мы все хотимъ говорить по-французски и не думаемъ трудиться надъ обрабатываніемъ собственнаго языка... Языкъ важенъ для патріота, и я люблю англичанъ за то, что они лучше хотятъ *свистать* и *шипѣть* по-англійски, нежели говорить чужимъ языкомъ, извѣстнымъ почти всякому изъ нихъ... Есть всему предѣлъ и мѣра; какъ человѣкъ, такъ и народъ начинаетъ всегда подражаніемъ; но долженъ со временемъ быть *самъ собою*, чтобъ сказать: *я существую нравственно!* Теперь мы уже имѣемъ столько знаній и вкуса жизни, что могли бы жить, не спрашивая, какъ живутъ въ Парижѣ и Лондонѣ. Хорошо и должно учиться; но горе человѣку и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ!... Мы еще въ срединѣ нашего славнаго теченія! Символъ нашъ есть — пылкій юноша; сердце его, полное жизни, любитъ дѣятельность; девизъ его есть: *труды и надежда!* Побѣды очистили намъ путь къ благоденствію; слава есть право на счастье!»

Такъ говорилъ въ 1802 году преобразователь русскаго слова, славный нашъ исторіографъ, и такъ поступалъ онъ во всемъ, ни на іоту не измѣняя этимъ глубоко патріотическимъ чувствамъ во всю свою жизнь. Изъ этого-то чистаго и возвышеннаго побужденія возникли и тѣ преобразованія въ русскомъ словѣ, за которыя блюститель чистоты языка Шишковъ обратилъ на него, главнымъ образомъ, всю силу своихъ ожесточенныхъ нападеній. Тѣмъ въ лучшемъ свѣтѣ является теперь эта высоко нравственная личность безсмертнаго Карамзина намъ, потомкамъ его, пользующимся плодами его патріотическихъ трудовъ. Мы говоримъ, мы пишемъ русскимъ языкомъ, преобразованнымъ трудами и геніемъ славнаго Карамзина.

Линниченко.

Карамзинъ въ исторіи литературнаго языка и Шишковъ.

Попытаюсь расположить въ нѣкоторомъ порядкѣ безсвязныя, безпрестанно повторяющія одно и то же, обвиненія Шишкова; можетъ-быть, изъ нихъ уже видно будетъ отчасти, что именно сдѣлалъ Карамзинъ въ отношеніи къ языку.

Первымъ и важнѣйшимъ недостаткомъ *новаго слога* въ глазахъ Шишкова было исключеніе изъ него церковно-славянскихъ словъ и оборотовъ. Въ самомъ началѣ своего «Разсужденія» онъ жалуется, что *въ большей части нашихъ нынѣшнихъ книгъ* господствуетъ странный слогъ, и главную причину того видитъ въ пренебреженіи къ церковнославянскому языку, *корню и началу русскаго.* Ошибочное понятіе объ

отношеніи между обоими языками и было источникомъ всего неудовольствія Шишкова. Онъ не догадывался, что долговременное преобладаніе перваго надъ послѣднимъ въ литературѣ было явленіемъ хотя и неизбѣжнымъ, но незаконнымъ, игомъ, которое могучій народный языкъ долженъ былъ рано или поздно сбросить съ себя. Произнося свою жалобу, Шишковъ направляетъ первый ударъ не на Фонвизина, не на Крылова или прежнихъ сатириковъ, а прямо на Карамзина. Онъ выписываетъ нѣсколько строкъ изъ «Пантеона россійскихъ авторовъ», только что изданнаго. Итакъ, вотъ чтеніе, послужившее ему непосредственнымъ поводомъ къ начатію войны противъ новаго слога. Какое же мѣсто болѣе всего обратило на себя его вниманіе? Это слѣдующія слова изъ замѣтки о Кантемирѣ: «Раздѣляя слогъ нашъ на эпохи, первую должно начать съ Кантемира, вторую съ Ломоносова, третью съ переводовъ славяно-русскихъ г. Елагина, а четвертую съ нашего времени, въ которое образуется пріятность слога, *«называемая французами élégance»* (послѣднія три слова исключены Карамзинымъ изъ позднѣйшихъ изданій «Пантеона» въ собраніи его сочиненій). Въ этомъ небольшомъ отрывкѣ Шишкову представилась многообразная ересь: 1) неуваженіе къ славяно-русскому языку; 2) мысль, что слогъ нашъ сталъ пріобрѣтать пріятность независимо отъ церковно-славянскаго; 3) означеніе этого новаго свойства французскимъ словомъ; 4) отнесеніе Ломоносова къ законченному уже періоду развитія литературнаго языка. Шишковъ не могъ простить Карамзину, что не видѣлъ у него «краснорѣчиваго смѣшенія славенскаго величаваго слога съ простымъ россійскимъ и умѣнія «высокій славенскій слогъ съ просторѣчивымъ россійскимъ такъ искусно смѣшивать, чтобъ высокопарность одного изъ нихъ пріятно обнималась съ простотою другого». Такое смѣшеніе, какъ выше показано, встрѣчалось у всѣхъ прежнихъ писателей, не исключая Фонвизина и Крылова, когда они сходили съ почвы *низкаго штиля:* оно составляло принадлежность стараго слога, переходившаго иногда въ то *славяномудріе*, противъ котораго Карамзинъ первый открыто возсталъ еще въ «Московскомъ Журналѣ». Шишковъ не забылъ одной сказанной тамъ фразы, и теперь повторяетъ ее: «слогъ нашего переводчика (т.-е. переводчика «Неистоваго Роланда») можно назвать изряднымъ: онъ не надутъ славянщизною и довольно чистъ». — «Что иное значитъ слово сіе *(славянщизна)*, — спрашиваетъ Шишковъ съ негодованіемъ, — какъ не презрѣніе ко всему славенскому языку?»

Вторымъ обвинительнымъ пунктомъ его было излишнее употребленіе французскихъ словъ и оборотовъ, какъ-то: *моральный, эстетическій, эпоха, гармонія, энтузіазмъ, катастрофа, серіозно, меланхолія, миѳологія, рецензія, героизмъ, быть на сценѣ, выходить на сцену* и т. п. Не находя у самого Карамзина довольно словъ и реченій этого рода, онъ отыскиваетъ ихъ у самыхъ плохихъ писакъ и призываетъ своего противника къ отвѣту за всѣ ихъ нелѣпыя заимствованія. Онъ не замѣчаетъ, что самъ часто грѣшитъ галлицизмами, что способенъ,

какъ указалъ Дашковъ, соблюсти даже цѣлыми страницами французское словосочиненіе, и не перестаетъ «вопіять противъ галлицизмовъ».

Въ связи съ этимъ онъ упрекаетъ Карамзина за его начитанность, за его знакомство съ Боннетомъ, Вольтеромъ, Юнгомъ, Томсономъ, Оссіаномъ, Стерномъ, Лафатеромъ, Кантомъ и другими писателями, которыхъ тотъ будто бы «твердитъ на каждой страницѣ», выучившись у нихъ русскому, *на бредъ похожему*, языку. Вмѣсто ихъ, критикъ ставитъ въ образецъ, между прочимъ, труды Ломоносова, Сумарокова, Мотониса, Крашенинникова, Полетики, Павла Кутузова и Ивана Захарова. При чтеніи «Пантеона россійскихъ авторовъ», отъ вниманія Шишкова страннымъ образомъ ускользнуло, что составитель этихъ замѣтокъ также былъ знакомъ съ древнею русскою литературою, что, кромѣ Боннета, Вольтера, Юнга и проч., онъ читалъ Нестора, «Пѣснь о полку Игоревѣ», Ѳеофана, Димитрія Ростовскаго, и, словомъ, если не все, то, по крайней мѣрѣ, многое изъ того, что читалъ самъ защитникъ стараго слога, поражающій насъ слабыми познаніями своими въ иностранныхъ языкахъ и литературахъ.

Далѣе новые писатели обвиняются въ составленіи русскихъ словъ и реченій по иностранному образцу (въ *юродивомъ переводѣ* и *выдумкѣ словъ и рѣчей)*, какъ-то: *трогательный*, *занимательный*, *сосредоточить*, *представитель*, *начитанность*, *обдуманность*, *оттѣнокъ*, *страдательная* роль, *гармоническое* цѣлое и мн. др. При этомъ Шишкова особенно сердитъ, что многимъ словамъ, уже прежде существовавшимъ, придается новое, болѣе духовное значеніе; напримѣръ, что слова: *развить*, *развитіе*, *утонченный*, *утонченность*, *переворотъ* стали употребляться подобно французскимъ développer, raffiné, révolution. Болѣе всего не нравится ему слово *развитіе*, напримѣръ, въ выраженіи *развитіе характера*, и онъ считаетъ совершенно равносильнымъ *прозябеніе*, которое и употребляетъ, такимъ образомъ, въ своемъ «Разсужденіи» (напримѣръ, пишетъ: «прозябеніе талантовъ»). «Какъ же, — спрашиваетъ онъ, — вводимъ мы съ французскаго языка въ русскій такое выраженіе, которое сами французы на своемъ языкѣ употреблять сочли бы за безобразіе? Поистинѣ, разумъ и слухъ мой страдаютъ, когда мнѣ говорятъ: *ночныя бесѣды, въ которыхъ развивались первыя мои метафизическія понятія*. Фраза эта взята изъ статьи Карамзина: «Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона». «Для чего, — замѣчаетъ критикъ далѣе — въ вышесказанной рѣчи не сказать: въ которыхъ первыя мои понятія *прозябали?*» Такъ же строго осуждаетъ онъ выраженіе Карамзина: «когда путешествіе сдѣлалось потребностію души моей», и спрашиваетъ: «Свойственно ли по-русски говорить: *потребность души моей*, и можно ли путешествіе называть *потребностію, надобностію* или *нуждою* души? Если сочинителю мало показалось сказать: *когда я любилъ путешествовать*, то могъ бы онъ премногими другими сродными языку нашему оборотами рѣчь сію выразить, какъ, напримѣръ: *когда душа моя питалась, услаждалась путешествіями;* или *когда путешествіе было единымъ изъ вожделѣннѣйшихъ желаній моихъ*».

Не менѣе усердно Шишковъ, въ своей книгѣ, преслѣдуетъ неправильное, т.-е. несогласное съ законами русскаго языка, образованіе нѣкоторыхъ словъ и реченій, напримѣръ: *вліяніе на* —, *будущность;* сюда же относитъ онъ сравнительныя: *картиннѣе*, *напряженнѣе*, *человѣчнѣе*, а равно несообразное, по его понятіямъ, словосочетаніе, напримѣръ: *излишнее* самолюбіе (въ чемъ, какъ онъ увѣряетъ, нѣтъ смысла) или *лошадь, покрытая потомъ* («ибо простыя и низкія понятія важнымъ и возвышеннымъ слогомъ описывать неприлично»). Что касается до слова *вліяніе*, то оно употреблялось еще до Карамзина, между прочимъ, въ рѣчахъ московскихъ профессоровъ, но прежде дополнялось различными предлогами: то *въ*, то *надъ*, то *на*.

Совѣтуя, для передачи новыхъ мыслей, держаться исключительно церковныхъ книгъ и старинныхъ писателей, онъ предлагаетъ, между прочимъ, *наитіе* или *наитствованіе* вмѣсто «вліяніе», отвергаетъ *развитіе* только потому, что его нѣтъ въ старыхъ книгахъ, и предпочитаетъ ему *прозябеніе;* далѣе требуетъ удержанія такихъ словъ, какъ: *непщевать*, *гобзованіе*, *одебелѣть*, *приснотекущій*, *любомудріе*, *умодѣліе*, *ядца* (плоти) и *пійца* (крови). Даже нѣкоторые техническіе термины, по его мнѣнію, прекрасно переведены, какъ, напримѣръ: параллельныя линіи названы *минующими чертами*, хорда — *подтягающею*, діаметръ — *размѣромъ*, центръ — *остію* и прочее. «Таковыя и симъ подобныя слова, — полагаетъ онъ, — нужны намъ: онѣ обогащаютъ языкъ нашъ и наполняютъ его новыми понятіями... Бросимъ, — заключаетъ Шишковъ въ одномъ примѣчаніи къ «Разсужденію», — чужеземный составъ рѣчей, придержимся собственнаго своего слога и станемъ *новыя мысли свои* выражать *стариннымъ предковъ нашихъ складомъ*». Въ концѣ «Разсужденія» помѣщена элегія, представляющая въ каждомъ стихѣ пародію на языкъ Карамзина. Вотъ первые стихи ея:

Потребностей моихъ единственный *предметъ*,
Красотъ моей души *моральный*, *милый* свѣтъ
Всю *физику* мою *приводитъ въ содроганье:*
Какое на меня ты дѣлаешь *вліянье!*

Такимъ образомъ, книга о старомъ и новомъ слогѣ начинается и кончается выходками противъ Карамзина.

Карамзинъ озабоченъ былъ прежде всего тѣмъ, чтобъ языкомъ своихъ сочиненій удовлетворять образованному эстетическому чувству: онъ захотѣлъ придать слогу *пріятность*, или изящество (élégance), писать *со вкусомъ*. Онъ находилъ «длинные» ломоносовскіе періоды «утомительными», расположеніе ихъ «не всегда сообразнымъ съ теченіемъ мыслей, не всегда пріятнымъ для слуха». До Карамзина господство ломоносовскаго синтаксиса въ русской прозѣ, за исключеніемъ только нѣкоторыхъ родовъ сочиненій, не прекращалось; иначе и быть не могло: Ломоносовъ еще всѣми былъ признаваемъ за образецъ языка и слога. Карамзинъ первый отнесся къ нему критически

и высказалъ неодобреніе его стилистическихъ началъ. Въ противоположность онъ считалъ нужнымъ:

1) писать *недлинными, неутомительными* предложеніями;

2) располагать слова *сообразно съ теченіемъ мыслей* и съ особыми *законами* языка. «Лучшій, т.-е. истинный порядокъ», по замѣчанію Карамзина, «всегда *одинъ* для расположенія словъ; русская грамматика не опредѣляетъ его: тѣмъ хуже для дурныхъ писателей!»

Эти два правила относятся къ синтаксису, котораго упрощеніе, такимъ образомъ, совершилось въ сочиненіяхъ Карамзина вовсе не въ силу подражанія французскому или англійскому языку, а въ силу потребности русскаго ума и вкуса.

Были ли у Карамзина новые обороты? Нынѣшній читатель почти не замѣтитъ ихъ въ его сочиненіяхъ; между тѣмъ мыслящіе люди изъ его современниковъ, Макаровъ, Дашковъ и др., находили у него новизну и въ этомъ отношеніи. Самъ онъ также высказалъ убѣжденіе, что писателю его времени нужно было нѣкоторое творчество въ выраженіяхъ, и, сверхъ того, прямо свидѣтельствовалъ (въ приведенномъ отвѣтѣ Каменеву) о самобытности своихъ оборотовъ. Ключомъ къ уразумѣнію этихъ показаній можетъ служить его же поясненіе, что надобно «предлагать слова въ новой связи, но такъ искусно, чтобъ скрыть отъ читателя необыкновенность выраженія». Величайшее искусство Карамзина, какъ стилиста, въ томъ и обнаружилось, что онъ безъ всякихъ, повидимому, усилій, безъ рѣзкихъ и разительныхъ нововведеній рѣшилъ задачу мыслящаго писателя, имѣющаго дѣло съ неустановившимся и мало разработаннымъ литературнымъ языкомъ. Еще и въ наше время всякій русскій писатель по опыту знаетъ, легка ли борьба мысли съ выраженіемъ на языкѣ, менѣе другихъ развитомъ; а между тѣмъ русскій языкъ послѣ Карамзина, конечно, ушелъ впередъ. Читая Карамзина со вниманіемъ даже въ первоначальныхъ изданіяхъ его сочиненій, мы, по большей части, бываемъ поражены только непринужденною простотою его оборотовъ, почти всегда согласныхъ съ нынѣшнимъ языкомъ. У него вовсе нѣтъ тѣхъ неловкихъ и странныхъ въ наше время выраженій, о которыя мы безпрестанно спотыкаемся у другихъ тогдашнихъ прозаиковъ. Вотъ почему современники Карамзина и находили его слогъ новымъ. Обыкновенно думаютъ, что въ болѣе раннихъ его сочиненіяхъ много галлицизмовъ. Между тѣмъ у него и въ первое время его журнальной дѣятельности очень рѣдко встрѣтится выраженіе, напоминающее иностранный оборотъ, да и тогда скорѣе замѣтно сходство съ нѣмецкимъ языкомъ, нежели съ французскимъ.

Въ «Вѣстникѣ Европы» успѣхъ языка поразителенъ. Наблюдая характеръ карамзинской прозы съ синтактической стороны, мы придемъ къ заключенію, что новость ея для современниковъ состояла не столько въ томъ, что мы собственно разумѣемъ подъ *оборотами*, сколько въ цѣломъ строѣ его рѣчи, въ гладкости и чистотѣ ея, въ смѣлыхъ сочетаніяхъ и сопоставленіяхъ словъ, въ живыхъ и

яркихъ выраженіяхъ. Все это можно видѣть болѣе изъ совокупности его первыхъ сочиненій, нежели изъ отдѣльныхъ выраженій.

Приведу, однакоже, нѣсколько примѣровъ:

«Пришла весна, и благодѣтельныя *вліянія* сего прекраснаго времени года *возвратили* мнѣ друга; бальзамическія *испаренія* зеленѣющихъ травъ *освѣжили его сердце;* вмѣстѣ съ цвѣтами *расцвѣтала душа его*, и вмѣстѣ съ нѣжными птенцами слабый *духъ* его *оперялся»;* *«знанія разливаются* какъ волны морскія»; «помнишь, другъ мой, какъ мы нѣкогда... *ловили* въ исторіи всѣ благородныя *черты* души человѣческой», — «доказательство, что сердца ихъ *отверзались впечатлѣніямъ* изящнаго»; «такія великодушныя, безкорыстныя чувства трогательны для всякаго, еще *не мертваго душою* человѣка. Разныя *обстоятельства* измѣняли нашъ простой, добрый характеръ и *запятнали его* на время; видимъ людей, *углубленныхъ въ свою личность* и *холодныхъ для* всего народнаго».

Въ отношеніи къ лексическому составу литературнаго языка, у Карамзина замѣчаются слѣдующіе элементы рѣчи:

1) Бóльшее и бóльшее ограниченіе нелюбимыхъ имъ славянизмовъ, рѣдкое заимствованіе изъ *церковно-славянскаго* языка словъ и формъ. Карамзинъ понималъ его отдѣльность отъ другого славянскаго языка, издревле употреблявшагося въ Россіи и получившаго названіе *русскаго*. Въ доказательство того онъ, еще въ 1803 году, противополагалъ переводъ Библіи языку «Слова о полку Игоревѣ». Въ прозѣ высшаго настроенія, у самого Карамзина, славянская стихія никогда не исчезаетъ вполнѣ, и какъ не мало онъ ею пользуется уже въ началѣ своего поприща, но въ болѣе раннихъ трудахъ его есть еще такія черты ея, которыя лишь впослѣдствіи пропадаютъ (напр. «осьмой на десять» вѣкъ, окончанія *ыя* въ родительномъ падежѣ прилагательныхъ женскаго рода). Задача состояла только въ вѣрномъ проведеніи границы, до которой эта стихія можетъ быть допущена. Удаляя изъ своихъ сочиненій устарѣлыя слова, Карамзинъ еще въ «Московскомъ Журналѣ» порицалъ ихъ, когда они встрѣчались ему у другихъ писателей (доказательство, что исключеніе изъ языка церковно-славянской примѣси не совершилось задолго до Карамзина). Такъ, онъ охуждалъ слова: *учинить, изрядство, обращенія* (во множественномъ числѣ) и мн. др. Такъ, онъ съ самаго начала пересталъ употреблять въ прежнемъ смыслѣ слова: *изрядный* (вм. превосходый), *подлый*[1]) (вм. низкій по происхожденію), а впослѣдствіи и *довольный* (вм. *достаточный*), *упражняться, упражненіе* (вм. заниматься, занятіе). Это было, конечно, дѣломъ отрицательнымъ, но оно имѣло великую важность для слога, а притомъ сопровождалось и положительною замѣною такихъ словъ другими, болѣе точными

---

[1]) Слово *подлый* въ этомъ значеніи встрѣчается еще во время «Моск. Журнала». Такъ, въ изданіи «Дѣло отъ бездѣлья» 1792 г. (ч. I, стран. 95) говорится: «... пѣвцовъ, которые знакомы ученому свѣту, а болѣе *подлому* народу».

или болѣе соотвѣтствовавшими духу новаго времени. Уже тогда Карамзинъ охуждалъ также (хотя еще только въ комедіяхъ) употребленіе мѣстоименій *сей* и *оный*[1]).

2) Введеніе иностранныхъ словъ для новыхъ понятій. «Нѣкоторыя чужестранныя слова», — объяснялъ Макаровъ, — «совершенно необходимы; ими только не должно пестрить языка безъ крайней осторожности. Взять слово приличное (французское, арабское, нѣмецкое, какое угодно) весьма хорошо; а неприличное весьма дурно... Потерять счастливую мысль или выразить ее слабо, для нѣкоторой чистоты языка, будетъ непростительное педантство»[2]). Впрочемъ, Карамзинъ никогда не позволялъ себѣ необдуманнаго излишества въ употребленіи иностранныхъ словъ. Правда, что въ первыхъ его сочиненіяхъ они попадаются чаще, нежели въ позднѣйшихъ, и даже въ первоначальныхъ ихъ изданіяхъ чаще, нежели въ слѣдующихъ, однакожъ уже въ «Московскомъ Журналѣ» Карамзинъ одобрялъ счастливый *переводъ* научныхъ терминовъ; слѣдовательно, онъ не былъ противъ развитія языка путемъ образованія новыхъ словъ отъ собственныхъ его корней. Иногда онъ предпочиталъ иностранное слово потому, что оно опредѣленнѣе русскаго; такъ, въ одной рецензіи онъ спрашиваетъ, зачѣмъ не сказано *публичный* вмѣсто *всенародный*. Нѣкоторыя французскія слова, встрѣчающіяся у прежнихъ писателей, отвергнуты имъ, напримѣръ: *резонъ*, *эстима*, *консидерація*, *универсальная апробація*, употреблявшіяся Фонвизинымъ. Въ «Письмахъ русскаго путешественника» онъ постоянно пишетъ *приборы* вмѣсто *мебель*, слово только въ позднѣйшіе годы принятое имъ во французской формѣ (*мебли*, множ. ч.); тамъ же, вмѣсто *меблированный*, онъ пишетъ *прибранный*. Многихъ иностранныхъ словъ, впослѣдствіи вторгнувшихся въ языкъ, Карамзинъ вовсе не допускалъ. Такъ, вмѣсто полюбившагося въ наше время *факта*, онъ иногда употреблялъ *случай*. Слова: *моральный*, *интересный*, *натура* (которое онъ употреблялъ попеременно съ словомъ «природа», но кажется, отличалъ въ каждомъ особые оттѣнки) и многія другія впослѣдствіи замѣнялись у него русскими: *нравственный*, *любопытный*, *занимательный для любопыства* и т. п. Однакожъ, изъ всѣхъ обвиненій Шишкова упрекъ въ употребленіи французскихъ словъ наиболѣе подходитъ къ истинѣ: Карамзинъ принялъ его къ свѣдѣнію и, насколько было возможно, исправился отъ этого недостатка. Галлицизмы, въ которыхъ его укоряли, состояли почти исключительно въ отдѣльныхъ словахъ.

3) Сообщеніе прежнимъ словамъ новаго значенія. Эту сторону обращенія Карамзина съ языкомъ лучше всего объяснилъ самъ Шишковъ, указавъ въ его сочиненіяхъ новое употребленіе словъ: *потребность* и *развитіе*. Вмѣстѣ съ первымъ изъ нихъ онъ осудилъ и цѣлое выраженіе, которое показалось ему не русскимъ: «путеше-

---

[1]) «Моск. Журн.» ч. I, стран. 357.

[2]) «Моск. Меркурій», дек., стран. 166.

ствіе сдѣлалось потребностію души моей». Что касается до слова *развитіе*, то въ тогдашнемъ академическомъ словарѣ его нѣтъ вовсе, а есть только глаголъ *развиваю* и причастіе *развитый* въ собственномъ, чисто вещественномъ смыслѣ. Примѣровъ употребленія извѣстныхъ словъ въ новомъ, распространенномъ или болѣе опредѣленномъ значеніи можно найти у него не мало. Онъ же первый употребляетъ во множественномъ числѣ слово *вкусъ*, которое Шишковъ такъ преслѣдовалъ, «въ смыслѣ разборчивости, потому что наши предки, вмѣсто *имѣть вкусъ*, говорили *толкъ вѣдать, силу знать*».

4) Составленіе новыхъ словъ. Насильственное составленіе новыхъ словъ было несогласно съ характеромъ всего существа Карамзина и могло бы только мѣшать тому дѣйствію, какое онъ стремился сообщить своей рѣчи. Поэтому естественно, что новыя, имъ составленныя слова встрѣчаются у него рѣдко, и наболѣе смѣлыя изъ нихъ сопровождаются оговоркой. Таковы употребленныя имъ въ «Письмахъ русскаго путешественника» *промышленность* и *достижимая* цѣль; кромѣ того, онъ тамъ же замѣтилъ, что *тротуары* можно по-русски назвать *намостами*.

Какъ смотрѣлъ онъ на творчество въ языкѣ, на «непосредственное обогащеніе» его, видно изъ собственнаго размышленія его объ изобрѣтеніи словъ. «Они, — говоритъ онъ въ своей академической рѣчи, — рождаются вмѣстѣ съ мыслями или въ употребленіи языка или въ произведеніяхъ таланта, какъ счастливое вдохновеніе. Сіи новыя, мыслію одушевленныя слова входятъ въ языкъ самовластно». Чѣмъ безыскусственнѣе новосоставленное слово, чѣмъ оно сообразнѣе съ прежними, чѣмъ менѣе бросается въ глаза, тѣмъ легче оно входитъ въ языкъ и тѣмъ прочнѣе въ немъ утверждается. У Карамзина разсѣяно много новыхъ или, по крайней мѣрѣ, до него не установившихся словъ этого рода, изъ которыхъ одни, по простотѣ своей, остались незамѣченными и не попали въ словари, какъ, напр., *общественность, младенчественный, всемѣстный* (вм. повсемѣстный), *всетворящій, опьяняемый, живодѣтельный* (вм. животворный); другія сдѣлались общимъ достояніемъ, напримѣръ: *усовершенствовать, человѣческій, общеполезный*. Для выраженія множества понятій Карамзинъ рано почувствовалъ недостаточность существующаго запаса словъ русскаго языка, и еще во время своего путешествія, намѣреваясь переводить книгу Боннета, говорилъ въ письмѣ къ автору ея о необходимости составлять притомъ, по примѣру нѣмцевъ, новыя слова. И въ послѣдующихъ переводахъ Карамзина встрѣчаются слова частью новыя, подобныя выписаннымъ, частью прежнія, при чемъ онъ иногда ставитъ въ скобкахъ подлинное слово. Примѣры послѣдняго случая были уже приведены выше; можно прибавить къ нимъ еще нѣсколько: *общія положенія* (въ законодательствѣ, dispositions générales), *отношенія* (raports), *тонкости, отвлеченія* и другія.

Таковы были неологизмы Карамзина до «Исторіи Государства Россійскаго», въ которой онъ, какъ извѣстно, сталъ болѣе и болѣе

оживлять свое изложеніе словами, заимствованными изъ лѣтописей. При всей осмотрительности въ первыхъ своихъ сочиненіяхъ, онъ, однакоже, далъ значительный толчокъ лексическому развитію и обогащенію языка, и Шишковъ въ своемъ «Разсужденіи» съ досадою замѣтилъ: «Академическій Словарь нашъ хотя и недавно сочиненъ, однако послѣ того уже такое множество новыхъ словъ надѣлано, что онъ становится обветшалою книгою, не содержащею въ себѣ новаго языка». Положимъ, что между вновь появившимися словами было большое число неудачно скованныхъ подражателями Карамзина и потому непрочныхъ; однако жалоба Шишкова, какъ и прежде уже произнесенная Подшиваловымъ, показываетъ, какъ сильно было движеніе, возбужденное въ литературѣ примѣромъ «русскаго путешественника».

Итакъ, Карамзинъ былъ недоволенъ языкомъ, который онъ засталъ въ литературѣ, приступая къ самостоятельной дѣятельности. Онъ захотѣлъ писать иначе. Онъ захотѣлъ писать такъ же «пріятно», т.-е. сообразно съ здравымъ вкусомъ, изящно, какъ пишутъ лучшіе иностранные авторы. Для этого онъ принялъ въ руководство не французскій или англійскій синтаксисъ, а русскій разговорный языкъ, развивая и обогащая его, по возможности, изъ собственныхъ его началъ, но, въ случаѣ надобности, заимствуя изъ другихъ языковъ отдѣльныя слова, иногда же и обороты, не противные духу русскаго языка. Устранивъ господствовавшее прежде словосочиненіе съ частыми славянизмами, онъ отбросилъ также все шероховатое, грубое, устарѣлое. Новый, такимъ образомъ, по своему строю, а отчасти и по составу, языкъ его былъ новъ также по своей строгой правильности логической и грамматической, по точности и опредѣленности словъ и выраженій, по установленію твердыхъ началъ въ словоуправленіи.

Сверхъ того и слогъ Карамзина былъ новъ по своей пластичности, по богатству образовъ и живописи выраженій, въ которыхъ слова являлись въ новой связи, въ новыхъ счастливыхъ сочетаніяхъ.

Такъ возникла въ первый разъ на русскомъ языкѣ проза ровная, чистая, блестящая и музыкальная, въ выразительности и изяществѣ не уступавшая прозѣ самыхъ богатыхъ литературъ Европы. Эта проза имѣла еще свои недостатки; иногда ей вредила нѣкоторая искусственность, имѣвшая цѣлью удовлетворить особеннымъ, своенравнымъ требованіямъ слуха. И замѣчательно, что такой недостатокъ развился наиболѣе въ послѣдній и самый важный періодъ дѣятельности Карамзина. Высшей степени простоты и естественности проза его достигла въ «Вѣстникѣ Европы» (если исключить «Мареу Посадницу»).

Карамзинъ далъ русскому литературному языку рѣшительное направленіе, въ которомъ онъ еще и нынѣ продолжаетъ развиваться.

Гротъ.

Сердечность Карамзина.

Рядомъ съ жизнію мысли и труда какъ богата была его сердечная жизнь! Онъ на дѣлѣ оправдывалъ то, что писалъ однажды къ Батюшкову: «Чувство выше разума: оно есть душа души — свѣтитъ и грѣетъ въ самую глубокую осень жизни». Съ неистощимою любовью и нѣжностью онъ, несмотря на непрерывныя умственныя занятія, удовлетворялъ потребности обмѣна мыслей не только съ своимъ семействомъ и близкими друзьями, но и съ отсутствовавшимъ другомъ своей молодости, Дмитріевымъ. Это самое чувство любви проникало всѣ его отношенія, съ одной стороны, къ собратьямъ его по литературѣ, съ другой — къ императорскому семейству. Какъ необычайно было это сближеніе между монархомъ и человѣкомъ, котораго вся жизнь сосредоточивалась въ кабинетѣ, который былъ въ полномъ смыслѣ слова безкорыстнымъ жрецомъ науки. Иногда его самого поражала особенность этого явленія, и онъ писалъ въ 1821 году: «Судьба страннымъ образомъ приближала меня въ лѣтахъ преклонныхъ ко двору необыкновенному и дала мнѣ искреннюю привязанность къ тѣмъ, чьей милости всѣ ищутъ, но кого рѣдко любятъ». По характеру и духу образованія Александра I, насъ не можетъ удивлять взаимное сочувствіе этихъ двухъ историческихъ лицъ. Рожденіе обоихъ принадлежало почти къ одной и той же эпохѣ; они были воспитаны среди одинаковой въ сущности атмосферы идей и понятій. Первыя дѣйствія Александра, по вступленіи его на престолъ, воспламенили въ Карамзинѣ энтузіазмъ къ монарху, «юному лѣтами, но зрѣлому мудростью, который (какъ выражался «Вѣстникъ Европы») открывалъ необозримое поле для всѣхъ надеждъ добраго сердца». Карамзинъ съ полною искренностью заговорилъ въ своемъ журналѣ о его необыкновенной благости, замѣтилъ, что «не только Россія и Европа, но и цѣлый свѣтъ долженъ гордиться монархомъ, который употребляетъ власть единственно на то, чтобы возвысить достоинство человѣка въ неизмѣримой державѣ своей». Александръ, съ своей стороны, конечно, будучи еще великимъ княземъ, зналъ Карамзина по его сочиненіямъ и цѣнилъ его. Въ похвальномъ словѣ Екатеринѣ Второй, 1802 года, будущій историкъ спрашиваетъ: «Унижается ли монархъ, когда онъ сходитъ иногда съ высоты трона, становится на ряду съ людьми и, будучи любимцемъ *судьбы*, платитъ дань уваженія любимцамъ *природы*, отличнымъ дарованіями? Александръ сдѣлалъ болѣе и тѣмъ поставилъ себя, въ глазахъ потомства, неизмѣримо высоко: вѣчною благодарностью обязана русская литература и наука государю, который, приблизивъ къ престолу писателя, своею личною опорой оградилъ его отъ опасностей этого положенія и далъ ему возможность спокойно и успѣшно продолжать великій трудъ въ тишинѣ уединенія, не нуждаясь въ дворскихъ связяхъ и надежномъ покровительствѣ людей случайныхъ. Изъ пи-

семъ исторіографа мы узнаемъ высокій характеръ этихъ необыкновенныхъ отношеній съ обѣихъ сторонъ. Правдивость, откровенность, честность Карамзина во всемъ, что̀ онъ говорилъ и писалъ Александру, равнялась только тому вниманію и великодушію, съ какимъ выслушивалъ его государь, тому безграничному благоволенію, какое онъ оказывалъ своему *искреннему* (такъ Александръ называлъ Карамзина) — не наградами, не отличіями, но знаками любви и уваженія человѣка къ человѣку. Правда, что «Записка о древней и новой Россіи», которою исторіографъ ставилъ на карту всю свою будущность или, по крайней мѣрѣ, судьбу своего дорогого историческаго труда, — эта смѣлая записка временно удалила государя отъ ея автора, но то было на самыхъ первыхъ порахъ ихъ сближенія, и впослѣдствіи довѣріе Александра къ Карамзину было тѣмъ полнѣе и тверже. Письмо о Польшѣ хотя также не понравилось государю, однакожъ нисколько не разстроило ихъ прежнихъ отношеній. Александръ говоритъ Карамзину: «Въ нашихъ отношеніяхъ мнѣ особенно пріятно то, что ты ничего отъ меня не ожидаешь, я же знаю, что ты не будешь моимъ историкомъ». Чувство исторіографа къ императору не было только благоговѣніемъ и благодарностью; это была глубокая, горячая, безкорыстная любовь; всякое сомнѣніе въ томъ исчезаетъ при чтеніи писемъ Карамзина къ Дмитріеву, которыя такъ полны сердечныхъ выраженій преданности къ государю. Таково же было его отношеніе къ обѣимъ императрицамъ и къ великой княгинѣ Екатеринѣ Павловнѣ, которая первая изъ особъ Императорскаго дома узнала и полюбила Карамзина. Цѣня выше всего умственные интересы, эти царственныя жены умѣли отвести имъ широкое мѣсто въ жизни своей, находили особенное наслажденіе въ частыхъ бесѣдахъ съ писателемъ и своимъ сердечнымъ вниманіемъ украсили его уединенную жизнь въ Петербургѣ и Царскомъ Селѣ. Его переписка съ ними, отличающаяся рѣдкимъ соединеніемъ свободы и простоты съ достоинствомъ тона, остается также краснорѣчивымъ памятникомъ высокаго благородства души его.

Ни разу Карамзинъ не воспользовался своимъ исключительнымъ положеніемъ для своихъ личныхъ выгодъ; но, не признавая за собою права на новыя благодѣянія государя, не позволяя себѣ даже просить его быть воспріемникомъ новорожденнаго сына, постоянно лелѣя завѣтную думу возвратиться въ Москву, онъ радовался, что могъ, живя въ Петербургѣ, дѣлать иногда добро другимъ. Случай къ тому доставляли ему, вообще, его обширныя связи и вѣсъ, которымъ онъ пользовался. Съ особенной готовностью оказывалъ онъ помощь писателямъ, искавшимъ его покровительства: такъ, онъ исходатайствовалъ пенсіи Владиміру Измайлову и Сергѣю Глинкѣ; такъ, онъ вступился за Пушкина, когда ему угрожало строгое заточеніе за его поэтическія шалости, и достигъ того, что оно было замѣнено удаленіемъ его на службу въ Бессарабію.

Всего возвышеннѣе является Карамзинъ въ отношеніяхъ къ своимъ литературнымъ врагамъ. «Дѣлать зла», говорилъ онъ, «не желаю и тѣмъ, которые хотятъ сдѣлать его мнѣ». Къ главному изъ нихъ, Шишкову, онъ не питалъ никакой непріязни, находилъ въ немъ доброту и честность и благодушно сознавалъ пользу, какую извлекъ изъ его критики, въ искусствѣ писать. Язвительныя рецензіи Каченовскаго онъ также называлъ полезными для себя и поучительными и при избраніи Каченовскаго въ члены Россійской Академіи положилъ ему бѣлый шаръ за себя и за своихъ довѣрителей; Ходаковскому, который съ грубыми насмѣшками разбиралъ его «Исторію», но потомъ прибѣгнулъ къ его помощи, онъ оказалъ услугу не только ходатайствомъ за него передъ правительствомъ, но и денежною поддержкою изъ собственныхъ своихъ средствъ. Съ гордымъ достоинствомъ онъ отзывался о низкихъ на него нападкахъ завистливой посредственности. Его неизмѣннымъ правиломъ съ самой молодости было не отвѣчать на критику; еще путешествуя по Европѣ, онъ восхищался равнодушіемъ Лафатера къ тому, что о немъ писали, видѣлъ въ этомъ знакъ рѣдкой душевной твердости и говорилъ, что человѣкъ, который, поступая по совѣсти, не смотритъ на то, что о немъ думаютъ, есть для него великій человѣкъ. Этому взгляду онъ остался вѣренъ до старости; такъ, онъ однажды писалъ къ А. И. Тургеневу: «истинно ученые презираютъ и хвалу и брань невѣждъ»; когда же Каченовскій напалъ на него въ «Вѣстникѣ Европы», а Дмитріевъ возбуждалъ его въ полемикѣ, онъ возразилъ ему въ одномъ письмѣ: «А ты, любезнѣйшій, все еще думаешь, что мнѣ надобно отвѣчать на критики! Нѣтъ, я лѣнивъ... Хочу доживать вѣкъ въ мирѣ. Умѣю быть благодарнымъ; умѣю не сердиться и за брань. Не мое дѣло доказывать что я, какъ папа, безгрѣшенъ. Все это дрянь и пустота».

Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ Карамзинъ слѣдовалъ самымъ строгимъ правиламъ чести и нравственности, не позволяя себѣ кривыхъ путей даже и въ добрѣ. Однимъ изъ господствующихъ состояній его души было то высокое страданіе любви, которое свойственно только душамъ избраннымъ; онъ живо принималъ къ сердцу все, что касалось не только близкихъ къ нему, но и постороннихъ. Его глубоко огорчало то, что, по его мнѣнію, не отвѣчало пользамъ Россіи: всякое общественное дѣло, котораго онъ не могъ одобрить, разстраивало его, мѣшало ему работать. «Ты знаешь, кажется, — говорилъ онъ Дмитріеву, — что я не очень золъ въ отношеніи къ своимъ личнымъ непріятелямъ; но общественныя злодѣйства, которыя можно назвать язвою государственною, трогаютъ меня до глубины души». Въ домашнемъ быту никогда не видали его гнѣвнымъ; когда случалось что-либо непріятное, онъ скорбѣлъ, страдалъ, но не сердился. Вообще, въ послѣдніе годы жизни Карамзинъ представлялся намъ высокимъ христіаниномъ, мудрецомъ, достигшимъ полнаго мира съ собою, равнодушнымъ къ свѣту и суетѣ его. Славѣ своей онъ не придавалъ большой цѣны и никогда не хвалился ею. Къ концу

жизни письма его, всегда полныя достоинства, принимаютъ какой-то особенный оттѣнокъ яснаго и умилительнаго спокойствія. Вопреки обыкновенной человѣческой слабости, онъ уже рано сталъ говорить о приближеніи старости, о смерти; но онъ говорилъ о нихъ безъ страха и горечи, видѣлъ въ нихъ, какъ и во всемъ, одну свѣтлую, примирительную сторону. «Чтобы чувствовать всю сладость жизни, — писалъ онъ къ Дмитріеву за нѣсколько мѣсяцевъ передъ кончиною, — надобно любить и смерть, какъ сладкое успокоеніе въ объятіяхъ отца. Въ мои веселые, свѣтлые часы я всегда бываю ласковъ къ мысли о смерти, мало заботясь о безсмертіи авторскомъ, хотя и посвятивъ здѣсь способности ума авторству». Въ этомъ отношеніи письма его представляютъ что-то совершенно особенное: какъ будто часъ роковой развязки заранѣе ему извѣстенъ, онъ съ полною увѣренностью предусматриваетъ скорое окончаніе своего земного поприща, и переписка его съ Дмитріевымъ прерывается не внезапно, не неожиданно: онъ самъ съ полнымъ сознаніемъ подготовляетъ и приводитъ насъ къ концу ея. То же видимъ и въ перепискѣ его съ государемъ и съ императрицей Елизаветой Алексѣевной: въ послѣдніе годы пишущіе какъ бы предчувствуютъ, что смерть постигнетъ ихъ скоро и почти одновременно: они трогательно увѣщаваютъ другъ друга жить долѣе.

Я долженъ, хотя слегка, коснуться еще одной стороны въ жизни Карамзина, — его положенія въ литературѣ. Пріѣхавъ въ Петербургъ со своей «Исторіей», онъ увидѣлъ вокругъ себя группу молодыхъ даровитыхъ писателей, которые съ восторгомъ привѣтствовали въ немъ своего учителя. Ихъ сочувствіе, ихъ горячая приверженность были для него дороже самой славы, этой холодной, невѣрной и часто слишкомъ неразборчивой богини. То были такъ называемые арзамасцы — Тургеневъ, Дашковъ, Блудовъ, Уваровъ, Батюшковъ, Жуковскій и другіе. Празднуя память Карамзина, можемъ ли не посвятить минутнаго воспоминанія и имъ, почти забытымъ въ наше тревожное время, но которые лучше всѣхъ поняли Карамзина и усвоили себѣ его литературно-нравственный кодексъ, какъ дорогое завѣщаніе русскимъ писателямъ. По смерти его, Жуковскій, представившій въ себѣ самое полное преемство этихъ убѣжденій, преданный ихъ родоначальнику съ особеннымъ энтузіазмомъ, всѣхъ теплѣе выразилъ отношеніе къ нему арзамасцевъ и въ посланіи къ Дмитріеву такъ заключилъ воспоминаніе о Карамзинѣ:

Лежитъ вѣнецъ на мраморѣ могилы,
Ей молится Россіи вѣрный сынъ,
И будитъ въ немъ для дѣлъ прекрасныхъ силы
Святое имя: Карамзинъ.

И таково, дѣйствительно, должно быть для русскихъ значеніе этой дорогой могилы, изъ которой какъ-будто слышатся слова, сказанныя Карамзинымъ въ предсмертномъ письмѣ къ гр. Каподистріи:

«Милое отечество ни въ чемъ не упрекнетъ меня; я всегда былъ готовъ служить ему, сохраняя достоинство своего характера, за который ему же обязанъ отвѣтствовать». Что въ жизни народовъ, въ исторіи ихъ образованія можетъ быть отраднѣе и многозначительнѣе появленія подобныхъ дѣятелей? Они составляютъ вѣнецъ просвѣщенія. Нація, могущая указать въ своихъ лѣтописяхъ на такія лица, имѣетъ право не отчаиваться въ своемъ будущемъ. Но всѣ усилія передовыхъ ея людей должны быть направлены къ тому, чтобы явленія этого рода не оставались у нея одинокими. До тѣхъ поръ, пока воспитаніе и нравы не приготовятъ почвы, благопріятной для развитія личнаго достоинства человѣка, до тѣхъ поръ, пока высокіе характеры не будутъ возникать чаще, — никакіе успѣхи ума и матеріальнаго благосостоянія, никакія общественныя реформы не будутъ имѣть полнаго значенія. Примѣръ Карамзина показываетъ, какъ благотворны такіе дѣятели для всего окружающаго ихъ міра. Еще недостаточно оцѣнено то дѣйствіе, какое онъ производилъ на современное ему общество не только какъ публицистъ, разсказчикъ, историкъ, но и какъ высокій моралистъ. Но соприкосновеніе съ такими лицами плодотворно не въ одномъ настоящемъ: ихъ духъ, ихъ помыслы и дѣла сохраняютъ свое вліяніе еще и въ потомствѣ. Можно смѣло сказать, что близкое знакомство съ Карамзинымъ сдѣлалось навсегда необходимымъ элементомъ образованія для каждаго русскаго. Пусть же память его живетъ въ уваженіи; пусть его умственное наслѣдіе будетъ не только предметомъ справедливой народной гордости, но и благодатнымъ посѣвомъ для жатвы будущихъ поколѣній! *Гротъ.*

Личность Карамзина.

Въ Карамзинѣ мы видимъ рѣдкое соединеніе силъ, которыя, по большей части, встрѣчаются порознь: огромнаго таланта и изумительнаго трудолюбія. Это — ученый; но въ немъ есть еще человѣкъ, а человѣка Карамзинъ цѣнитъ въ себѣ болѣе, чѣмъ историка. «Жить — писалъ онъ къ Тургеневу, — есть не писать исторію, не писать трагедію или комедію, а какъ можно лучше мыслить, чувствовать и дѣйствовать, любить добро, возвышаться душою къ его источнику: все другое, любезный мой пріятель, есть шелуха — не исключая и моихъ восьми или девяти томовъ». Писатель и человѣкъ тѣсно сливались въ Карамзинѣ въ одно гармоническое цѣлое; никогда слово его не противорѣчило дѣлу, и этотъ одинъ изъ самыхъ геніальныхъ людей Русской земли былъ если не самый чистый, то одинъ изъ самыхъ чистыхъ. Чѣмъ болѣе узнаемъ мы его, тѣмъ сильнѣе развивается желаніе еще болѣе познакомиться съ нимъ. Я сказалъ вначалѣ, что образы, имъ возсозданные, становились для насъ свѣтлыми маяками; но надъ ними еще ярче горитъ его соб-

ственный образъ, высокій образъ благороднаго человѣка, честнаго гражданина и неутомимаго труженика. Въ нашемъ молодомъ, не установившемся обществѣ эти качества всего дороже.

Бестужевъ-Рюминъ.

Значеніе Карамзина не исчерпывается его литературными заслугами, какъ ни важны онѣ, не исчерпываются даже и великимъ трудомъ его жизни: «Исторіей Государства Россійскаго». Карамзинъ дорогъ для насъ не тѣмъ только, что онъ сдѣлалъ, но и чѣмъ онъ былъ. Въ исторіи нашего юнаго образованія онъ представляетъ собою одинъ изъ самыхъ привлекательныхъ типовъ, въ которомъ гармонически сочеталось все, что только можетъ быть сочувственно и дорого для просвѣщеннаго и мыслящаго русскаго человѣка. Въ немъ все исполняется одно другимъ, и нѣтъ ничего, что искупалось бы какимъ-либо печальнымъ недостаткомъ: въ немъ все поднимаетъ наше чувство, и ничто не роняетъ его; какъ бы вы ни подошли къ нему и чего бы вы ни затребовали, — вездѣ и во всемъ много ли, мало ли онъ дастъ вамъ, но нигдѣ онъ у васъ ничего не отниметъ, нигдѣ и ни въ чемъ не оскорбитъ васъ. Для нашихъ поколѣній, посреди броженія умовъ и сбивчивости направленій, типическій образъ Карамзина не только привлекателенъ, но и весьма поучителенъ.

Онъ былъ русскій не только по рожденію, но и по чувству; всею жизнію своею и дѣятельностію, столь плодотворною, принадлежалъ онъ Россіи. Но въ своемъ качествѣ русскаго, онъ былъ человѣкъ, и ничто человѣческое не считалъ себѣ чуждымъ; онъ былъ сынъ всемірной цивилизаціи. Качество русскаго и качество европейца не были въ немъ двумя чуждыми, другъ друга не знавшими силами ни двумя противными тяготѣніями; они не только не ссорились въ немъ, не только не отнимали другъ у друга мѣста, но были, какъ и слѣдуетъ, одною и тою же силой, и онъ былъ весь русскій въ своемъ европейскомъ качествѣ, онъ былъ весь европеецъ въ своемъ русскомъ чувствѣ. Онъ сходилъ во глубины нашего прошедшаго, изъ забытыхъ архивовъ воскресилъ онъ для русскаго народа память его давняго, темнаго минувшаго; но онъ остался сыномъ своей эпохи и корни прошедшаго любилъ онъ въ цвѣтѣ настоящаго. Никто изъ его сверстниковъ не сдѣлалъ такъ много для русской народности, но онъ не былъ доктринеромъ какой-либо народной школы. Кто болѣе его любилъ Россію, кто былъ ревнивѣе къ ея достоинству, величію и чести? Въ комъ чище и сильнѣе горѣло святое пламя патріотизма? И однако никто изъ современныхъ ему дѣятелей не былъ болѣе его предметомъ слѣпой вражды доктринеровъ народности, полагавшихъ ея силу въ скованныхъ ими самими «шаропихахъ» и «мокроступахъ». Въ немъ жило на все отзывавшееся поэтическое чувство, и въ то же время онъ былъ высоко одаренъ здравымъ смысломъ дѣйствительности, и воображеніе ми-

рилось въ немъ съ ясностію трезваго ума. Въ вѣкъ вольнодумства и отрицанія онъ былъ христіанинъ, искренно и глубоко убѣжденный; но религіозное чувство было свободно въ немъ отъ фанатизма и нетерпимости, и онъ умѣлъ отличать существенное отъ случайнаго, внутреннее отъ внѣшняго. Человѣкъ свѣтскаго образованія, онъ являетъ собою поучительный примѣръ постояннаго, упорнаго и усидчиваго труда; не будучи ученымъ, ни по приготовленію ни по призванію, онъ въ себѣ являетъ намъ образецъ изслѣдователя, который не останавливается предъ трудностями, и это въ то время, когда дѣло науки въ Россіи было еще такъ скудно и слабо. Онъ былъ писатель, доводившій свое выраженіе до классической оконченности. Онъ былъ политическимъ дѣятелемъ, хотя и не находился на офиціальныхъ поприщахъ государственной службы. Несмотря на то, что его время представляло мало условій для политическаго образованія, онъ обладалъ удивительно зрѣлымъ политическимъ умомъ, который онъ воспиталъ и укрѣпилъ своими историческими изученіями. Онъ не былъ придворнымъ, но находился въ самыхъ близкихъ, можно сказать, дружескихъ отношеніяхъ къ членамъ царской семьи и къ самому государю, который съ нимъ переписывался. Его переписка съ императоромъ Александромъ Павловичемъ, императрицею Елизаветою Алексѣевною и великою княгинею Екатериною Павловною исполнена удивительной искренности, простоты и человѣчности. И, конечно, изъ числа людей, самыхъ приближенныхъ къ императору, никто не былъ преданъ ему болѣе Карамзина, но никакого раболѣпства ни въ дѣйствіяхъ ни въ словахъ его. Чувство подданнаго въ Карамзинѣ, этомъ свѣтломъ представителѣ нашей народности, не было чувствомъ раба. Благоговѣя предъ святынею верховной власти, глубоко чувствуя и ясно разумѣя силу семейныхъ, общественныхъ и государственныхъ уставовъ, Карамзинъ представляетъ собою образецъ характера въ высокой степени независимаго и благороднаго. Онъ разумѣлъ всю цѣну порядка, но точно такъ же понималъ онъ цѣну свободы, и одно понималъ въ другомъ. Никто болѣе его не былъ чуждъ поверхностнаго и пошлаго либерализма, который служитъ вѣрнымъ признакомъ умственной незрѣлости людей и политической незрѣлости обществъ; зато и никто болѣе его не обладалъ тѣмъ святымъ инстинктомъ свободы, безъ котораго человѣкъ не можетъ имѣть никакого нравственнаго достоинства. Независимость его характера восходила до гражданскаго мужества.

Катковъ.

Въ исторіи русскаго образованія Карамзинъ есть лицо не только необыкновенное, но въ своемъ родѣ единственное. Онъ былъ первымъ у насъ писателемъ, который всю свою жизнь нераздѣльно посвятилъ литературѣ и ею одной создалъ себѣ независимое и блестящее положеніе. Онъ представляетъ разительный примѣръ великаго

значенія характера въ дѣятельности писателя. Въ страстномъ Ломоносовѣ намъ понятно необоримое упорство стремленій; но въ кроткомъ Карамзинѣ нась особенно поражаетъ энергія воли, съ какою онъ неуклонно и неутомимо идетъ къ одной, разъ избранной имъ цѣли. Такая сила характера объясняется только силой внутренняго призванія и таланта. На ихъ сознаніи основалось то твердое убѣжденіе въ необходимости хранить свою независимость, которое заставляло Карамзина отвергать неоднократныя предложенія почетныхъ мѣстъ по ученой или государственной службѣ. Но къ идеѣ характера принадлежитъ также твердость правилъ и достоинство въ образѣ дѣйствій: всѣ, лично знавшіе исторіографа, согласны въ томъ, что какъ ни высоко стоялъ Карамзинъ-писатель, еще былъ выше Карамзинъ-человѣкъ. Карамзинъ не только усиливалъ въ современникахъ любовь къ чтенію, не только распространялъ литературное и историческое образованіе, но также возбуждалъ въ массѣ читателей религіозное и нравственное чувство, утверждалъ въ нихъ благородный и честный образъ мыслей, воспламенялъ патріотизмъ. Поколѣніе, къ которому принадлежалъ Карамзинъ, такъ далеко отъ нашего, что многіе могутъ видѣть въ немъ явленіе, для насъ чуждое. Но если станемъ ближе всматриваться въ него, то найдемъ, что онъ по своему образованію, по духу своей дѣятельности, даже по многимъ изъ своихъ взглядовъ и стремленій принадлежалъ болѣе нашей эпохѣ, нежели своей. Самый первый шагъ его въ литературѣ, — усовершенствованіе письменной рѣчи, единогласно одобренное и принятое всѣмъ послѣдующимъ поколѣніемъ, — былъ шагомъ человѣка, идущаго впереди своихъ современниковъ. Такъ шелъ онъ и послѣ: чѣмъ глубже будемъ изучать Карамзина, тѣмъ болѣе будемъ убѣждаться въ томъ.

Сосредоточивъ свое авторство на исторіи, Карамзинъ продолжалъ, однакожъ, вести переписку съ разными лицами. Почти всѣ его письма теперь приведены въ извѣстность; они драгоцѣнны для насъ, между прочимъ, тѣмъ, что въ нихъ вполнѣ отразился человѣкъ и писатель, которымъ могли бы справедливо гордиться первые по образованію европейскіе народы. Какъ любопытно слѣдить въ нихъ за нимъ, шагъ за шагомъ, въ его историческомъ трудѣ! Мы видимъ тутъ, какъ развивались его взгляды на разные періоды и характеры русской исторіи, какія впечатлѣнія онъ выносилъ изъ перваго знакомства съ источниками, какъ радовался онъ своимъ находкамъ и открытіямъ. *Гротъ.*

Основоположенія сентиментальнаго міропониманія и настроенія.

Сентиментальное настроеніе и міропониманіе, широко распространенное на Западѣ въ концѣ XVIII в. и процвѣтавшее у насъ въ началѣ XIX вѣка, отражаетъ одно очень опредѣленное и ясное

отношеніе человѣка къ самымъ существеннымъ вопросамъ жизни. Оно не есть отношеніе критическое, при которомъ человѣкъ анализируетъ явленія жизни и судитъ ихъ безпристрастно, сохраняя къ нимъ отношеніе вполнѣ независимое. Сентиментальный человѣкъ руководствуется въ оцѣнкѣ жизни не умомъ, а чувствомъ. У него есть заранѣе составленный отвѣтъ на самые существенные вопросы бытія, и онъ въ жизни обращаетъ вниманіе только на то, что съ этими отвѣтами согласуется, и то, что не согласуется, онъ либо игнорируетъ, либо истолковываетъ въ свою пользу. Онъ не поправляетъ своихъ взглядовъ фактами жизни; онъ, наоборотъ, стремится всѣ явленія жизни перетолковывать по своему въ угоду своимъ чувствамъ. Чувства эти, въ свою очередь, грѣшатъ односторонностью и монотонностью. Всѣ они нѣжныя, мирныя, теплыя чувства, въ которыхъ рѣзкія, страстныя движенія почти не встрѣчаются; преобладаетъ настроеніе томное, мечтательное, очень слабо реагирующее на волю человѣка, но зато весьма благотворно дѣйствующее на его способность тѣшиться игрой собственнаго воображенія. Такое настроеніе мало привязываетъ человѣка къ жизни реальной, заставляетъ его болѣзненно относиться къ житейской сутолокѣ, къ шуму повседневныхъ событій и развиваетъ въ немъ склонность къ созерцательному, примиряющему обобщенію явленій жизни. Въ конечныхъ своихъ выводахъ сентиментальное міросозерцаніе оптимистично; если сентименталистъ бываетъ преимущественно меланхолически и грустно настроенъ, то не потому, что онъ жизнь считаетъ печальнымъ даромъ или думаетъ, что на землѣ зло и страданіе одерживаетъ всегда верхъ надъ добромъ и радостями. Онъ печаленъ потому, что то добро и счастье, которое онъ считаетъ вполнѣ осуществимымъ на землѣ, вполнѣ доступнымъ для человѣка, по винѣ самого человѣка такъ часто отсутствуетъ въ жизни. Онъ потому живетъ въ мірѣ мечтаній и потому такъ часто думаетъ о небѣ и о загробной блаженной жизни, что чувствуетъ себя слишкомъ рано родившимся и слабымъ для того, чтобы дѣятельно торопить наступленіе на землѣ лучшаго и болѣе счастливаго времени. Но онъ, при всей своей грусти и томленіи по загробному бытію, считаетъ нравственное усовершенствованіе человѣка первымъ дѣломъ и первой обязанностью здѣсь, на землѣ, и всегда, гдѣ можетъ, отзывается на всякое доброе начинаніе. Кругъ его убѣжденій не особенно широкъ, но убѣжденія его тверды и сводятся они къ нѣкоторымъ очень простымъ основнымъ мыслямъ. Первое убѣжденіе — вѣра въ добраго, милосерднаго, пекущагося о людяхъ Бога, личнаго или безличнаго, Бога, Который испытуетъ людей ради ихъ личнаго блага, Который, въ концѣ концовъ, не даетъ злу восторжествовать, и всегда наградитъ добродѣтель, на землѣ ли или въ небесномъ царствіи. Второе убѣжденіе — увѣренность въ томъ, что наша земная жизнь, государственная, общественная и даже личная, находятся подъ постояннымъ контролемъ божественной силы, которая направляетъ ее къ лучшему, руководитъ ею для блага всѣхъ

живущихъ. Божественный Промыселъ знаетъ, что онъ творитъ, и человѣкъ долженъ быть очень остороженъ въ своемъ гнѣвѣ. Когда онъ видитъ явное нарушеніе справедливости, несложное, бросающееся въ глаза, то онъ, конечно, вправѣ вознегодовать и вмѣшаться, но, напр. въ сложныхъ вопросахъ политическихъ и соціальныхъ, въ которыхъ трудно разобраться, человѣкъ долженъ быть очень осмотрителенъ и не поддаваться искушенію протеста. Жизнь массовая движется по предустановленнымъ законамъ, и всякое рѣзкое вмѣшательство въ нихъ отдѣльнаго человѣка можетъ оказаться посягательствомъ на Божіе Предопредѣленіе. Лучше будетъ, если человѣкъ займется нравственнымъ самовоспитаніемъ. Это его первое и главное дѣло. Создавъ свою собственную нравственную личность и расширивъ ея благотворное вліяніе на самыхъ близкихъ людей — на свою семью и друзей — человѣкъ можетъ успокоиться въ сознаніи совершеннаго имъ нравственнаго долга. Что касается конечнаго итога его скромной работы, то пусть его не тревожатъ сомнѣнія. Побѣда и награда суждены въ мірѣ добру, и всякій человѣкъ, даже самый преступный, даже самый злой, способенъ на нравственное совершенствованіе. Сентименталистъ вѣритъ въ основы добра, заложенныя въ душу каждаго человѣка, и, поэтому, быть можетъ, его борьба со зломъ не принимаетъ никогда формы рѣзкаго, рѣшительнаго или злобнаго протеста.

Таковы основоположенія сентиментальнаго міропониманія и настроенія. Въ такомъ чистомъ своемъ видѣ оно встрѣчается рѣдко, и нужны особыя общественныя условія, чтобы такое благодушное, инертное, смирное настроеніе охватило цѣлые круги общества и держалось въ нихъ долго. Обыкновенно оно долго и не держится — и критическій разумъ и волевое отношеніе человѣка къ жизни быстро идутъ на смѣну этому покорному и спокойному взгляду на жизнь. На Западѣ сентиментализмъ достигъ своего полнаго расцвѣта къ концу XVIII вѣка. Онъ непосредственно слѣдовалъ за торжествомъ критическаго разсудочнаго рѣшенія всѣхъ вопросовъ жизни, которое извѣстно въ исторіи подъ именемъ эпохи раціонализма, и предшествовалъ тому періоду волевого энергическаго разрѣшенія всѣхъ устоевъ старой жизни, которое закончилось французской революціей. Въ разныхъ культурныхъ странахъ этотъ сентиментализмъ принималъ и разные оттѣнки. Наиболѣе спокоенъ и благодушенъ былъ онъ въ Германіи и въ Англіи — опять-таки въ силу общественныхъ условій, въ которыхъ жили эти страны, а также и въ силу особенностей національнаго темперамента. Во Франціи онъ сразу въ ученіи Руссо отказался отъ своей пассивной общественной программы и примѣшалъ къ своему настроенію большую дозу страстности, которая и превратила сентименталиста въ революціонера.

У насъ, въ Россіи, сентиментальное міровоззрѣніе и настроеніе расцвѣли также въ концѣ XVIII в., но продержались дольше, чѣмъ на Западѣ, — до тридцатыхъ годовъ XIX ст. Характеръ русскаго

сентиментализма былъ въ общемъ необычайно спокойный и мирный; пожалуй, болѣе благодушный, чѣмъ гдѣ-либо.

Проводниками и выразителями нашего сентиментализма въ его чистомъ видѣ были Карамзинъ и Жуковскій. Карамзинъ изложилъ это міросозерцаніе въ своихъ повѣстяхъ, и въ «Письмахъ русскаго путешественника». Жуковскій первый облекъ его въ художественную форму. Онъ остался ему вѣренъ во всю свою долгую жизнь, и даже тогда, когда оно совсѣмъ исчезло изъ русскаго общества. Жуковскій продолжалъ напоминать о немъ, хотя и не находилъ уже прежнихъ внимательныхъ и восторженныхъ поклонниковъ.

Котляревскій.

Новые элементы, введенные Карамзинымъ въ повѣсти.

Гораздо важнѣе всего было появленіе въ журналѣ первыхъ повѣстей Карамзина, съ тѣмъ направленіемъ и съ тѣмъ чувствительнымъ содержаніемъ, которое составляло тогда ихъ оригинальность и, подобно «Вертеру» Гёте въ нѣмецкой литературѣ, и въ нашей составило цѣлую эпоху, увлекая за собой и толпы литературныхъ подражателей и толпы восхищенныхъ надолго читателей.

Первая повѣсть въ этомъ родѣ Карамзина носитъ названіе «Ліодоръ». Она не кончена, и потому Карамзинъ и не перепечатывалъ ее изъ журнала. Въ ней впервые является новый модный герой, но надолго оставшійся типомъ въ русской повѣсти. Онъ красавецъ, разумѣется, и все въ немъ обнаруживаетъ «кроткую душу, любовь и чувствительность». Онъ учился за границей, въ Лейпцигскомъ университетѣ, долго странствовалъ по Европѣ, полюбилъ на югѣ ея прекрасную иностранку и лишился ея. Съ тѣхъ поръ «погруженный въ глубокую меланхолію», онъ живетъ въ сельскомъ уединеніи, одинъ со своею тоскою. Тамъ встрѣтилъ его Карамзинъ, вмѣстѣ съ друзьями своими, Исидоромъ и Агатономъ, и сумрачный незнакомецъ открылъ имъ свою душу. Но не этотъ замыселъ, имѣвшій свое значеніе въ дѣйствіи литературы того времени на общество, интересуетъ насъ въ этой неоконченной повѣсти Карамзина. Она любопытна тѣмъ, что не прошло еще и двухъ лѣтъ, какъ Карамзинъ воротился изъ Европы, а взглядъ его сильно измѣнился. Карамзинъ жалѣетъ здѣсь о русской старинѣ до преобразованія. «Ліодоръ», говоритъ онъ, согласно съ нами утверждалъ, что тогда было въ дворянахъ нашихъ болѣе духа, болѣе характерной твердости, нежели нынѣ, когда мы, погнавшись за блестящей наружностью другихъ націй, оставили все то, чѣмъ Богъ и натура хотѣли отличить насъ отъ другихъ народовъ земли, оставили, забыли самихъ себя, и сдѣлались во всемъ учениками (и въ самой литературѣ), не будучи мастерами ни въ чемъ». Эта мысль, въ первый разъ здѣсь высказанная, зрѣетъ постепенно въ его умѣ. Въ послѣдній періодъ жизни Карамзина, послѣ занятій

отечественной исторіей, она становится глубокимъ, сознательнымъ убѣжденіемъ, но въ эту пору своей литературной дѣятельности Карамзинъ еще колеблется. Такъ, въ 1797 или 1708 году, набрасывая планъ для «похвальнаго слова» Петру Великому, онъ сравниваетъ его съ Фидіасомъ, творившимъ въ «безобразномъ мраморѣ» и увѣренъ, что какъ ходъ природы одинъ, такъ и просвѣщеніе только одно, и что русскимъ въ ихъ духовномъ и моральномъ униженіи нельзя было оставаться. Онъ доходитъ до оправданія жестокости Петра, и теперь какъ бы въ отвѣтъ на мысль, высказанную въ «Ліодорѣ», Карамзинъ пишетъ другую чувствительную повѣсть, взятую изъ русской старины, «Наталья боярская дочь», гдѣ также высказывается имъ любовь къ прошедшему, къ «брадатымъ» предкамъ, «когда русскіе были русскими; когда они въ собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ по своему сердцу»... Карамзинъ говоритъ въ предисловіи къ этой повѣсти, что память его полна множествомъ былей и анекдотовъ изъ русской старины. Подобно позднѣйшимъ славянофиламъ, онъ видитъ образъ древней Руси въ современныхъ поселянахъ. Но любовь къ русской старинѣ, такъ горячо высказываемая Карамзинымъ, не оправдалась однако нисколько художественнымъ воспроизведеніемъ ея въ этой повѣсти, и Наталья, боярская дочь, болѣе походитъ на героиню какого-либо рыцарскаго романа, чѣмъ на робкую дочь Москвы XVII вѣка, воспитанную въ уединенномъ теремѣ.

Но самою знаменитою изъ повѣстей Карамзина, помѣщенныхъ въ «Московскомъ Журналѣ», по своему вліянію на вкусъ и на направленіе читающей публики, была «Бѣдная Лиза». Въ ней видимъ мы и недостатокъ творческаго таланта автора и самое сильное выраженіе Карамзинской чувствительности; «слезы нѣжной скорби» струятся сквозь страницы этой небольшой повѣсти, замѣчательной въ исторіи русскаго общества, сдѣлавшей ту мѣстность, гдѣ погибла Лиза, предметомъ поклоненія для чувствительныхъ душъ въ теченіе многихъ годовъ. Надъ этой повѣстью лили горячія слезы наши бабушки, но они лили ихъ именно потому, что въ повѣсти было выражено не дѣйствительное страданіе, а вымышленное. Первое проходило незамѣченнымъ въ жизни, какъ будто оно слилось съ нею неразрывно, а это идеальное страданіе, совершенно оторванное отъ дѣйствительности, своею крайнею противоположностью жизни, одѣтое въ форму поэзіи, въ живой языкъ Карамзина, должно было дѣйствовать на потрясенныя нервы. «Бѣдная Лиза» — это воспоминаніе Карамзина изъ міра Гесперовыхъ идиллій, навѣяна на него, можетъ быть, дѣйствительнымъ разсказомъ старухи въ окрестностяхъ Парижа, но недѣйствительнымъ русскимъ событіемъ. Вліяніе повѣстей Мармонтеля и Жанлисъ, переводимыхъ Карамзинымъ, сказалось на «Бѣдной Лизѣ». Какъ извѣстно, въ повѣсти нѣтъ ничего русскаго, хотя разсказъ переноситъ читателя въ Москву и въ немъ помѣщено описаніе знаменитаго вида съ Воробьевыхъ горъ. Но эта отвлеченность

отъ жизни и была причиною слезъ, пролитыхъ по поводу судьбы Лизы. Дѣйствительное страданіе скорѣе раздражаетъ, чѣмъ трогаетъ и извлекаетъ слезы. Несмотря однако на эту отдаленность повѣсти отъ жизни, струя человѣческаго чувства, простого и трогательнаго по своему содержанію, введенная въ нее Карамзинымъ, теплыя слова о сердцѣ, его волненіяхъ и страданіяхъ, внутренній пылъ страстей,— всѣ эти новые элементы, незнакомые обществу изъ прежней, холодной и напыщенной литературы до Карамзина, были съ его стороны большою заслугою передъ нимъ. Повѣсти Карамзина научили это общество чувствовать и любить русскую словесность. Имя Карамзина облетѣло всюду по Россіи, куда только доходили синенькія книжки его журнала; онъ разомъ пріобрѣлъ славу и всеобщую любовь.

«Пой Карамзинъ, и въ прозѣ
Гласъ слышенъ соловьинъ»

привѣтствовалъ его уже славный Державинъ изъ Петербурга.

Буличъ.

Повѣсти Карамзина, характерныя по ихъ вліянію на публику и по опредѣленію духовной организаціи писателя.

Его чувствительныя повѣсти извлекали, какъ извѣстно, обильные потоки слезъ изъ глазъ не однѣхъ тогдашнихъ красавицъ. Чувствительность, слезливость, съ легкой руки Карамзина, мало-помалу становились господствующимъ, моднымъ расположеніемъ души. Странствованія къ Лизину пруду не выдумка. Мы вовсе не намѣрены подвергать подробному психологическому анализу это душевное расположеніе и опредѣлять его отношеніе къ явленіямъ нравственной жизни, а скажемъ только, что эта чувствительность во всякомъ случаѣ лучше безчувственности. Кто читалъ со слезами «Бѣдную Лизу», тотъ, очевидно, становился нѣжнѣе, мягче, человѣчнѣе, и томная провинціальная барышня, которая могла со слезами пѣть «Законы осуждаютъ предметъ моей любви», сдѣлавшись помѣщицей, безъ сомнѣнія, отправляла рѣже своихъ крестьянъ на конюшню. Намъ кажется преувеличеннымъ утвердившееся въ нашей литературной критикѣ и въ обществѣ мнѣніе, что эти чувствительныя повѣсти и вообще сентиментальный элементъ въ литературныхъ произведеніяхъ Карамзина, отразившійся и въ его «Исторіи государства россійскаго», обязанъ своимъ происхожденіемъ господствовавшему тогда въ западныхъ литературахъ сентиментальному направленію, во главѣ котораго стоялъ дѣйствительно одинъ изъ любимыхъ писателей Карамзина, Стернъ. Достаточно самаго простого соображенія природы Карамзина и всѣхъ условій и обстановки его воспитанія и образованія, чтобы понять, что чувствительный элементъ произведеній Карамзина есть прежде всего совершенно органическій продуктъ его собственной природы, что произведенія Стерна, дѣйствуя на одно-

родную почву, извлекали изъ его глазъ, можетъ быть, только нѣсколько больше слезъ, чѣмъ длинный рядъ другихъ тогдашнихъ литературныхъ произведеній, чтеніе которыхъ, большею частію, сопровождалось тѣми же послѣдствіями. Не должно забывать также, что цвѣтущее время этого направленія на Западѣ, его обаяніе, относится къ 60 и 70 годамъ прошлаго вѣка и сильно ослабѣло къ появленію Карамзина на литературное поприще, что Музеусъ еще въ 1769 году осмѣялъ это направленіе въ своемъ Грандиссонѣ второмъ, а извѣстно, что Карамзинъ, возвратившійся изъ-за границы, стоялъ совершенно въ уровнѣ тогдашняго литературнаго движенія на Западѣ. Конечно, нельзя отрицать нѣкоторой доли возбужденія въ соотвѣтственномъ и прирожденномъ расположеніи духа Карамзина бродившими и въ его время по Западу сентиментальными романами, но думать, что сентиментальный элементъ въ его произведеніяхъ обязанъ своимъ происхожденіемъ господствовавшему тогда направленію того же рода на Западѣ, какъ напр. трагедіи Карамзина обязаны своимъ происхожденіемъ французскимъ трагедіямъ, значитъ, по меньшей мѣрѣ, не принимать въ соображеніе природы самого автора въ дѣлѣ литературной критики.

Нельзя также упускать изъ виду и того, что чуткая ко всякой нравственной и эстетической фальши натура Карамзина не могла со всею полнотою и искренностію относиться къ произведеніямъ Стерна, въ которыхъ въ весьма значительной степени отражается эта нравственная и эстетическая фальшь. Вотъ отзывъ извѣстнаго англійскаго историка литературы, Чемберса, объ авторѣ *Сентиментальнаго путешествія* (изд. въ Лондонѣ 1768), *Тристама Шенди* (4 т. 1759—61) и проч. «Его грубый юморъ безвкусенъ, его странности не имѣютъ блеска новизны; его неприличія отталкиваютъ человѣка благовоспитаннаго и строгой нравственности. Въ теперешній дѣловой вѣкъ, для отысканія красотъ Стерна, быстрыхъ переходовъ, отступленій, гдѣ скрыты черты шекспировскаго характера, блестящія искры его фантазіи ума и чувства, не станутъ перелистывать страницы, исполненныя чопорной эрудиціи. Его блестящая, выполированная фраза всегда имѣетъ видъ ложнаго блеска, хотя онъ ею владѣетъ какъ мастеръ, который умѣетъ довести читателя до слезъ и смѣха. Недостатокъ простоты и приличія — его главный недостатокъ. Причуды и капризы его, заимствованные отчасти у Рабле, часто ослабляютъ черты истиннаго генія и проблески энтузіазма. Будучи пасторомъ, онъ велъ жизнь распущенную и безпутную. Сентименталистъ, на концѣ пера котораго слезы для своего одушевленнаго и неодушевленнаго, онъ жестокосердъ и эгоистъ, больной и тѣломъ и душой». (Cyclopaed. of english liter. II, 133). Соображая всѣ эти обстоятельства, мы позволяемъ себѣ принимать вліяніе на Карамзина Стерна и вообще распространившагося въ западныхъ литературахъ сентиментальнаго направленія въ весьма ограниченномъ смыслѣ.

Лавровскій.

Стихотворенія Карамзина, какъ ихъ показатель поэтическаго настроенія его души и отраженіе чертъ его жизни.

Давно утвердилось въ нашей наукѣ мнѣніе, что въ стихотвореніяхъ Карамзина нѣтъ творческой поэзіи, что это мысли и чувствованія умнаго человѣка, выраженныя въ стихотворной формѣ. Дѣйствительно, если смотрѣть на дѣло съ современной точки зрѣнія и искать въ его стихотвореніяхъ художественнаго выраженія жизни, то Карамзинъ не былъ поэтомъ. Но если въ каждомъ изъ насъ, въ комъ развито живое чувство и воображеніе, въ комъ есть живая воспріимчивость ко всему великому и прекрасному, есть своя доля поэзіи, независимо даже отъ способности и достоинства выраженія впечатлѣній этого рода, то, конечно, Карамзину нельзя отказать въ общемъ поэтическомъ настроеніи души. Въ этомъ смыслѣ нельзя не обратить вниманія на нѣкоторыя дѣйствительно прекрасныя его стихотворенія, напр., «Посланіе къ Дмитріеву», «Волга», «Пѣснь Божеству», «Ода Екатеринѣ Второй» и нѣкоторыя другія. Въ свое время, когда поэзія признавалась предметомъ занятій для пріятнаго препровожденія времени, когда Карамзинъ самъ печаталъ свои стихотворенія подъ заглавіемъ «Мои бездѣлки», онъ, разумѣется, считался поэтомъ, и самъ признавалъ себя имъ, уже потому, что, по его мнѣнію, поэзія есть «цвѣтникъ чувствительныхъ сердецъ». Нельзя, по крайней мѣрѣ, отказать Карамзину въ пониманіи высокаго значенія поэзіи, какъ великой образовательной силы.

Они (любимцы Феба) міръ темный просвѣтили
И въ садъ пустыню обратили;
Они питаютъ огнь сердецъ...
Они безъ власти, безъ короны
Даютъ умомъ своимъ законы;
Ихъ кисть, рѣзецъ, струна и глазъ
Играютъ нѣжными душами,
Улыбкой, вздохами, слезами,
И чувство возвышаютъ въ насъ;
Любовь къ изящному вливая
Изящность сообщаютъ намъ;
Добро искусствомъ украшая,
Велятъ его любить сердцамъ.

Нельзя также отрицать важнаго значенія стихотвореній Карамзина, по выраженію въ нихъ чертъ его жизни, по исторіи его мысли и чувствованій. Наибольшая ихъ часть падаетъ на годы 1792—1796, — и біографія его, относящаяся къ этому времени, безъ сомнѣнія, можетъ быть дополнена многими любопытными чертами, характеризующими движеніе его мысли и чувства. *Лавровскій.*